

ISSN 2307-6119



Томский журнал
лингвистических
и антропологических
исследований

**Tomsk Journal
of Linguistics
and Anthropology**

1'2022

Выпуск 1 (35)

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)**

**ТОМСКИЙ ЖУРНАЛ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

Научный журнал
Издается с 2013 года

ВЫПУСК 1 (35) 2022

**ТОМСК
2022**

Главный редактор:

А. Ю. Фильченко, Ph. D. Linguistics

Редакционная коллегия:

*О. С. Потанина, кандидат филологических наук, доцент Назарбаев Университет
(зам. главного редактора);*

*Н. А. Тучкова, кандидат исторических наук, доцент ТГПУ (редактор раздела антропологии,
(зам. главного редактора)*

С. С. Аванесов, доктор философских наук, профессор ТГПУ;

*А. В. Бауло, доктор исторических наук, Институт археологии и этнографии СО РАН
(Новосибирск);*

*Б. Вагнер-Надь, Dr. habil., профессор Института финно-угроведения/уралистики,
университет Гамбурга (Германия);*

Э. Вайда, Ph. D. Linguistics, профессор Западно-Вашингтонского университета (США);

Ф. Сигл, Ph. D. Linguistics, Университет Хельсинки (Финляндия);

Е. Г. Которова, доктор филологических наук, профессор Зеленогурского университета (Польша);

Е. А. Крюкова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент ТГПУ;

Н. В. Лукина, доктор исторических наук, профессор ТГПУ;

З. Надь, доктор антропологии, профессор университета г. Печ (Венгрия);

Л. М. Плетнёва, доктор исторических наук, профессор ТГПУ;

В. А. Плунгян, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, профессор ИЯ РАН (Москва);

Н. В. Полякова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент ТГПУ;

Л. И. Шерстова, доктор исторических наук, профессор НИ ТГУ;

Ф. Эбата, Ph. D. Linguistics, Университет Ниигаты (Япония);

М. П. Чёрная, доктор исторических наук, профессор, НИ ТГУ (Томск, Россия).

Научный редактор выпуска:

А. Ю. Фильченко

Учредитель:

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

Адрес учредителя:

ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел. (3822) 52-17-58.

Адрес редакции:

ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

Тел. (3822) 52-17-94, факс (3822) 44-68-26.

E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Отпечатано в типографии ТГПУ:

ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-12-93

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ПИ № ФС77-52641 от 25.01.2013 г.

Подписано в печать: 15.06.2022 г. Сдано в печать: 25.06.2022 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.

Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 24,25. Тираж: 1 000 экз. Цена свободная. Заказ: 1217/Н.

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: В. Е. Куприянов.

Дизайн обложки: А. С. Печенкин. Корректор: В. Е. Куприянов.

© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2022. Все права защищены.

**THE MINISTRY OF EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION**

**Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)**

**TOMSK JOURNAL
OF LINGUISTICS
AND ANTHROPOLOGY**

Published since 2013

ISSUE 1 (35) 2022

**TOMSK
2022**

Editor in Chief:

A. Yu. Filchenko, Ph. D. Linguistics

Editorial Board:

- O. S. Potanina, Kandidat Nauk, Philology, associate professor,
Nazarbayev University (Deputy Editor in Chief);*
*N. A. Tuchkova, Kandidat Nauk, History, associate professor, Tomsk State Pedagogical University
(Deputy Editor in Chief, editor of Anthropology section);*
S. S. Avanesov, Doctor of Philosophy, professor, Tomsk State Pedagogical University;
*A. V. Baulo, Doctor of History, Institute of Archeology and Ethnography,
Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk);*
Fujuki Ebata, Niigata University (Japan);
E. G. Kotorova, Doctor of Philology, professor, University of Zielona Góra (Poland);
E. A. Kryukova, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, Tomsk State Pedagogical University;
N. V. Lukina, Doctor of History, professor, Tomsk State Pedagogical University;
Zoltán Nagy, Doctor of Anthropology, professor, University of Pecs (Hungary);
L. M. Pletneva, Doctor of History, professor, Tomsk State Pedagogical University;
*V. A. Plungian, Doctor of Philology, professor, Institute of Linguistics,
Russian Academy of Sciences (Moscow);*
Florian Siegl, Ph. D. Linguistics, University of Helsinki (Finland);
Edward J. Vajda, Ph. D. Linguistics, professor, Western-Washington University (USA);
Beáta Wagner-Nagy, Dr. habil., Linguistics, professor, University of Hamburg (Germany);
N. V. Poljakova, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, Tomsk State Pedagogical University;
L. I. Sherstova, Doctor of History, professor, National Research Tomsk State University,
M. P. Chernaya, Doctor of History, professor, National Research Tomsk State University.

Scientific Editor of the Issue:

A. Yu. Filchenko

Founder:

Tomsk State Pedagogical University

Address:

ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel. +7 (3822) 52-17-58

Address for Correspondence:

ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.

Tel. +7 (3822) 52-17-94, fax +7 (3822) 44-68-26.

E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Printed in the TSPU publishing house:

ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel. +7 (3822) 52-12-93

Certificate of registration of mass media

The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor)

PI No FS77-52641, issued on 25.01.2013.

Approved for printing on: 15.06.2022. Submitted for printing: 25.06.2022. Formate: 60×90/8.

Paper: offset. Printing: screen. Edition: 1 000. Price: not settled. Order: 1217/H.

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designers: V. E. Kupriyanov.

Cover designer: A. S. Pechenkin. Proofreading: V. E. Kupriyanov.

© Tomsk State Pedagogical University, 2022. All rights reserved.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	7
ЛИНГВИСТИКА	
Даржаева Н. Б. Средства выражения и усиления эмоциональности в бурятском языке DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-9-18	9
Ермакова Е. Н., Проколова М. В., Файзуллина Г. Ч. Этнонимы бухарцы и сарты в этнонимиконе Тобольской губернии XIX – начала XX века DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-19-32	19
Перехвальская Е. В., Выдрин В. Ф. Количественные характеристики тональных систем: индекс тональной плотности DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-33-45	33
Покровская С. В. Фокус и его просодическое маркирование в верхнеелзвинском диалекте северного мансийского языка DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-46-55	46
Пупынина М. Ю., Мордашова Д. Д. Свидетельства языковых контактов в Колымско-Алазейской тундре в XIX – начале XX века. Тундренные юкагиры и их контакты с соседями DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-56-77	56
Хилханова Э. В., Хилханов Д. Л. Языковые идеологии в речевых практиках многоязычных постсоветских мигрантов как барьер транслингвальности DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-78-91	78
Чертыкова М. Д. Концептуальное пространство счастье в тюркских языках Сибири (по материалам лексикографических источников) DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-92-105	92
АНТРОПОЛОГИЯ	
Бадмаев А. А. Образ белки в традиционной культуре бурят DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-106-114	106
Бурнаков В. А. Конь и конская упряжь в обрядности детского цикла хакасов (конец XIX – середина XX века) DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-115-123	115
Готовцева Л. М. Заимствованная лексика традиционной одежды якутов DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-124-134	124
Николаев В. Р. Погребально-поминальная обрядность кетов и индейцев навахо: опыт историко-этнографического сравнения DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-135-145	135
Пискунова А. Е. Городское пространство как конструкт восприятия: антропологическая размерность Новокузнецка DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-146-156	146
Пчеловодова И. В., Анисимов Н. В., Софронова Е. А. Песенная традиция сибирских удмуртов в исторической динамике (на материале экспедиционных записей 1974, 2001, 2003, 2006 гг.) DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-157-171	157
Федюнева Г. В. Архаичные «денежные системы» пермских и волжско-финских народов в письменных источниках кон. XIX – нач. XX вв. DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-172-186	172
НАШИ АВТОРЫ	187
AUTHORS	191

CONTENTS

From the Editors	7
LINGUISTICS	
Darzhaeva N.B. Means of Expressing and Intensification Emotionality in the Buryat Language DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-9-18	9
Ermakova E. N., Prokopova M. V., Faizyllina G. Ch. Ethnonyms bukharians and sarts in the etnonimikon of Tobolsk province of XIX – early XX century DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-19-32	19
Perekhvalskaya E. V., Vydrin V. F. Quantitative characteristics of tonal systems: Tonal Density Index DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-33-45	33
Pokrovskaya S. V. Focus and its prosodic marking in Upper Lozva Mansi DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-46-55	46
Pupynina M. Yu., Mordashova D. D. Evidence of language contact in Kolyma-Alazeia tundra in the 19th and the early 20th centuries. Tundra Yukaghirs and their contacts with the neighbours DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-56-77	56
Khilkhanova E. V., Khilkhanov D. L. Language ideologies in speech practices of multilingual post-Soviet migrants as a barrier to translanguaging DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-78-91	78
Chertykova M. D. Conceptual space happiness in Turkic languages of Siberia DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-92-105	92
ANTHROPOLOGY	
Badmaev A. A. The image of a squirrel in the traditional culture of the Buryats DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-106-114	106
Burnakov V. A. Horse and horse harness in the ritual of the Khakass children's cycle (late XIX – mid XX century) DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-115-123	115
Gotovtseva L. M. Borrowed lexis of the traditional Yakut clothing DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-124-134	124
Nikolaev V. R. Funeral rites of Ket and Navajo indians: experience of historical and ethnographic comparison DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-135-145	135
Piskunova A. E. Urban space as a construct of perception: the anthropological dimension of Novokuznetsk DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-146-156	146
Pchelovodova I. V., Anisimov N. V., Sofronova E. A. The song tradition of the Siberian Udmurts in historical dynamics (based on expedition materials of 1974, 2001, 2003, 2006) DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-157-171	157
Fedyunova G. V. Archaic “monetary systems” of Permian and Volga-Finnish peoples in written sources of the late XIX – early XX centuries DOI: 10.23951/2307-6119-2022-1-172-186	172
AUTHORS (In Russian)	187
AUTHORS (In English)	191

От редакции

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 году на базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят четыре раза в год.

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследованиями в следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом исследований Сибири):

- описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира;
- типологические исследования языков России и мира;
- лингвокультурология и региональная лингвистика;
- социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этнографию), а также физическую антропологию и этногенетику).

Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих критериев:

- соответствие содержания статьи тематике журнала;
- самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов;
- научная новизна представленного исследования;
- статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не опубликованной информации должно составлять не меньше трети статьи);
- статья должна отражать знание автором(ами) современного состояния исследований по проблематике статьи;
- соблюдение правил цитирования;
- соответствие текста статьи научному стилю изложения;
- если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна быть написана в соответствии с нормами иностранного языка.

Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензирования. Если статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются несущественные и быстро устранимые погрешности, то статья отправляется автору на доработку с учётом пожеланий рецензентов.

К публикации принимаются статьи на русском, английском и немецком языках. Просим обратить внимание на то, что редколлегия не несёт ответственности за качество перевода статьи на иностранный язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность переводов (проверить свои статьи с носителями языка или с соответствующими специалистами-переводчиками). В случае несоответствия качества публикации выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколлегия оставляет за собой право отказа в принятии статьи к печати без объяснения причин.

**Издание включено в объединенный каталог «Пресса России»,
подписной индекс 82719.**

*Linguistics without anthropology is sterile,
anthropology without linguistics is blind.*

Hockett Ch. Man's place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675

From the Editors

'Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology' was founded in 2013 by Tomsk State Pedagogical University. Four issues are released annually.

The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in linguistics and anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including:

- documentation, description and preservation of indigenous languages of Russia and world-wide;
- typological research of languages of Russia and worldwide;
- cultural and regional linguistics;
- social and cultural anthropology (including archeology, ethnology (ethnography) as well as physical anthropology and ethnogenetics).

The members of the editorial board review the submissions based on the following criteria:

- relevance of the submission's content to the subject matter of the Journal;
- academic novelty of research;
- independence and originality of research content (previously not published data must take up not less than one third of the submission);
- submission must reflect author's knowledge of research state-of-the-art in the area;
- adherence to citation rules;
- correspondence of the submission to academic writing conventions;
- if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it must adhere to the respective language grammar and style conventions.

The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the main selection criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back to the author for brief correction with due considerations.

Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is not responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and kindly asks the authors to ensure appropriate translation (advising a check with a native speaker or a respective translation specialist). In case of submission's persistent inadequacy in content or translation, the editorial board reserves the right to decline the publication without further explanations.

ЛИНГВИСТИКА

Н. Б. Даржаева

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ¹

В статье впервые рассматриваются синтаксические средства выражения эмоций в бурятском языке, а также средства их усиления. Актуальность темы исследования определяется возрастающим значением антропоцентрической научной парадигмы и малой изученностью выражения эмоций в бурятских конструкциях. Цель данной статьи заключается в выявлении и описании синтаксических средств и стилистических фигур, передающих эмоциональное состояние человека, и средств усиления экспрессивности и эмоциональности в них. Автор придерживается распространенного мнения о том, что более всего эмоциональна диалогическая речь, располагающая только ей свойственным инвентарем средств выражения эмоций. Объект исследования — конструкции из диалогической речи героев художественных произведений. Методами исследования являются лингвистическое описание, контекстно-семантический анализ, интроспекция. Материалом исследования послужили тексты художественных произведений бурятских авторов, в том числе размещенные в электронном Бурятском корпусе. Автор рассматривает разнообразные эмоционально-экспрессивные синтаксические средства (обращения, вводные конструкции, неполные предложения, пунктуация) и стилистические фигуры (риторические восклицания, риторический вопрос, повторы). Замечено, что экспрессия и эмоциональность в рассматриваемых конструкциях дополнительно поддерживаются различными средствами усиления, сопровождающими полнозначные слова. Специфика бурятского языка состоит в использовании инфинитных форм вопросительного глагола *яа-* ‘что делать, как быть’ в качестве средств усиления эмоционального напряжения. Такими же средствами выступают вопросительное местоимение *юун* ‘что’ в сочетании с многозначной частицей *гээшэ*. Все рассмотренные частицы характеризуются эмоциональной диффузностью. В заключении автор приходит к выводу, что в бурятском языке широко используются типичные эмотивные синтаксические средства и стилистические фигуры, а средствами усиления в них экспрессивности и эмоциональности выступают грамматикализованные причастные и деепричастные формы от вопросительного глагола *яа-* ‘что делать, как быть’, а также вопросительное местоимение *юун* ‘что’ в сочетании с частицей *гээшэ*.

Ключевые слова: бурятский язык, эмотивный синтаксис, грамматикализация, средства выражения экспрессивности, усилительные частицы.

Трудно представить человеческую жизнь без эмоций, они сопровождают человека с рождения до самой смерти. В русском языкознании присутствует широкое понимание эмоции, вплоть до утверждения: «...в начале было не Слово, в начале была Эмоция, поскольку в основе первичных и вторичных номинаций всегда, с самого начала лежали эмоции человека...» (Шаховский, 2008: 10). Несомненна связь эмоций с мыслительной деятельностью человека: «...все эмоции имеют когнитивный базис (т. е. вызваны определенными мыслями или связаны с ними)» (Вежбицкая, 1996: 38). Всё возрастающий интерес лингвистов к проблеме выражения эмоций в языке связывают с развитием антропоцентрической научной парадигмы. «Сегодня уже практически нет сомнений в том, что эмоции являются мотивационной основой сознания, мышления и социального поведения» (Шаховский, 2008: 16). Следовательно, исследование языковых средств выражения эмоций является социально значимым,

¹ Статья подготовлена в рамках государственного задания (Мир человека в монгольских языках: анализ средств выражения эмотивности, № 121031000258-9).

способствующим успешной коммуникации, регулирующим эмоциональные всплески, разрешающим конфликтные ситуации и т. п.

В отечественном языкознании разработка лингвистики эмоций связана с именем В. И. Шаховского, на чьи работы ученые опираются с 1969 г. по настоящее время. Основные результаты исследований по вербализации эмоций отражены в работах отечественных языковедов: Н. Д. Арутюновой (1990), Ю. С. Степанова (1994), В. Г. Гак (1996), С. В. Ионовой (1998, 2015), Н. А. Красавского (2001), Т. В. Лариной (2004, 2009, 2015), Я. А. Волковой (2014) и мн. др. Среди зарубежных авторов отметим: S. Niemeier, R. Dirven (1997), A. Wierzbicka (1996, 1999, 2001), Baider F., Cislariu G. (2014) и др.

В монгольских языках исследования на эту тему только начинаются (Одончимэг, 2010; Митриев, Есенова, 2013; Сундуева, 2018; Мулаева, 2020). В бурятском языке хорошо изучены структура и семантика эмотивных полипредикативных конструкций, в которых описываются эмоции (язык описания эмоций) (Скрибник, 1982, 2015). Такие конструкции противопоставлены синтаксическим средствам выражения эмоций (язык выражения эмоций), которые остаются пока неисследованными.

Каждый язык располагает своим арсеналом средств их выражения, которые могут быть как универсальными, так и специфичными. В нашей работе эмоциональность рассматривается в тесной связи с экспрессивностью, хотя существует традиция разделять их: «выражение эмоции в языке всегда экспрессивно, но экспрессия в языке не всегда эмоциональна» (Галкина-Федорук, 1958: 121) или «...необходимо разграничить экспрессивные и эмоциональные элементы в языке, поскольку они служат выполнению разных задач, несмотря на взаимодополняемость (Гаджиева, 2019: 67). В этой статье мы рассмотрим эмоционально-экспрессивные синтаксические средства и стилистические фигуры, обнаруженные нами в бурятских текстах, а также представим способы усиления эмоциональности.

В теоретическом плане мы будем ориентироваться на средства, выявленные на материале русского языка. Так, в русистике выделяют разнообразные эмоционально-экспрессивные синтаксические средства (обращения, вводные и вставные конструкции, присоединительные конструкции, прямая речь, многие односоставные и неполные предложения, пунктуация) и стилистические приемы (инверсия, умолчание), а также стилистические фигуры (риторические восклицания, риторический вопрос, параллелизм, анафора, эпифора, эллипсис, многосоюзие, бессоюзие и т. д.) (Орлова, 2009, Голуб, 2014). Также достаточно изученными в русском языке являются частицы *как*, *так*, *какой*, *такой*, сопровождающие полнозначные слова (ср. английские *How* 'Как' и *What* 'Что' в вопросительных и восклицательных предложениях). «Функция этих слов заключается в эмоционально-субъективной оценке высказывания посредством акцентирования полнозначного слова, к которому относятся частицы» (Гушкова, 2014: 56). В бурятском языке также функционируют подобные частицы, усиливая эмоциональность слов и выражений.

Объектом исследования являются конструкции из диалогической речи в художественных произведениях, так как разговорная речь, как известно, характеризуется спонтанностью, неподготовленностью, стихийностью, и поэтому эмоционально нагружена: «Наибольшее раскрытие человеческие эмоции находят в процессе общения, например, в диалогической речи» (Орлова, 2009: 3). Примеры по большей части взяты из электронного Бурятского корпуса (далее БК), а также из рассказов журнала *Байгалай толон* и Цэрэна Галанова. Общий объем проанализированных диалогических конструкций составляет более двухсот единиц.

Перед изложением материала рассмотрим слова с эмоционально-субъективной оценкой, образованные от вопросительного глагола *яа*- 'что делать, как быть' почти во всех причастных и деепричастных формах: *яа-ха*, *яа-хан*, *яа-даг*, *яа-гаа*, *яа-жа*, *яа-на*, *яа-гша*, *яа-тар-аа*, *яа-баише*, *яа-шагуй*, *яа-хаяа(ише)*. В современном бурятском языке эти слова приобрели статус частиц, поскольку они утратили непосредственную связь с исходным глаголом и инфинитными формами, и усиливают эмоциональную составляющую тех полнозначных

слов, к которым они относятся. Эти специфические частицы от причастных форм обычно сопровождают имена существительные и прилагательные, от деепричастных — глаголы и наречия. Кроме того, чрезвычайно частотной частицей является вопросительное слово *ямар* ‘какой’, встречающееся, как правило, с прилагательными (1900 употреблений в качестве усилительной частицы в БК). Усилители располагаются строго перед полнозначным словом. В следующем примере говорящий с помощью этой частицы усиливает негативный признак, выражаемый прилагательным *залхуу* ‘ленивый’:

- (1) — *Хүбүү-д-эй* хэ-хэ юумэ бэшэ-л даа энэ Баярмаа
 — Мальчик-pl-gen делать-рс.fut вещь neg-pcl pcl эта Б.
суглуула-г лэ, — ...
 собирать-imp pcl
 — Эх даа, **ямар** залхуу амитан *һэм-ии!*
 — Intrj pcl pcl ленивый существо pcl-2sg
 ‘— Эта работа не для мальчиков, пусть эта Баярмаа собирает, — ...
 — Эх, какой ленивый ты все же!’ (БК).

Следующее средство усиления эмоциональности — вопросительное слово *юун* ‘что’ с инфинитивными формами от глагола *гэ-* ‘говорить’ и/или с частицей утверждения *юм*, например, *юун-эй*, *юун-и* *гэ-һэн*, *юун-(шье)* *гэ-ээшэ-б*, *юун...юм* и т.п. Частица *юун* занимает фиксированное положение — в начале предложения, перед полнозначным словом. Проиллюстрируем употребление этой частицы — в следующем диалоге она усиливает экспрессию реакции говорящего на сообщаемую новость про друга:

- (2) — *Цэдэнжаб-ини* *һая-хан* *хүбүү-тэй* *бол-оо, —...*
 — Ц.-poss2sg недавно-dim мальчик-prop становится-рс.prs
 — **Юун** *гэ-һэн* *һонин* **юм!**
 — pcl aux-рс.pst интересный pcl(3)
 ‘— У Цыденжапа (твоего) недавно сын родился, —
 — До чего же интересно!’ (Цыренов, 1972: 20).

Отдельно стоит отметить полифункциональную частицу *гээшэ*, грамматикализованную форму от вспомогательного глагола говорения *гэ-* ‘говорить, сказать’ с аффиксом постоянно-го причастия *-АашА*. В Грамматиках её называют “показателем подлежащего и сказуемого” (ГБЯС: 30–32; 225), частицей “подтверждения с нейтральной или иронической окраской” (ГБЯС: 225) или служебным словом со значением ‘значит, следовательно, стало быть, ведь и т. п.’ (Скрибник, Даржаева, 2016: 243). В сочетании с полнозначными словами эта частица занимает постпозитивную позицию. Как и другие частицы, она характеризуется эмоциональной диффузностью, усиливая разноплановые эмоции:

- (3) *Эихэбтэр* *гээшэ-нь.*
 стыдно pcl-poss3
 ‘Так стыдно’ (БК)
- (4) *Зоригтой* *гээшэ-нь!*
 смелый pcl-poss3
 ‘Такой смелый! (с восхищением)’ (БК)

Между выражениями с усилительными частицами *ямар* и *гээшэ* обнаруживается функциональное различие — говорящий употребляет частицу *ямар* при непосредственной эмоциональной реакции-оценке на объект действительности, например:

- (5) *Тогоошо* *Тани-тай* *зэргэл-жэ* *хуу-гаад*, *сагаан* *түмэр*
 повар Т-сom сидеть рядом-cvb белый железный
табаг *соо-хоо* *халуун* *эдеэ халбага-да-ха* *зуураа*:
 тарелка pstp-abl горячий еда черпать-dat-pc.fut pstp
 — **Ямар** *амтатай-хан* *шүлэ* *шан-аа-б-та*, — *гэ-нэ*.
 — какой вкусный-dim суп варить-pc.prs-pcl-2pl говорить-prs(3sg)
 ‘Тогоошо, усевшись рядом с Таней, и, черпая ложкой горячую еду из белой железной тарелки:
 — Какой вкусный суп сварили, — говорит’ (БК).

При употреблении частицы *гээшэ* возможна отложенная реакция-оценка, например:

- (6) — *Тэрэ* *басаган-тай* *ши* *танилс-аа* *хэн*
 — тот девушка-com ты знакомиться-pc.prs pcl
гү-и? — *гэжэ* *хура-ба-б*.
 q-2sg comp спрашивать-pst-1sg
 — *А-хаа*, *хөөрэлд-өө* *хэм* *танилс-аа-шье-б*, —
 — Ага, разговаривать-pc.prs pcl:poss1sg знакомиться-pc.prs-pcl-1sg
 ... *Хайн* *басаган...* *Сэбэр-хэн* *гээшэ-нь!*
 хороший девушка красивый-dim pcl-poss3
 ‘— Ты знакомился с той девушкой? — спросил я.
 — Ага, разговаривал, даже познакомился... Хорошая девушка. Такая красивая!’ (БК).

Итак, рассмотрим сначала обнаруженные нами в бурятских художественных текстах эмоционально-экспрессивные синтаксические средства, затем стилистические приемы и фигуры.

1. Обращения — очень распространенное средство выражения эмоционального отношения говорящего к другим действующим лицам: положительное (7), отрицательное (8). Примеры:

- (7) *Ай*, *барһа-мни* *даа*, *амиды* *гү-и?*
 intrj бедняга-poss1sg pcl живой q-2sg
 ‘Ай, бедняга мой, ты живой?’ (БК)
- (8) — *Томоотой* *бүдүүн* *хүн* *аад*, *тэнэг* *юумэ* *бү*
 — рассудительный серьезный человек pcl глупый вещь neg
дуугар-ыт *үгы!*
 говорить-imp2pl neg
 — *Ши*, *нохойн* *гүлгэн*, *намайе* *бү* *хурга!*
 — Ты собака:gen щенок меня neg учить:imp
 ‘— Не говорите глупые вещи, Вы ведь рассудительный и серьезный человек!
 — Ты, щенок, не учи меня!’ (БК).

Вводные конструкции также являются средством выражения эмоций говорящего. Так, вводная конструкция *шүдхэр абаашаг* ‘черт побери’ обычно передает досаду, гнев, но в следующем контексте выражает игривое настроение героя, усиливает его восхищение видом:

- (9) *Оө, шүдхэр абааша-г, яагаа най-хан юм!*
 intrj черт уносить-imp pcl красивый pcl(3)
 ‘О, черт поberi, какой же красивый (о городе)!’ (БТ № 3, 1959, 45)
- (10) *Ай, бурхан зайл-уул, юу хэлэ-жэрхи-бэ-би-б?!*
 intrj бог удаляться-imp q говорить-intens-pst-1sg-pcl
 ‘Э, упаси бог, что же я сказал?!’ (БК)

С помощью вставной конструкции *халагни халаг* ‘как жаль, горе какое’ говорящий выражает сожаление, сокрушение:

- (11) *Халаг-ни халаг, юу-гээ хара-жа бай-гаа*
 intrj-poss1sg intrj что-refl смотреть-cvb aux-ps.prs
хүм-та даа!
 человек-2pl pcl
 ‘Как жаль, ну куда же (вы) смотрели то!’ (БК)

Пунктуационное оформление эмоциональной интонации является универсальным средством отражения на письме эмоций говорящего. В бурятских текстах чаще всего встречаются предложения с восклицательными и вопросительными знаками, а также многоточие, но очень редко тире. Восклицательный знак сигнализирует о самых разнообразных эмоциях: от восторга, восхищения до ненависти и гнева. Пример с усилительной частицей *гээшэ*, повышающей степень выражения признака, а значит, и эмоциональности:

- (12) *Гоё гээшэ-нь!*
 красивый pcl-poss3
 ‘Такой красивый! (с большим восхищением)’ (БК)

С частицами эмоционально-субъективной оценки:

- (13) *Яаһан олон зула гээшэ-б!*
 pcl много свеча pcl-pcl
 ‘Как много свечей! (с большим удивлением)’ (БК)

- (14) *Юун жэгтэй юм!*
 pcl странный pcl(3)
 ‘Как странно! (с большим презрением)’ (БК)

В отличие от восклицательного знака, вопросительный знак менее экспрессивен:

- (15) *Юу хэлэ-нэ гээшэ-б-ши?*
 что говорить-prs pcl-pcl-2sg
 ‘Ну что ты говоришь?’ (БК)

С частицей в форме предельного деепричастия от вопросительного глагола *яа-*:

- (16) *Яатарaa ойлго-жо яда-на-ш?*
 pcl понимать-cvb страдать-prs-2sg
 ‘Ну как же (ты) не можешь понять? (с большим недоумением)’ (Цыренов, 1972: 66).

- (17) *hэ, юун муухай хубсаһа-тай үхибүү-д гээшэ-б-та?*
 эй рсl грязный одежда-ргоp ребенок-pl рсl-рсl-2pl
 ‘Эй, что вы за дети в такой грязнушей одежде?’ (Цыренов, 1972: 64).

Многоточие свидетельствует об эмоциональной паузе и, во-первых, выполняет дискурсную функцию привлечения внимания собеседника на последующий фрагмент текста, содержащий важную информацию (18), во-вторых, указывает на размышления и умозаключения говорящего (19). Примеры:

- (18) *Яа-гаа-б даа... тэрэ... Улька-тай ехээр...*
 q-рс.prs-рсl рсl тот У.-com много
Ойро-нь бүү хур-өөрэй
 близко-poss3 neg трогать-imp
 ‘Что же... с той... Улькой много... Не трогай ее’ (БТ № 3, 1959, 34).

- (19) *Тээд яа-ха-б-ши...*
 Но q-рс.fut-рсl-2sg
 ‘Но что поделаешь...’ (БК).

Стилистические фигуры

Из стилистических фигур в бурятском языке нами отмечены риторический вопрос, риторическое восклицание и повтор.

Риторический вопрос — одна из самых распространенных фигур, с ее помощью выражается напряженное эмоциональное состояние говорящего. В отличие от обычного вопросительного предложения, здесь не требуется ответ на вопрос. Риторический вопрос может передавать следующие эмоции: гнев, досаду, изумление, раздражение, возмущение (20), сожаление (21) и т. п.

- (20) *Юун гэ-һэн юм гээшэ-б?*
 что aux-рс.pst рсl рсl-рсl
 ‘Да что же это такое?’ (БК).

- (21) *Зун бай-ха-яа яагаа гээшэ-б?*
 лето быть-рс.fut-refl рсl рсl-рсl
 ‘Ну почему сейчас не лето?’ (Цыренов, 1972: 42).

Риторическое восклицание — также является яркой выразительной фигурой в арсенале средств выражения эмоций в бурятском языке. В лингвистической литературе такие конструкции однозначно квалифицируются как эмоциональные, причем многие имеют типизированный характер. В следующем контексте говорящий сокрушается над ситуацией, когда, вернувшись после войны инвалидом, не может накормить своих детей:

- (22) *Юун гэ-һэн байдал гээшэ-б даа!*
 что aux-рс.pst жизнь рсl-рсl рсl
 ‘Ну что за жизнь!’ (БТ № 3, 1959, 25).

В следующем примере девушка возмущается из-за того, что пальто плохо очищается от снега:

- (23) *Юун гэ-һэн муухай саһан гээшэ-б!*
 что aux-рс.pst плохой снег pcl-pcl
 ‘Что за ужасный снег!’ (Цыренов, 1972: 3).

Эмоциональный настрой и решимость говорящего подчеркиваются усилительной частицей (вопросительный глагол в форме уступительного деепричастия) и восклицательным знаком на письме:

- (24) *Яабашье үнэн-ише-нь би мэдэ-хэ ёһотой-б!*
 pcl правда-асс-poss3 я знать-рс.fut должно-pcl
 ‘Во что бы то ни стало я должен узнать его правду!’ (БК).

Повтор как универсальное средство выражения эмоций также представлен в бурятских текстах:

- (25) *Бү бууда, Найдан, бү бууда!*
 neg стрелять:imp Н. neg стрелять:imp
 ‘Не стреляй, Найдан, не стреляй!’ (Цыренов, 1972: 31).

Встречается повтор глагольных форм от разных основ:

- (26) ... *Бууда-хаяа боли-ё, орхи-ё!*
 стрелять-cvb перестать-imp оставить-imp
 ‘Давай перестанем, давай бросим стрелять!’ (Цыренов, 1972: 31).

Таким образом, в бурятской диалогической письменной речи обнаруживаются все известные эмоционально-экспрессивные синтаксические средства и стилистические фигуры. Причем наблюдается преобладание риторических вопросительных и восклицательных конструкций, обращений, а также неполных конструкций. В меньшей степени встречаются такие стилистические приемы, как инверсия и умолчание — по всей видимости, это связано с жестким порядком слов в бурятском предложении. Этот вопрос требует более тщательного изучения. Далее отметим, что в усилении эмоционально-оценочного текста большую роль играют частицы, образованные от вопросительного глагола *яа-* ‘что делать, как поступить’ (причем грамматикализуются и употребляются почти все инфинитные формы от этого глагола). Усилителями выражения эмоций выступают также вопросительные слова *юун* ‘что’, *ямар* ‘какой’ в сочетании с частицей логического выделения *гээшэ* (от глагола речи *гэ-* в форме постоянного причастия *-ААшА*). Обнаружилось функциональное различие между употреблением препозитивной частицы *ямар* и постпозитивной *гээшэнь*.

Литература:

- Вежицкая А.** Язык. Культура. Познание. / Перевод с английского, ответственный редактор М. А. Кронгауз. М.: Русские словари, 1996. 412 с.
Гаджиева А. Д. Механизмы создания экспрессивности (на примере текстов выступлений англоязычных политических лидеров) // Политическая лингвистика. 2019. № 4 (76). С. 66–72.
Гак В. Г. Синтаксис эмоции и оценок // Функциональная семантика: оценка, экспрессивность, модальность. М.: Ин-т языкознания РАН, 1996. С. 2031.
Галкина-Федорук Е. М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Сборник статей по языкознанию. Профессору Моск. ун-та академику В. В. Виноградову в день его 60-летия. М.: Изд-во Московского университета, 1958. С. 103–124.
Голуб И. Б. Стилистика русского языка: Учеб. пособие. Москва: Рольф, Айрис-пресс, 1997. 448 с.

- Гушкова Л. В.** Средства усиления экспрессивности и эмоциональности высказывания в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». № 1. 2014. С. 56–60.
- Митриев И. М., Есенова Т. С.** Радость и улыбка как знаки эмоциональной сферы калмыков. *Oriental Studies*. 2013; 6(4). С. 56–60.
- Мулаева Н. М.** Эмотивные глаголы в калмыцком героическом эпосе «Джангар». *Oriental Studies*. 2020. Т. 13. № 4. С. 1103–1120.
- Одончимэг Т.** Оказиональная вербализация эмоций носителями монгольского и русского языков (на материале с отрывками фильмов) // Вестник АлтГТУ им. И. И. Ползунова. № 1–2. 2010.
- Орлова Н. Н.** Языковые средства выражения эмоций: синтаксический аспект (на материале современной английской прозы). Автореферат Дисс. ...канд. Ростов-на-Дону, 2009.
- Скрибник Е. К.** Эмотивные конструкции в бурятском языке // Грамматические исследования по языкам Сибири. Новосибирск: Наука, 1982. С. 83–90.
- Скрибник Е. К.** Скрепа гэжэ в бурятских эмотивных конструкциях // Сибирский филологический журнал. 2015. № 2. С. 36–43.
- Сундуева Е. В.** Тени улыбки в монгольских языках // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 6 (416). С. 179–184.
- Baider F., Cislaru G.** Linguistic Approaches to Emotions in Context. Amsterdam: Benjamins, 2014.
- Emotions in Crosslinguistic Perspective / Ed. by J. Harkins, A. Wierzbicka. Berlin: Mouton de Gruyter, 2001. (Cognitive Linguistics Research 17).
- The Language of Emotions. Conceptualization, expression, and theoretical foundation / Ed. by S. Niemeier, R. Dirven. John Benjamins Publishing Company, 1997.
- Wierzbicka A.** Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Источники:

- БК — Бурятский корпус, http://web-corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_language=ru
- БТ — Байгалай толон. № 3, 1959.
- Галанов Цэрэн.** Тайгын эзэн. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1972.

Даржаева Надежда Баировна, доктор филологических наук, старший научный сотрудник.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
Ул. Сахьяновой, д. 6., г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670047.
E-mail: dnadezhda@mail.ru

Материал поступил в редакцию 17 декабря 2021 г.

N. B. Darzhaeva

MEANS OF EXPRESSING AND INTENSIFICATION EMOTIONALITY IN THE BURYAT LANGUAGE²

The article considers syntactic means of expressing emotions, as well as means of their intensification at the first time in the Buryat linguistics. The topicality of the research is determined by the increasing importance of the anthropocentric scientific paradigm and the little study of the expression of emotions in Buryat constructions. The purpose of this article is to identify and describe the syntactic means and stylistic figures that convey the emotional state of a person, and the means of intensification the expressiveness and emotionality in them. The author adheres to the widespread opinion that the most emotional speech is dialogical speech, which has only its characteristic set of means of expressing emotions. The object of the research is constructions from dialogical speech of heroes in texts. The research methods are linguistic description, context-semantic analysis,

² The research was carried out within the state assignment (Man's World in Mongolian Languages: Analysis of Expressive Means of Emotional Breadth, № 121031000258-9).

introspection. The material of the research was the texts of literary works of fiction by Buryat authors, including those posted in the electronic Buryat corpus. The author examines a variety of emotionally expressive syntactic means (addresses, introductory constructions, incomplete sentences, punctuation) and stylistic figures (rhetorical exclamations, rhetorical questions, repetitions). It is noticed that the expression and emotionality in the constructions under consideration are additionally supported by various means of intensification accompanying full-valued words. The specificity of the Buryat language consists in the use of the infinite forms of the interrogative verb *ya*- 'what to do, how to be' as a means of increasing emotional tension. The same means are used by the interrogative pronoun *yun* 'what' in combination with the polysemic particle *geeshe*. All considered particles are characterized by emotional diffuseness. The author comes to the conclusion that typical emotive syntactic means and stylistic figures are widely used in the Buryat language, and grammatical participial and adverbial forms from the interrogative verb *ya* — 'what to do, how to be', and also the interrogative pronoun *yun* 'what' in combination with the *geeshe* particle are too.

Keywords: *Buryat language, emotive syntax, grammaticalization, means of expressing expressiveness, amplifying particles.*

References:

- Vezhbickaya A.** YAzyk. Kul'tura. Poznanie. [Language. Culture. Cognition] / Perevod s anglijskogo, otvetstvennyj redaktor M. A. Krongauz. M.: Russkie slovari, 1996. 412 c.
- Gadzhieva A.D.** Mekhanizmy sozdaniya ekspressivnosti (na primere tekstov vystupenij angloyazychnyh politicheskikh liderov) [Mechanisms for creating expressiveness (on examples of English-speaking political leaders' speech texts)] // Politicheskaya lingvistika. 2019. № 4 (76). S. 66–72.
- Gak V. G.** Sintaksis emocii i ocenok // Funkcional'naya semantika: ocenka, ekspressivnost', modal'nost'. [Syntax of emotion and evaluation // Functional semantic: evaluation, expressiveness, modality]. M.: In-t yazykoznaniya RAN, 1996. S. 20–31.
- Galkina-Fedoruk E. M.** Ob ekspressivnosti i emocional'nosti v yazyke // Sbornik statej po yazykoznaniyu. Professoru Mosk. un-ta akademiku V. V. Vinogradovu v den' ego 60-letiya. [About expressiveness and emotionality in language // Collection of articles on linguistics. On 60th anniversary of academic V. V. Vinogradov, prof. of Moscow University]. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1958. S. 103–124.
- Golub I. B.** Stilistika russkogo yazyka: Ucheb. posobie. [Stylistics of Russian language: schoolbook] Moskva: Rol'f, Ajrispress, 1997. 448 s.
- Gushkova L. V.** Sredstva usileniya ekspressivnosti i emocional'nosti vyskazyvaniya v povesti N. V. Gogolya «Taras Bul'ba» [Means of intensification of expressiveness and emotionality in sentences of N. V. Gogol's novella «Taras Bul'ba»] // Vestnik MGOU. Seriya «Russkaya filologiya». № 1. 2014. S. 56–60.
- Mitriev I. M., Esenova T. S.** Radost' i ulybka kak znaki emocional'noj sfery kalmykov. [Joy and smile as signs of emotional sphere of the Kalmyks] Oriental Studies. 2013; 6 (4). S. 56–60.
- Mulaeva N. M.** Emotivnye glagoly v kalmyckom geroicheskom epose «Dzhangar». [Kalmyk heroic epic of Jangar: emotive verbs] Oriental Studies. 2020. T. 13. № 4. S. 1103–1120.
- Odonchimeg T.** Okkazional'naya verbalizaciya emocij nositelyami mongol'skogo i russkogo yazykov (na materiale s otryvkami fil'mov) [Occasional verbalization of emotions by Mongolian and Russian speakers (on material from films' fragments)] // Vestnik AltGTU im. I. I. Polzunova. № 1–2. 2010.
- Orlova N. N.** YAzykovye sredstva vyrazheniya emocij: sintaksicheskij aspekt (na materiale sovremennoj anglijskoj prozy). [Linguistic means of expressing emotions: syntactic aspect] Avtoreferat Diss. ...kand. Rostov-na-Donu, 2009.
- Skribnik E. K.** Emotivnye konstrukcii v buryatskom yazyke [Emotive constructions in the Buryat language] // Grammaticheskie issledovaniya po yazykam Sibiri. Novosibirsk: Nauka, 1982. S. 83–90.
- Skribnik E. K.** Skrepa gezhe v buryatskikh emotivnykh konstrukciyah [Conjunction gezhe in Buryat emotive constructions] // Sibirskij filologicheskij zhurnal. 2015. № 2. S. 36–43.
- Sundueva E. V.** Teni ulybki v mongol'skikh yazykah [Shades of smile in Mongolian languages] // Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2018. № 6 (416). S. 179–184.
- Baider F., Cislaru G.** Linguistic Approaches to Emotions in Context. Amsterdam: Benjamins, 2014.
- Emotions in Crosslinguistic Perspective / Ed. by J. Harkins, A. Wierzbicka. Berlin: Mouton de Gruyter, 2001. (Cognitive Linguistics Research 17).

The Language of Emotions. Conceptualization, expression, and theoretical foundation / Ed. by S. Niemeier, R. Dirven. John Benjamins Publishing Company, 1997.

Wierzbicka A. Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Source:

BK — Buryatskij korpus, http://web-corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_language=ru

BT — Bajgalaj tolon. №3, 1959.

Galanov Ceren. Tajgyn ezen. [Master of the taiga]. Ulan-Ude: Buryatskoe knizhnoe izd-vo, 1972.

Darzhaeva Nadezhda Bairovna, doctor of science (linguistics), senior research fellow.

RAS, Siberian branch, Federal State Budgetary Institution of Science Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies.

6 Sakhyanovoy st., Ulan-Ude, Russia, 670047.

E-mail: dnadezhda@mail.ru

Е. Н. Ермакова, М. В. Прокопова, Г. Ч. Файзуллина

ЭТНОНИМЫ БУХАРЦЫ И САРТЫ В ЭТНОНИМИКОНЕ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА¹

В ситуации глобального культурного нивелирования и повсеместных межэтнических конфликтов возникают задачи, связанные с формированием и сохранением национального самосознания как целого народа, так и отдельного человека. Особенно актуально рассмотрение данной проблемы в лингвокультурологическом поле гуманитарных исследований. Между тем, наименование народа, народности — один из факторов этнической идентичности человека. Этнонимы содержат «генетический код», позволяют обозначить определяющие национальные признаки, отличить «своих» от «чужих». Этноним сам по себе очень информативен, так как даёт возможность изучить пути исторической миграции этнического сообщества, его взаимодействие с культурой и языком народа-прародителя, культурные контакты с другими народами, указывает на род занятий, конфессиональную принадлежность представителей сообщества.

Цель статьи — проанализировать формирование, функционирование и словообразовательный потенциал этнонимов *бухарцы, сарты*, называющих этносоциальную группу выходцев из Средней Азии, которые переселялись в Сибирь в конце XIV–XVIII веках и принимали активное участие в освоении этой большой и богатой на возможности территории. Пройдя сложный путь исторического развития, сибирские бухарцы со временем ассимилировались с местными народами, внося существенный вклад в становление культуры тюркского населения Сибири и став значимым этническим компонентом в структуре этноса сибирских татар.

Материалом для исследования послужили памятники деловой письменности XIX — начала XX века, включая метрические записи, документы переписи населения, служебную переписку, прошения и челобитные, документы по податям и сборам, записи по юридическим процедурам, указы, протоколы, рапорты, отчёты и прочее, в которых нашли отражение факты экономического, политического и культурного развития общины сибирских бухарцев. Источники представляют собой как официальные документы, имевшие обращение в делопроизводстве столичных министерств и департаментов, региональных приказов и отделов, так и рукописные записи, сделанные при мечетях на старотатарском языке арабской графикой. В качестве иллюстративного материала представлены записи полевых экспедиций авторов в сельские населённые пункты (2014–2021 гг.).

Анализ содержательной стороны документов, с одной стороны, позволяет проследить пути формирования самоидентичности отдельной этнической общности, с другой — увидеть региональную специфику и определить языковой потенциал терминов-самонаименований. Этнонимы становятся базой для появления дериватов-новообразований: прозвищ, имен, патронимов, фамилий, топонимов.

Для анализа ономастического, представленного в статье, использовался описательный метод с применением его основных приемов: наблюдения, обобщения и классификации материала. Для семантической реконструкции был использован метод этимологического анализа с учетом фонетического и словообразовательного аспектов. Анализ формирования и становления этнонимов в регионе представляется актуальным, поскольку в научный оборот вводятся новые антропонимические данные.

Изучение этнонимов, именующих этносоциальную группу сибирских бухарцев, позволит дать более полную историко-культурную характеристику одному из важных этнических сообществ региона и расширит научные представления о культуре и истории Западной Сибири в целом.

Ключевые слова: *этническая идентичность, этноним, самонаименование, сибирские татары, бухарцы, сарты, Западная Сибирь, Тобольская губерния.*

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-412-720008 «Метрические записи XIX — начала XX вв. о тобольских и тюменских бухарцах как историко-лингвистический источник».

Введение

Современный многомерный мир ставит перед нами задачи формирования и сохранения национального самосознания человека в ситуации глобального культурного нивелирования и повсеместных межэтнических конфликтов. Одним из ведущих факторов, способствующих процессу этнической идентичности человека, является наименование народа, народности, этносословной общности — этноним. В слове, именующем народ, содержится его «генетический код», то, без чего невозможен этногенез в принципе: этноним позволяет обозначить определяющие национальные признаки, общее происхождение (истоки) народа, отличие «своих» от «чужих», а также в случае малочисленности этноса не допустить полной его ассимиляции с основным населением региона проживания. Этноним сам по себе очень информативен, так как даёт возможность изучить пути исторической миграции этнического сообщества, его взаимодействие с культурой и языком народа-прародителя, культурные контакты с другими народами, указывает на род занятий, конфессиональную принадлежность представителей сообщества.

Этнонимика такого многонационального региона, как Западная Сибирь, представляет собой сложное как по структуре, так и по составу образование, включающее в себя авто- и аллоэтнонимы, сосуществующие либо сменяющие друг друга на протяжении развития культуры и языка. Наше внимание, в частности, привлекли этнонимы «бухарцы», «сарты», называющие этносоциальную группу выходцев из Средней Азии, пришедших в Сибирь вместе с торговыми караванами и принявших активное участие в освоении этой большой и богатой на возможности территории. Пройдя сложный путь исторического развития, сибирские бухарцы со временем ассимилировались с местными народами, внося существенный вклад в становление культуры тюркского населения Сибири и став значимым этническим компонентом в структуре этноса сибирских татар.

Стоит отметить, что для изучения этнонимов ограниченных по численности этносоциальных сообществ, не сформировавших собственный язык и литературу, таких, как сибирские бухарцы, особое значение приобретает деловой дискурс — делопроизводственные документы, отражающие не только включённость этнической группы в социальную жизнь страны и региона проживания, но и уникальные черты традиционной национальной культуры и быта. Особенно ценный материал для исследования в этой сфере представляют собой до сих пор малоизученные мусульманские метрические (мечетные) книги. Изучение этнонимов, именующих этносоциальную группу сибирских бухарцев, позволит дать более полную историко-культурную характеристику одному из важных этнических сообществ региона и расширит научные представления о культуре и истории Западной Сибири в целом.

Изученность вопроса

Бухарская культура в Сибири имеет давнюю историю. Сибирские бухарцы неоднократно становились объектом историко-этнографических исследований. Начиная с XVIII века этнографы, в частности Г. Ф. Миллер (XVIII в.), Н. М. Ядринцев (XIX в.), обращали внимание на их роль в освоении Сибири, участие в процессе прокладывания торговых путей, привнесение восточной культуры в сибирские земли. В наше время историки и лингвисты активно изучают происхождение, социальный статус, культуру, быт, религиозные обычаи бухарцев, их роль в распространении ислама в Сибири.

Так, Г. Л. Файзрахманов (2009) рассматривает сибирских бухарцев как потомков среднеазиатских переселенцев, которые прошли сложный путь исторического развития, ассимилировавшись с местным населением. Н. Т. Рахимова (2014) описывает историографию возникновения и функционирования торговых факторий бухарских купцов, соз-

давших свою диаспору в городах Западной Сибири. Результаты изучения деятельности сибирских бухарцев XVIII века в области дипломатии и установления контактов с соседними народами предлагаются в работе А. А. Крих (2019). С. Н. Корусенко (2009, 2011, 2014, 2018) рассматривает бухарцев как значимый этнический компонент в структуре этноса сибирских татар и указывает на их роль в развитии культуры тюркского населения Сибири, раскрывает процесс формирования этносословной группы сибирских бухарцев. В. Г. Дацышен (2009) анализирует проблемы экономического, политического и культурного развития общины сибирских бухарцев в первое десятилетие после Октябрьской революции. В области лингвистических исследований интерес представляют работы О. В. Бараковой (2004), Ф. М. Хисамовой (1990). Значительный вклад в изучении метрических книг в системе лингвистической и культурологической научной парадигмы внесли работы А. Е. Бельковой (2009), Е. А. Косых (2011), Е. В. Чесноковой (2011), Г. Ч. Файзуллиной (2019, 2020), Э. Х. Кадировой (2020), А. А. Фаттаковой (2020).

Таким образом, в отечественной научной традиции — историографической и лингвокультурологической — сложился определённый круг тем, которые рассматриваются применительно к изучению жизни бухарцев в Сибири. К ним относятся: история формирования локальных групп бухарцев в Западной Сибири, характеристика их предпринимательской деятельности, системы жизнеобеспечения и традиционной культуры, роль в распространении ислама в Сибири. Однако нельзя не обратить внимание на то, что в большинстве случаев исследования проводились на основе источников, характеризующих этносоциальные процессы в среде омских и тарских бухарцев, в то время как быт и культура тобольских и тюменских бухарцев изучены недостаточно.

Материал исследования, источники

Источником материала для исследования послужили памятники деловой письменности XIX — начала XX века, включая метрические записи, документы переписи населения, служебную переписку, прошения и челобитные, документы по податям и сборам, записи по юридическим процедурам, указы, протоколы, рапорты, отчёты и прочее, в которых нашли отражение факты экономического, политического и культурного развития общины сибирских бухарцев. Данные документы содержатся в фондах государственных архивов Российской Федерации и являются свидетельством социальной, предпринимательской, в том числе торговой деятельности, системы жизнеобеспечения и традиционной культуры бухарцев, проживавших в Западной Сибири. Проанализированные источники представляют собой как официальные документы, имевшие обращение в делопроизводстве столичных министерств и департаментов, региональных приказов и отделов, так и рукописные записи, сделанные при мечетях на старотатарском языке арабской графикой.

Методы исследования

Анализ ономастикона, представленного в статье, обусловил использование следующих методов и приемов: описательного метода с применением его основных приемов (наблюдения, обобщения и классификации материала); для семантической реконструкции был использован метод этимологического анализа с учетом фонетического и словообразовательного аспектов. Комплекс методов и приемов позволил реконструировать семантическое поле этнонимов как производящую базу для новообразований-дериватов. Анализ формирования и становления этнонимов в регионе представляется актуальным, поскольку в научный оборот вводятся новые антропонимические данные.

Бухарцы как часть населения Тобольской губернии XIX — начала XX века

Развитие торговых связей на протяжении веков не только способствовало выгодному обмену товарами, но и привело к переселению части жителей Средней Азии на территорию России, в том числе и в Западную Сибирь в XIV–XVIII веках. Переселенцы приезжали из Самарканда, Ургенча, Бухары, Сайрама и других городов, это были представители разных национальностей — таджиков, узбеков, уйгуров, каракалпаков, казахов и др.

Анализ записей метрических книг Тобольской губернии об этносословной составляющей населения позволяет сделать вывод о том, что выходцы из Бухары проживали в 55 населенных пунктах, их компактное поселение в Тобольском уезде — Комаровские юрты, в Тюменском уезде — юрты Ембаевские и Ново-Шабалинские.

Главным занятием переселенцев из Средней Азии в Сибири была торговля, кроме этого они занимались земледелием, скотоводством, различными ремеслами и промыслами. Традиционными были кожевенное дело, изготовление ковров, ювелирное дело. Выходцы, получившие в Средней Азии духовное образование, по приезду в Сибирь открывали мекбеты при мечетях и медресе в крупных селениях, обучали как мальчиков, так и девочек. Учителями в школах и имамами в мечетях в основном были узбеки, вследствие этого через школьное обучение в среде и бухарцев, и татар распространялся узбекский язык.

В среде бухарцев доминирующим был узбекский язык. Этому способствовало не только наличие в составе населения среднеазиатского происхождения подавляющего большинства узбеков и уйгуров, но и необходимость общения бухарцев и ташкентцев с татарами, чей язык имел очевидные связи именно с узбекским (Зияев, 1968: 68). В свою очередь, узбекский язык оказал определенное влияние на язык западносибирских татар, это отмечается исследователями: В. В. Радловым (1872), Д. Г. Тумашевой (1977, 1992).

В культурное пространство сибирских татар проникает и литература религиозного и светского содержания из Бухары, Самарканда и других городов Средней Азии.

Идентификация переселенцев в Западной Сибири

В обиходе и делопроизводстве Российской империи купцы из Бухары, Ташкента и других городов Средней Азии именовались «бухарскими», такое наименование мотивировано соотносительностью с родиной переселенцев и страной происхождения привозимых ими товаров — топонимом Бухара (Бухарское ханство, город Бухара, город Бухария: см., например, в заголовке документа 1816 года: «Дело по сообщению Тюменского магистрата о законопротивном пропуске в город Бухарию тюменского купца Василия Сорокина с товарищами для производства торговли» (ГАТО: Ф. ИЗ, оп. 1, д. 1352).

Так как выражение «бухарские купцы» использовалось местным населением для обозначения узбеков, таджиков, туркмен, уйгуров и представителей других среднеазиатских народов, занимающихся торговлей, со временем в русском языке появилось и обобщенное их наименование — «бухарцы», оказавшееся наиболее приемлемым и для самих выходцев из Средней Азии. Именно оно закрепилось как название для формирующейся этносословной группы. В. В. Радлов в конце XIX века писал: «Среднеазиатские переселенцы живут отчасти и теперь, не смешиваясь с остальными, и называют себя бухарлык» (цит. по: Ядринцев, 1891: 24).

И. Д. Пузырев отмечает, что «бухарцами» или «бухаретдинами» в различных источниках XVI–XIX вв. довольно расплывчато обозначали особую группу людей — как российских подданных, так и подданных государств Средней Азии, переселившихся или временно прибывавших в Россию. Однако здесь же исследователь выражает сомнение относительно выделения их в самостоятельную этническую группу: «...вопрос о том, можно ли считать бухарцев “этнической группой” остается открытым, поскольку происхождение лю-

дей, номинированных таким термином, было различным. Они могли происходить как из “Большой Бухарии”, т. е. городов Самарканда, Ташкента и других земледельческих областей южнее Казахской (Киргиз-Кайсацкой) степи, так и из “Малой Бухарии” — района Кашгара (современный Синьцзян-Уйгурский район Китая). Кроме того, ... место бухарцев в правовой системе Российского государства не было окончательно определено, поэтому называть их сословием вряд ли возможно» (Пузырев, 2021: 48). Тем не менее, наименование этноса *бухарцы* состоялось и в настоящее время закреплено в «Алфавитном перечне национальностей и языков».

Использование наименования *бухарцы* в качестве автоэтнонима (эндоэтнонима) может быть объяснено многими причинами, среди которых и невозможность иначе идентифицировать этнически разнородную социальную группу людей-выходцев с географически близких территорий при явном их стремлении к культурному отграничению от коренных «инородцев»; и достаточно высокий статус бухарского купца, дающий определённые привилегии; и позитивное восприятие бухарских купцов местным населением, что, возможно, было связано с качеством привозимых товаров. Изделия из Бухары ценились в Российской империи, что подтверждают примеры из классической художественной литературы, где товары из Бухары приравнены к предметам роскоши: *Красная ленточка, бухарский платочек, кисейная косыночка <...> производит те же действия, что бархат, креп-крепе, марабу, шали и бриллианты* (Ф. В. Бухарин. Прогулка в Екатеринбург 1-го мая. 1824); *Выходит богатырь на берег, смотрит ... стоит белый бухарский конь, как из серебра литой* (А. Ф. Вельтман. Светославич, вражий питомец Диво времен Красного солнца Владимира. 1837).; *Был дорогой бухарский ковер, а рядом с ним и циновки* (Ф. М. Достоевский, Бесы. 1872); *Панауров любил вкусно поест, любил хорошую сервировку <...> ночные сорочки у него были шелковые, кровать из черного дерева с перламутром, халат настоящий бухарский и т. п.* (А. П. Чехов. Три года. 1985).

Сами переселенцы именовали себя бухарцами. Так, в прошении в Земский отдел Министерства внутренних дел (1911 г.) почетных бухарцев Тобольского уезда юрт Вагайских Абдуллы Хисаметдинова и юрт Медянских Салахутдина Шахалиева читаем: «...Добавляем, что мы, **бухарцы**, особое совсем от остальных племя, ничего общего кроме религии с татарами сибирскими природными инородцами не имеющие ...» (РГИА: Ф. 1291, оп. 84. д.120).

Поскольку «вариантность — неотъемлемая черта функционирования этнонимии» (Сироткина, 2009: 34), кроме основного этнонима *бухарцы*, в деловом дискурсе XIX–XX веков обнаруживаются варианты как экзоэтнонимов, так и самонаименований. Так, при индивидуальном самонаименовании представители этносословного сообщества использовали словообразовательные варианты: *бухар-ич / бухар-дин / бухар-тин*. Читаем в записях метрической книги данные об отце: *атасы сарт Мөхәммәдишәриф, атасы бухарич Габделбакый, атасы казак Ибраһим, атасы осдовной казак Алим, атасы зирагатчы Нийаз; атасы бухартин Вәжик, атасы бухардин Кәримкол* (ГКУ: Ф. 295, оп. 9, д. 692. Тобольская губерния. 1851 г.). Использование вариантов *бухар-дин / бухар-тин* связано с фонетическим расхождением литературного произношения и произношения в речи сибирских татар парных звуков: звонкий согласный *д* оглушается и произносится коренными жителями как *т*. Произношение этого варианта в быту, видимо, и послужило причиной его отражения в документах наряду с литературным.

С 30-х годов XVIII века, кроме этнонима *бухарцы*, получает распространение этнохороним *ташкентцы*, так как именно в этот период входит в обычай выделять Ташкент среди других городов Средней Азии, что объясняется все возрастающей ролью этого города в сношениях с Россией. Название «ташкентцы» особенно закрепляется после того, как они поселились на Сибирской линии и стали вести большую внешнюю торговлю (Зияев, 1968: 4). Тем не менее наименование *ташкентцы* не вытеснило наименование *бухарцы*.

В Сибири бухарцы и ташкентцы имели еще одно название — *сарты* (фонетический вариант — *сарды*; появление вариантов также обусловлено влиянием языка сибирских татар). По данным «Этимологического словаря русского языка», *сарт* — стар. название тюрк. населения городов Средней Азии, из др.-инд. «предводитель каравана» (Фасмер, 1897. Т. III: 564). Однако этот термин имеет и другие значения, причем до сих пор в научной литературе нет однозначного понимания значения этой лексемы. Так, по одной из версий, *сарты* — это общее наименование части населения Средней Азии, живших в XV–XIX веках, ведущих оседлый образ жизни. В. И. Бушков (2001) и Л. С. Толстова (2001) предполагают, что сартами называли узбеков, потерявших свое родоплеменное название, и городских таджиков, ведущих полукочевой образ жизни. По мнению А. А. Семенова (1903), сартами называют вообще все оседлое население Средней Азии, это название активно используется русскими. У киргизов сарты — это соплеменники, которые бросили кочевой образ жизни. Таким образом, сарт для них — это обобщенное наименование оседлого жителя, которому противопоставлялся кочевник. Л. Ф. Костенко, российский дипломат, востоковед, в середине XIX века писал, что сарт — это наименование не человека, а его особого рода занятий, в переводе — человек, занимающийся торговлею, горожанин, мещанин. Таким образом, по мнению ученого, это не национальность, а сословие.

В Российской империи сарты выделялись как обособленный этнос и учитывались при переписи населения отдельно от других этносов. Советская власть не признавала сартов как отдельный народ, так как к тому времени этнографические различия между узбеками и таджиками практически исчезли, оставался только языковой барьер. В соответствии с тем, что сарты использовали в основном узбекский язык, они были причислены к узбекской национальности.

В Сибири сартами называли торговцев, купцов, которые были зажиточными людьми, возможно, в этом случае мотивирующим словом явилось тюркское *сатар* — «продающий».

Отметим, что в метрических записях о тобольских и тюменских бухарцах кроме того, что используются вариативные единицы: *сарт* / *сард*, *сарття* / *сардия* / *зарття*; *бухарич*, *бухартин* / *бухардин*, встречаем функционирование лексем *бухарцы* / *сарты*; *бухарич* / *сарт* в роли абсолютных синонимов. Доказательством служат записи в метрических книгах: лексемы *бухарцы* / *сарты*; *бухарич* / *сарт* используются в одном и том же документе, а записи сделаны одним и тем же человеком (Faizullina G.Z., 2021: 22). Приведем пример из книги о рожденных юрт Каскариных Тюменского уезда Тобольской губернии за 1851 год: *атасы бухартин Эмин, атасы сарття Сэфэр* (досл. пер.: отец бухартин Эмин, отец сарття Сэфэр) (ГКУ: Ф. 295, оп. 9, д. 692. Тобольская губерния. 1851 г.).

Словообразовательный потенциал этнонимов бухарин, сарт

Этнические наименования в дальнейшем послужили базой для идентификации личности, поскольку в условиях массовой миграции признак по этнической и территориальной принадлежности осознавался как отличительный. Наричательные существительные послужили производящей базой для формирования имен собственных — фамилий.

В России формирование фамилий проходило в течение долгого времени и было связано, в первую очередь, с классовым расслоением общества. У князей и бояр фамилии появились в XIV–XVI вв., у дворян фамилиекон сформировался во время экономического и политического господства дворянства (XVI–XVII вв.). У самых богатых и именитых купцов фамилии начали появляться еще в XVI в., а в целом у большинства купцов и горожан к началу XIX в. фамилии еще не установились.

Культурно-исторические связи русского и татарского народов сыграли определенную роль: формирование татарских фамилий проходило в то же время и по тем же словообразо-

вательным моделям, которые сложились в русском языке. У бухарцев и татар фамилии появились, как и у русских, вначале только у представителей знати (Файзуллина, 2017: 70). В конце XIX — в начале XX века получают фамилии другие слои бухарского и татарского населения. К этому времени длительное общение бухарцев с другими народами, особенно с сибирскими татарами, привело к ассимиляции этих народов: общие язык и религия, взаимопроникновение культур, элементов быта, традиций, обычаев, совместные браки и др. Сами бухарцы уже считали себя уроженцами Сибири. Соответственно, бухарские и татарские фамилии формировались единообразно, по одним и тем же законам языка.

Отэтнонимические и оттопонимические фамилии, по мнению исследователей, немногочисленны. И все же наименования представителя этнической группы *бухарец* и *сарт* не могли не оставить след при формировании фамилиекона Западной Сибири. В нашем материале это фамилии *Бухарин* / *Бухаринов* / *Бухаров* / *Бухарцев*; *Сартов* / *Сартаков*.

Попытаемся рассмотреть этимологию этих фамилий. Отметим, что и в том, и в другом случаях истинное происхождение фамилии определить затруднительно. Так, словари по-разному объясняют происхождение фамилии *Бухарин* / *Бухаринов* / *Бухаров* / *Бухарцев*. По одной из версий, фамилия *Бухарин* / *Бухаров* / *Бухарцев* — русская, этимологически связана с лексемой «бухара». В северных говорах так называют жалящих насекомых — пчелу, шмеля; трудолюбивый человек на севере, в соответствии с образом насекомых, получал прозвище Бухарок. Эту же лексему используют в новгородских говорах со значением «запольная, пустошная земля, где каждые три или четыре года сеется рожь», в тверских говорах «бухара» — это сенокос в лесу на полянах, где растет трава (листуга), или же действие, связанное с последним разбором пеньковой и льняной пакли (Даль, 1989). Соответственно, прозвище могло быть дано либо владельцу угодий, либо тому, чья деятельность тем или иным образом связана с паклей. На Кавказе этот диалектизм имеет значение «камин, камелек», что также могло лечь в основу либо прозвища, либо притяжательного прилагательного — отчества человека, которое впоследствии закрепилось как фамилия. По другой версии, прозвание *Бухаров* / *Бухарцев* может связано с названием ранее существовавшего в Средней Азии эмирата, столицей которого был город Бухара, и могло быть присвоено, к примеру, русскому купцу, торговавшему с Бухарой и некоторое время там проживавшему. И наконец, согласно третьей версии, фамилия *Бухарин* / *Бухаров* / *Бухарцев* по своему происхождению тюркская, в ее основе лежит прозвище человека по месту его рождения.

В защиту обеих версий выступают данные, приведенные В. А. Никоновым: «... на рубеже XIX–XX вв. *Бухаровы* документированы в Епанчинской уезде Тульской губернии) и в Зауралье (Ялutorовский у., две вол. Курганского округа». Завершается словарная статья фразой: «Ветви ли это той же семьи или нет — неизвестно» (Никонов 1993: 22). В этой связи нельзя не заметить, что инородцы — выходцы из Средней Азии — селились на окраине Российского государства, в Западной Сибири. Скорее всего, появление фамилии *Бухарин* / *Бухаров* / *Бухарцев* в этой местности связано с третьей версией, а фамилия рода *Бухариных* / *Бухарцевых* / *Бухаровых*, проживающих в европейской части России, — по происхождению русская. На наш взгляд, в споре о происхождении фамилии в этом случае нет однозначного ответа: возможно, фамилии разных лексических систем лишь проявление фонетического созвучия.

И в русском, и в татарском языках широко распространены варианты фамилий: например, от имени *Иван* → *Иванов*, *Иваньков*, *Иванцов*, *Иванцев*, *Ивантеев* и мн. др. На наш взгляд, фамилии (как славянские, так и тюркские) *Бухарин* / *Бухаров* / *Бухарцев* также можно рассматривать как варианты. Фактором, влиявшим на отражённость фамилий в письменных источниках, было также состояние узуальной нормы, допускавшей широкий диапазон для вариантных написаний (Парфенова, 2005: 12).

От функционирующего имени собственного могут образовываться дериваты — две и более фамилий. В нашем материале это фамилии *Бухарин* / *Бухаринов*. Фамилия, будучи производным патронимом, могла служить производящей базой для образования более слож-

ного по составу термина. Сравним: *Бухарин (уроженец Бухары) → Бухаринов (сын Бухарина, уроженца Бухары)*. Таким образом появлялось отчество «второй» степени и, как следствие, — другая фамилия.

Роль этнонима *бухарцы* не ограничивается только влиянием на формирование фамилиекона — на его основе образуются также другие имена собственные: в частности, в Государственном архиве Тюменской области хранятся устав и протоколы сформированного при Ембаевском сельсовете Ембаевского мелиоративного товарищества «Бухарец» (1927), Ембаевской коммуны «Бухар» (1928), а также материалы о землеустройстве и годовые планы колхоза Киндеровского сельсовета «Бухара» (1930). Последнее название, очевидно, является вторичным от названия местных жителей-бухарцев, так как непосредственных связей с городом Бухарой колхоз не имел.

Еще больше разногласий вызывает фамилия *Сартов / Сартаков*. Позволим себе предположить, что эти фамилии можно рассматривать как производящую и производную. Суффикс *-ов* является словообразующим для производного прилагательного со значением принадлежности чего-либо лицу или существу, которое названо мотивирующим словом (Ефремова, 2005: 321–322), в нашем случае фамилия *Сартов* указывала на принадлежность к лицу, называемому *сарт*. Происхождение фамилии *Сартаков* можно рассмотреть как единицу, образованную разными путями. 1. *Сартаков* — отчество (а затем фамилия) второй ступени: *Сартов* (сын сарта, человека, принадлежащего этносу сартов) → *Сартаков* (сын Сартова). 2. В. А. Никонов, ссылаясь на В. П. Тимофеева, связывает происхождение этой фамилии с татарским словом *сартак* — «морковь». Но здесь же автор приводит сведения о том, что и в башкирском, и в татарском языках лексема *сартак* со значением «морковь» в диалектных словарях не зафиксирована (Никонов, 1993: 111). Однако данные наших полевых записей свидетельствуют о том, что все же лексема *сартак* в значении «морковь» и в настоящее время используется в говорах сибирских татар. Приведем примеры: *Пы йыл сартакеб⁶ес тың уңты* (досл. перевод: В этом году был большой урожай моркови) (ПМА 1); *Аиға сартак кенә турап салу қалты* (досл. перевод: Осталось только в суп положить морковь) (ПМА 2). И. М. Ганжина также предлагает версию возникновения фамилии, связанную с лексемой со значением «морковь» (Ганжина, 2000: 425), но в то же время приводит и другую, которая, по ее словам, более вероятна: фамилия *Сартаков* — производная от имени *Сартак*, которое, в свою очередь, восходит к нарицательному *сарт* — старинному названию тюркского населения городов Средней Азии». (Там же). Автор словаря указывает, что имя *Сартак* носил сын Батыя. Кроме того, имя известно из фольклора: *Сартак* — былинный враг Руси, зять Калина-царя. Н. Н. Парфенова также считает, что *Сартак* — это прозвище, которое может восходить к лексеме *сарт* — названию этнической группы башкир. «Формант *-ат* мог появиться по аналогии с этнонимами остяк, пермяк, колмак» (Парфенова, 2005: 345). Этот этноним зафиксирован в качестве личного имени, послужившего в дальнейшем для образования притяжательного прилагательного и закрепившегося в дальнейшем как фамилия. Читаем в «Словаре русских фамилий конца XVI–XVIII веков (по архивным источникам Зауралья)»: *Юшка Сартаков, верхотурский стрелец (1661 г.) ... ашни паиут <> Дмитрий Сартаков пят(ь) десятин (1714 г.)* (Там же).

Этноним *сарт* также отражен в топонимике: в Зауралье есть села Сарт-Абдрашево, Сарт-Калмакова.

Заключение

Несмотря на то, что переселенцы из Средней Азии хранили свои традиции, культуру, обустроивали свои жилища в соответствии со своими национальными представлениями и соблюдали обряды, проживание на одной и той же территории, складывающиеся семейно-родственные связи (бухарцы женились на татарках), общие бытовые условия, контакты —

все это привело к неизбежному взаимовлиянию культур и языков бухарцев и сибирских татар. К концу XIX века бухарцы ассимилировались и слились с коренным населением, но их след в этногенезе и культуре сибирских татар остался.

Литература:

Алфавитные перечни национальностей и языков для кодирования ответов на вопросы 7 и 9 форм К и Д и вопроса 6 формы В переписных листов Всероссийской переписи населения 2002 года. М., 2002. http://www.demoscope.ru/weekly/znigi/alfavit/alfavit_nacional.html (дата обращения 09.01.2022)

Баракова О. В. Деловая письменность XVII века: концептосфера, субтекстовый состав: на материале таможенных книг Московского государства: Автореф. ... дис. д-ра филол. наук. 2004. 44 с.

Белькова А. Е. Метрические книги первой половины XIX века Тюменского духовного правления как жанр деловой письменности: Автореф. ... канд. филол. Наук. Сургут, 2009. 21 с.

Бушков В. И., Толстова Л. С. Население Средней Азии и Казахстана (Очерк этнической истории) // Расы и народы: Сборник / Г. П. Васильева. М.: «Наука», 2001. Вып. 27. С. 141–142.

Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2001. 672 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х томах. М.: Рус. яз., 1989.

Дацышен В. Г. Бухарское население Сибири в первое послереволюционное десятилетие // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2018. № 17 (3). С. 661–674.

Дацышен В. Г. Сибирские бухарцы. Сибирский субэтнос: культура, традиции, ментальность: материалы V Всерос. науч.-практ. интернет-конф., 15 янв. — 15 мая 2009 г. / отв. ред. Н. И. Дроздов. Красноярск, 2009. С. 79–87.

Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. 2-е изд., испр. М.: АСТ: Астрель, 2005. 636 с.

Зияев Х. Узбеки в Сибири (XVII–XIX вв.). Ташкент: Издательство «ФАН», 1968. 74 с.

Корусенко С. Н. Землевладение и землепользование бухарцев в Сибири: генеалогический ракурс // Известия Алтайского государственного университета, 2009. № 4–3 (64). С. 98–102.

Корусенко С. Н. Торговля и предпринимательская деятельность бухарцев Тары (по материалам переписи населения 1897 г.) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 4 (20). С. 267–272.

Корусенко С. Н. Политика центральных и местных властей по отношению к бухарцам Сибири в середине XVII — начале XIX века // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2014. № 3 (3). С. 105–119.

Корусенко С. Н. Сибирские бухарцы: динамика численности и расселение (XVII–XX вв.). Омск: Издат. дом «Наука», 2011. 248 с.

Косых Е. А., Чеснокова Е. В. Метрические книги в системе русской культурологической парадигмы // Культура и текст. 2011. № 12. <https://cyberleninka.ru/article/n/metricheskie-knigi-v-sisteme-russkoy-kulturologicheskoy-paradigmy> (дата обращения 08.04.2020)

Крих А. А. Разведывательная деятельность сибирских бухарцев в киргизской степи в XVIII в. // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2019. № 2. С. 35–42.

Миллер Г. Ф. Описание сибирских народов / Изд. Элерт, В. Хинтцше. М.: памятники исторической мысли, 2009. 456 с.

Никонов В. А. Словарь русских фамилий / Сост. Е. Л. Крушельницкий. М.: Школа-Пресс, 1993. 224 с.

Парфенова Н. Н. Словарь русских фамилий конца XVI–XVIII вв. (по архивным источникам Зауралья). М.: Издательский Дом Синергия, 2005. 480 с.

Пузырев И. Д. К вопросу о земледелии сибирских бухарцев // Система землевладения и социальные категории населения Волго-Уралья и Западной Сибири XVI–XIX вв. Выпуск 1. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2021. С. 248–270.

Радлов В. В. Образцы народной литературы Тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи [Электронный ресурс] : [на языках подлинников]. Ч. 4 : Наречия барабинцев, тарских, тобольских и тюменских татар. Санкт-Петербург, 1872 (2016). XV, [3], 411 с.

Радлов В. В. Этнографический обзор турецких племен Сибири и Монголии / В. В. Радлов. Иркутск, 1923. С. 23.

Рахимов Н. Т. Диаспоры бухарцев в Сибири в XVI–XIX веках и их отражение в исторической литературе // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2014. № 2 (39). С. 139–149.

Семёнов А. А. Горные таджики // Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза. 1903.

- Сироткина Т. А.** Актуальные проблемы современной этнонимии // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2011. Вып. 4 (16). С. 53–59.
- Сироткина Т. А.** Региональный этнонимикон как полевая структура // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 4. С. 33–38.
- Тумашева Д. Г.** Словарь диалектов сибирских татар. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1992. 255 с.
- Тумашева Д. Г.** Диалекты сибирских татар. Опыт сравнительного исследования. Казань: Изд-во КГУ, 1977. 296 с.
- Файзрахманов Г. Л.** Бухарцы в Западной Сибири в XVII — начале XX веков // Вестник Башкирского университета. 2005. № 3. С. 69–71.
- Файзуллина Г. Ч., Ермакова Е. Н.** Словообразовательный потенциал имени собственного и его реализация в русском и татарском языках // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2019. № 4 (26). С. 67–77.
- Файзуллина Г. Ч., Кадирова Э. Х., Фаттахова А. А.** Мечетные книги Тобольской губернии XIX — начала XX веков как памятник письменности сибирских татар: состав книг и лексика // Научный диалог. 2020. № 2. С. 127–140.
- Фасмер М.** Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. Издание второе, стереотипное. М.: «Прогресс», 1987.
- Хисамова Ф. М.** Татарский язык в восточной дипломатии России (XVI — начало XIX вв.). Казань: Татар. кн. изд-во, 2012. 405 с.
- Хисамова Ф. М.** Функционирование и развитие старотатарской деловой письменности XVI–XVII вв. Казань: Изд-во КГУ, 1990. 154 с.
- Ядринцев Н. М.** Сибирские инородцы, их быт и современное положение: этнографические и статистические исследования с приложением статистических таблиц. Санкт-Петербург: Издание И.М.Сибирякова, 1891 (Типография И. Н. Скороходова). 308 с.
- Faizullina G. Z., Kadirova E. K.** Metric records of 19th — early 20th centuries as historical and linguistic sources // Tatarica. 2021. № 2 (17). С. 7–24.

Архивные источники:

ГАТО — Государственный архив Тюменской области.
ГБУТО — Государственный архив в г. Тобольске.
ГКУ — Национальный архив Республики Башкортостан.
ФКУ — Российский государственный архив древних актов.
ФКУ — Российский государственный исторический архив.

Полевые материалы авторов:

ПМА 1 — экспедиция в с. Птицкое Вагайского района Тюменской области. Июль 2019 (информант: Ф. А. Утяшева, 1948 г. р.).
ПМА 2 — экспедиция в д. Кондан Вагайского района Тюменской области. Июль 2020 (информант: М. У. Хабибуллина, 1933 г. р.).

Ермакова Елена Николаевна, доктор филологических наук,
профессор кафедры филологического образования.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет».**

Ул. Знаменского, д. 58, г. Тобольск, Тюменская область, 626150.

E-mail: ermakova25@yandex.ru

Прокопова Майя Владимировна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры филологического образования.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет».**

Ул. Знаменского, д. 58, г. Тобольск, Тюменская область, 626150.

E-mail: prokopova.maya@yandex.ru

Файзуллина Гузель Чахваровна, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры теории и методики начального и дошкольного обучения.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет».**

Ул. Знаменского, д. 58, г. Тобольск, Тюменская область, 626150.

E-mail: utgus@mail.ru

Материал поступил в редакцию 10 марта 2022 г.

E. N. Ermakova, M. V. Prokopova, G. Ch. Faizyllina

ETHNONYMS BUKHARIANS AND SARTS IN THE ETNONIMIKON OF TOBOLSK PROVINCE OF XIX — EARLY XX CENTURY

In a situation of global cultural leveling and widespread ethnic conflicts, problems which are related to the formation and preservation of national identity of both representatives of the people and the individual arise. This problem is especially relevant in the linguoculturological field of humanitarian research. Meanwhile, the name of the people, nationality is one of the options for the ethnicity of a person. Ethnonyms contain a “genetic code” that allows us to designate defining national features, to distinguish “us” from “them”. The ethnonym itself is highly informative, as it makes it possible to study the ways of belonging to a particular ethnic community, its interaction with the culture and language of the progenitor people, cultural contacts with other peoples, indicates occupation, the confessional affiliation of the representatives of community.

The purpose of the article is to analyze the formation, functioning and word-formation potential of the ethnonyms Bukharians, Sarts, which call the ethno-social group of immigrants from Central Asia who moved to Siberia at the end of the 14th–18th centuries and took an active part in the development of this large and rich in opportunities territory. Having gone through a difficult path of historical development, the Siberian Bukharians eventually assimilated with the local peoples, making a significant contribution to the formation of the culture of the Turkic population of Siberia and becoming a significant ethnic component in the structure of the ethnic group of the Siberian Tatars.

The material for the study was the monuments of business writing of the 19th — early 20th centuries, including birth records, census documents, official correspondence, petitions, documents on taxes and fees, records on legal procedures, decrees, protocols, reports, etc. which reflected the facts of the economic, political and cultural development of the community of Siberian Bukharians. The sources are both official documents that were used in the office work of the capital's ministries and departments, regional orders and departments, as well as handwritten notes made at mosques in the Old Tatar language in Arabic script. As illustrative material, the records of the authors' field expeditions to rural settlements (2014–2021) are presented.

The analysis of the content side of the documents, on the one hand, allows us to trace the ways of forming the self-identity of a separate ethnic community, on the other hand, to see the regional specifics and determine the linguistic potential of self-name terms. Ethnonyms become the basis for the emergence of new derivatives: nicknames, names, patronymics, surnames, toponyms.

For the analysis of the onomasticon presented in the article, a descriptive method with its main techniques, that include observation, generalization and classification of the material, was used. For semantic reconstruction, the method of etymological analysis was used, taking into account phonetic and word-formation aspects. The analysis of the formation and development of ethnonyms in the region seems relevant, since new anthroponymic data are introduced into scientific circulation.

The study of ethnonyms that name the ethno-social group of Siberian Bukharians makes it possible to give a more complete historical and cultural description of one of the important ethnic communities in the region and expand scientific understanding of the culture and history of Western Siberia as a whole.

Keywords: *ethnic identity, ethnonym, self-name, Siberian Tatars, Bukharians, Sarts, Western Siberia, Tobolsk province.*

References:

- Alfavitnye perechni nacional'nostej i jazykov dlja kodirovanija otvetov na voprosy 7 i 9 form K i D i voprosa 6 formy V perepisnyh listov Vserossijskoj perepisi naselenija 2002 goda [Alphabetical lists of nationalities and languages for coding answers to questions 7 and 9 of forms K and D and question 6 of form B of the census forms of the 2002 All-Russian Population Census]. M., 2002. (available online at http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/alfavit/alfavit_nacional.html, accessed on 09.01.2022)
- Barakova O. V.** Delovaja pis'mennost' XVII veka: konceptosfera, subtestovij sostav: na materiale tamozhennyh knig Moskovskogo gosudarstva: Avtoref. dis. d-ra filol. Nauk [Business writing of the 17th century: concept sphere, subtest composition: on the material of the customs books of the Moscow state: Abstract of the thesis. dis. Dr. Philol. Sciences]. 2004. 44 p. (In Russian)
- Bel'kova A. E.** Metricheskie knigi pervoj poloviny XIX veka Tjumenskogo duhovnogo pravlenija kak zhanr delovoj pis'mennosti: Avtoref. ... kand. filol. Nauk [Registers of births of the first half of the 19th century of the Tyumen spiritual government as a genre of business writing: Abstract of the thesis. ... cand. philol. Sciences]. Surgut, 2009. 21 p. (In Russian)
- Bushkov V. I., Tolstova L. S.** Naselenie Srednej Azii i Kazahstana (Oчерk jetnicheskoj istorii) [Population of Central Asia and Kazakhstan (Outline of ethnic history)]. Rasy i narody : Sbornik [Races and peoples : Collection] / G. P. Vasil'eva. M.: "Nauka", 2001. Vol. 27. Pp. 141–142. (In Russian)
- Ganzhina I. M.** Slovar' sovremennyh russkih familij [Dictionary of modern Russian surnames]. M.: OOO "Izdatel'stvo Astrel"; OOO "Firma "Izdatel'stvo AST", 2001. 672 p. (In Russian)
- Dal' V. I.** Tolkovij slovar' zhivogo velikoruskogo jazyka: v 4-h tomah [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language: in 4 volumes]. M.: Rus. jaz., 1989. (In Russian)
- Dacyshen V. G.** Buharskoe naselenie Sibiri v pervoe poslerevoljucionnoe desjatiletie [Bukhara population of Siberia in the first post-revolutionary decade]. Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Serija: Istorija Rossii [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: History of Russia]. 2018, № 17 (3). Pp. 661–674. (In Russian)
- Dacyshen V. G.** Sibirskie buharcy. Sibirskij subjetnos: kul'tura, tradicii, mental'nost': materialy V Vseros. nauch.-prakt. internet-konf. [Siberian Bukharans. Siberian sub-ethnos: culture, traditions, mentality: materials of the V All-Russian. scientific-practical. internet conf.]. 15 janv — 15 maja 2009 g. / otv. red. N. I. Drozdov. Krasnojarsk, 2009. Pp. 79–87. (In Russian)
- Efremova T. F.** Tolkovij slovar' slovoobrazovatel'nyh edinic russkogo jazyka [Explanatory dictionary of word-formation units of the Russian language]. 2-e izd., ispr. M.: AST: Astrel', 2005. 636 p. (In Russian)
- Zijaev H.** Uzbeki v Sibiri (XVII–XIX vv.) [Uzbeks in Siberia (XVII–XIX centuries)]. Tashkent: Izdatel'stvo "FAN", 1968. 74 p.
- Koruseiko S. N.** Zemlevladienie i zemlepol'zovanie buharcev v Sibiri: genealogicheskij rakurs [Land ownership and land use of the Bukharans in Siberia: a genealogical perspective]. Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta [News of the Altai State University]. 2009, № 4–3 (64). Pp. 98–102.
- Koruseiko S. N.** Torgovlja i predprinimatel'skaja dejatel'nost' buharcev Tary (po materialam perepisi naselenija 1897 g.) [Trade and Entrepreneurial Activity of the Bukharans of Tara (Based on the Population Census of 1897)]. Vestnik Omskogo universiteta. Serija "Istoricheskie nauki" [Bulletin of Omsk University. Series "Historical Sciences"]. 2018, № 4 (20). Pp. 267–272.
- Koruseiko S. N.** Politika central'nyh i mestnyh vlastej po otnosheniju k buharcam Sibiri v seredine XVII nachale XIX veka [The policy of the central and local authorities towards the Bukharans of Siberia in the middle of the 17th and early 19th centuries]. Vestnik Omskogo universiteta. Serija "Istoricheskie nauki" [Bulletin of Omsk University. Series "Historical Sciences"]. 2014, № 3 (3). Pp. 105–119.
- Koruseiko S. N.** Sibirskie buharcy: dinamika chislennosti i rasselenie (XVII–XX vv.) [Siberian Bukharans: Population Dynamics and Settlement (XVII–XX centuries)]. Omsk: Izdat. dom "Nauka", 2011. 248 p.
- Kosyh E. A., Chesnokova E. V.** Metricheskie knigi v sisteme russkoj kul'turologicheskoy paradigmy [Registers of births in the system of the Russian cultural paradigm]. Kul'tura i tekst [Culture and text]. 2011, № 12. (available online at <https://cyberleninka.ru/article/n/metricheskie-knigi-v-sisteme-russkoj-kulturologicheskoy-paradigmy>, accessed on 08.04.2020)
- Krih A. A.** Razvedyvatel'naja dejatel'nost' sibirskih buharcev v kirgizskoj stepi v XVIII v. [Intelligence activities of the Siberian Bukharans in the Kyrgyz steppe in the 18th century]. Vestnik Omskogo universiteta. Serija "Istoricheskie nauki" [Bulletin of Omsk University. Series "Historical Sciences"]. 2019, № 2. Pp. 35–42.

- Miller G. F.** Opisanie sibirskih narodov [Description of the Siberian peoples]. Izd. Jelert, V. Hintcshe. M.: pamjatniki istoricheskoy mysli, 2009. 456 p.
- Nikonov V. A.** Slovar' russkih familij [Dictionary of Russian surnames] / Sost. E. L. Krushel'nickij. M.: Shkola-Press, 1993. 224 p.
- Parfenova N. N.** Slovar' russkih familij konca XVI–XVIII vv. (po arhivnym istochnikam Zaural'ja) [Dictionary of Russian surnames of the late 16th–18th centuries (according to archival sources of the Trans-Urals)]. M., Izdatel'skij Dom Sinergija, 2005. 480 p.
- Puzyrev I. D.** K voprosu o zemledelii sibirskih buharcev [On the issue of agriculture of the Siberian Bukharans]. Sistema zemlevladelija i social'nye kategorii naselenija Volgo-Ural'ja i Zapadnoj Sibiri XVI — XIX vv. Vypusk 1 [The system of land tenure and social categories of the population of the Volga-Urals and Western Siberia in the 16th — 19th centuries. Issue 1]. Kazan': Institut istorii im. Sh.Mardzhani AN RT, 2021. Pp. 248–270.
- Radlov V. V.** Obrazcy narodnoj literatury Tjurkskih plemen, zhivushhih v Juzhnoj Sibiri i Dzungarskoj stepi [Samples of Folk Literature of the Turkic Tribes Living in Southern Siberia and the Dzungar Steppe]. [Elektronnyj resurs]: [na jazykah podlinnikov]. Ch. 4: Narechija barabincev, tarskih, tobol'skih i tjumenskih tatar. Sankt-Peterburg, 1872 (2016). XV [3], 411 p.
- Radlov V. V.** Jetnograficheskij obzor tureckih plemen Sibiri i Mongolii [Ethnographic review of the Turkish peoples of Siberia and Mongolia]. V.V.Radlov. Irkutsk, 1923. 23 p. (In Russian)
- Rahimov N. T.** Diaspory buharcev v Sibiri v XVI–XIX vekah i ih otrazhenie v istoricheskoy literature [Diasporas of Bukharans in Siberia in the 16th–19th centuries and their reflection in historical literature]. Uchenye zapiski Hudzhandskogo gosudarstvennogo universiteta im. akademika B. Gafurova. Gumanitarnye nauki [Scientific notes of the Khujand State University named after. Academician B. Gafurov. Humanitarian sciences]. 2014, № 2 (39). Pp. 139–149.
- Semjonov A. A.** Gornye tadhiki [Mountain Tajiks]. Jetnograficheskie ocherki Zarafshanskih gor, Karategina i Darvaza. 1903. (In Russian)
- Sirotkina T. A.** Aktual'nye problemy sovremennoj jetnonimiki [Actual problems of modern ethnonymy]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja filologija [Bulletin of the Perm University. Russian and foreign philology]. 2011, Issue 4 (16). Pp. 53–59. (In Russian)
- Sirotkina T. A.** Regional'nyj jetnonimikon kak polevaja struktura [Regional ethnonymicon as a field structure]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja filologija [Bulletin of the Perm University. Russian and foreign philology]. 2009, Issue 4. Pp. 33–38.
- Tumasheva D. G.** Slovar' dialektov sibirskih tatar [Dictionary of dialects of Siberian Tatars]. Kazan': Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1992. 255 p.
- Tumasheva D. G.** Dialekty sibirskih tatar. Opyt sravnitel'nogo issledovanija [Dialects of the Siberian Tatars. Benchmarking experience]. Kazan': Izd-vo KGU, 1977. 296 p.
- Fajzrahmanov G. L.** Buharcy v Zapadnoj Sibiri v XVII — nachale XX vekov [Bukharans in Western Siberia in the 17th — early 20th centuries]. Vestnik Bashkirskogo universiteta [Bulletin of the Bashkir University]. 2005, № 3. Pp. 69–71.
- Fajzullina G. Ch., Ermakova E. N.** Slovoobrazovatel'nyj potencial imeni sobstvennogo i ego realizacija v russkom i tatarskom jazykah [Derivational potential of the proper name and its implementation in the Russian and Tatar languages]. Tomskij zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovanij [Tomsk Journal of Linguistic and Anthropological Research]. 2019, № 4 (26). Pp. 67–77.
- Faizullina G. Z., Kadirova E. K.** Metric records of 19th — early 20th centuries as historical and linguistic sources. Tatarica, 2021. № 2 (17). P. 7–24.
- Fajzullina G. Ch., Kadirova Je. H., Fattakova A. A.** Mechetnye knigi Tobol'skoj gubernii XIX — nachala XX vekov kak pamjatnik pis'mennosti sibirskih tatar: sostav knig i leksika [Mosque books of the Tobolsk province of the 19th — early 20th centuries as a monument of writing of the Siberian Tatars: composition of books and vocabulary]. Nauchnyj dialog [Scientific dialogue]. 2020, № 2. Pp. 127–140.
- Fasmer M.** Jetimologicheskij slovar' russkogo jazyka: v 4-h t. [Etymological dictionary of the Russian language: in 4 volumes] Izdanie vtoree, stereotipnoe. M.: Progress, 1987.
- Hisamova F. M.** Tatarskij jazyk v vostochnoj diplomatii Rossii (XVI — nachalo XIX vv.) [Tatar language in the Eastern diplomacy of Russia (XVI — early XIX centuries)]. Kazan': Tatar. kn. izd-vo, 2012. 405 p.
- Hisamova F. M.** Funkcionirovanie i razvitie starotatarskoj delovoj pis'mennosti XVI–XVII vv. [Functioning and development of the Old Tatar business writing of the 16th–17th centuries]. Kazan': Izd-vo KGU, 1990. 154 p.
- Jadrincev N. M.** Sibirskie inorodcy, ih byt i sovremennoe polozhenie: jetnograficheskie i statisticheskie issledovanija s prilozheniem statisticheskikh tablic [Siberian aliens, their way of life and current situation: ethnographic and statistical

studies with the application of statistical tables]. Sankt-Peterburg: Izdanie I. M. Sibirjakova, 1891 (Tipografija I. N. Skorohodova). 308 p.

Ermakova Elena Nikolaevna, doctor of science (philology), professor, department of philological education.
Tyumen State University.

58 Znamensky st., Tobolsk, Russia, 626150.

E-mail: ermakova25@yandex.ru

Prokopova Maya Vladimirovna, candidate of philology, associate professor,
department of philological education.

Tyumen State University.

58 Znamensky st., Tobolsk, Russia, 626150.

E-mail: prokopova.maya@yandex.ru

Faizullina Guzel Chakhvarovna, doctor of science (philology), associate professor,
dean of the Faculty of Social and Pedagogical.

Tyumen State University.

58 Znamensky st., Tobolsk, Russia, 626150.

E-mail: utgus@mail.ru

Е. В. Перехвальская, В. Ф. Выдрин

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ: ИНДЕКС ТОНАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ¹

Тональные языки могут значительно различаться по тому, какую функциональную нагрузку несёт тон. Карлос Гуссенховен предложил ввести понятие тональной плотности языка, однако до сих пор не предпринималось попыток сделать это понятие практически применимым.

В статье предлагается методика определения индекса тональной плотности (ИТП) языков. ИТП понимается как отношение числа тоном или маркированных тонов к числу сегментных единиц в тексте некоторой протяжённости. Ключевыми понятиями при этом являются:

— *тонема* — тональный контур, который задействован в выражении лексического или грамматического значения;

— *тональный домен* — последовательность сегментов, на которой реализуется тонема;

— *маркированный тон* — часто выделяется в языках с двухуровневыми тональными системами, в таких языках слоги или моры, не несущие маркированного тона, могут считаться бестоновыми;

— *базовая сегментная единица* — слог или мора. Как слог, так и мора может быть принят(а) в качестве базовой единицы, при этом числовые значения ИТП для моросчитающих языков будут различаться (таким образом, можно говорить о «морном ИТП» и «слоговом ИТП»). При этом важен вопрос простоты или сложности практической сегментации базовых единиц: в некоторых языках выделяют до четырёх степеней тяжести слога; иногда даже в близкородственных языках слоги идентичной структуры получают различную трактовку в отношении слогового веса, и т. п., что затрудняет подсчёт числа мор. С другой стороны, в некоторых языках вызывает трудности выделение слогов; для таких языков подсчёт «морного ИТП» был бы предпочтителен.

В качестве практической иллюстрации применения методики, «слоговой ИТП» был подсчитан для трёх разноструктурных языков. В навахо (атапаские языки, США) с маркированным высоким тоном ИТП составил 35,8. В бамана (западная ветвь манде, Зап. Африка), языке с 2-уровневой системой, оба тона которой являются релевантными, индекс составил 70. В восточном дан (южная группа манде, Зап. Африка), языке с 5 уровневыми тонами, индекс составил 105,8.

Ключевые слова: *тональная плотность, тонема, тональный домен, маркированный тон, слог, мора.*

1. Введение

Современная лингвистика признает, что наличие лингвистических тонов в языке — это не редкое и тем более не уникальное явление. По разным оценкам, от 50 % (Hyman, 2011a: 198) до 70 % (Yip, 2007: 229) всех языков мира тональные.

За последние полвека радикально изменились представления о природе лингвистического тона. Так, в классической работе Кеннета Пайка предлагалось считать тональным такой язык, который использует значимое изменение частоты основного тона на каждой потенциально несущей тон единице. Соответственно, тон представлялся как «лексически значимая, контрастная относительная высота звука, маркирующая каждый слог» (Pike, 1948: 43). Языки, в которых только некоторые («маркированные») сегментные единицы имеют тональные характеристики, рассматривались как языки с «музыкальным ударением» или «слоговыми акцентами». Такая позиция характерна, в частности, и для российской востоковедной традиции, которая исходила из противопоставления языков «слогового строя» языкам «фонемным», см. в частности (Касевич, 1983). При таком понимании, для «слоговых» языков постулировалось совпадение слога и морфемы (а также нечёткости границы между морфе-

¹ Исследование выполнено в рамках проекта «Тональные языки мира: база данных и атлас он-лайн», грант 20-18-00250 Российского Научного Фонда.

мой и словом), при этом каждый слог рассматривался как носитель определенного тона. Тональный характер тех языков, в которых не всякому слогу приписывался определенный тон, при таком подходе ставился под сомнение.

До сих пор не существует единого понимания того, что такое лингвистический тон, какие просодические явления следует объединять под этим термином. Впрочем, всё большее распространение получает более гибкий подход, представленный, в частности, в работах Ларри Хаймана. Хайман считает тональным такой язык, в котором «высота звука входит в лексическую реализацию по крайней мере некоторых морфем» (Human, 2009). Иначе говоря, тон рассматривается как супraseгментная единица, которая проявляется в виде изменения высоты основного тона, участвует в различении лексических и/или грамматических значений и характеризует по крайней мере некоторые слоги.

При таком менее ригористском (и, по-видимому, более реалистичном) подходе тональными оказываются как языки типа бирманского или вьетнамского, так и языки типа литовского или сербохорватского. Очевидно, что функциональная нагрузка тона в этих языках значительно различается, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов при изучении типологии тональных систем.²

2. Индекс тональной плотности

Для оценки «степени тональности» языка Карлос Гуссенховен предложил понятие «тональной плотности» (Gussenhoven, 2004: 34). Языки с высокой тональной плотностью используют все или почти все потенциально несущие тон единицы. Однако, как отмечает Гуссенховен (2004), «даже литературный китайский язык, где каждый слог корня несет определенный тон, имеет “нейтральные слоги”, то есть слоги без тона».

Концепция тональной плотности чрезвычайно плодотворна. Она позволяет оперировать более тонкими различиями, нежели противопоставление «тональный / нетональный», при описании языка. Введение понятия тональной плотности примиряет крайние точки зрения относительно того, какой язык может считаться тональным. Языки, которые традиционно описывались как имеющие «музыкальное ударение» или «слоговой акцент», с этой точки зрения определяются как языки с низкой тональной плотностью. Однако введенный Гуссенховеном параметр «тональная плотность» не стал точным термином, а остался импрессионистическим понятием, поскольку методика определения степени тональной плотности не была им разработана.

Чтобы сделать параметр «тональной плотности» исследовательским инструментом, необходимо разработать методику его количественного выражения, что даст возможность сравнивать фонологические системы разных идиомов.³ Для этого предлагается ввести Индекс тональной плотности (ИТП), который будет показывать соотношение между числом потенциальных тононесущих единиц в языке и числом единиц, реально несущих значимый тон. Мы предлагаем рассчитывать ИТП как количество значимых тонов на 100 сегментов, потенциальных носителей тона; подсчеты должны производиться на основе текстов фиксированной длины.

2.1. Принципы подсчёта индекса тональной плотности (ИТП) и ключевые понятия

² О попытке оценить функциональную нагрузку тона в применении к обозначению тона в орфографии см. (Roberts et al., 2020).

³ Ср. высказанное Ларри Хайманом пожелание «чтобы коэффициент тональной плотности мог бы быть создан для каждого языка, в результате чего мы смогли бы расположить все языки мира в порядке её увеличения, от языков с наименьшей плотностью до языков с максимальной плотностью. <...> Но кто-то должен провести плотное исследование и посмотреть, что это даёт» (Human, 2009: 232).

Любой произнесённый гласный акустически характеризуется определённой частотой основного тона (ЧОТ), но далеко не во всех случаях воспринимаемая слухом высота звука используется для идентификации лексического смысла или передачи грамматического значения. Для определения ИТП следует установить, в каких случаях воспринимаемая высота звука оказывается значимой, а в каких — автоматической, т. е. незначимой, или определяемой на фразовом уровне (т. е. производной от интонации).

Ключевые понятия, которыми приходится оперировать при определении ИТП — *тонема* и *тональный домен*, *маркированный тон*, *базовая сегментная единица*.

2.2. Тонема и тональный домен

Тонемой считается тональный контур, который задействован в выражении лексического или грамматического значения. Не являются тонемами контуры, появление которых объясняется автоматическими правилами поверхностной реализации (специфическими для каждого языка).

Тональный домен — это последовательность сегментов, на которой реализуется тонема. Прояжённость тонального домена может варьировать от нуля (если тонема представляет плавающий тон) до нескольких слогов.

2.3. Маркированный тон

Во многих языках с двумя тональными уровнями (высоким и низким) один из уровней (чаще всего высокий тон) может быть признан маркированным. В таких языках только слоги с маркированным тоном могут рассматриваться как тононесущие и учитываться при подсчёте ИТП. В то же время, имеются и такие битональные языки, где оказывается целесообразным учитывать при подсчёте и низкотоновые, и высокотоновые слоги. Решение о той или иной трактовке принимается для каждого языка индивидуально.

По крайней мере для некоторых языков, в которых выделяется маркированный тон (а немаркированные тоны не учитываются), нет необходимости в постулировании тонального домена. По-видимому, тут может идти речь о двух принципиально разных типах тональных языков; эта гипотеза надлежит проверке на более обширном материале.

2.4. Тононесущая единица и базовая сегментная единица

Для всех языков ИТП определяется как отношение смыслоразличительных (лексических или грамматических) тональных единиц (тонем) или маркированных тонов в тексте некоторой протяжённости к числу базовых сегментных тононесущих единиц, на которых они реализуются. Ключевой вопрос при этом — какую тононесущую единицу следует принять за базовую при подсчёте ИТП.

Тононесущей единицей⁴ в языке может быть мора (при этом один слог может нести более одной тонемы; см., в частности, (Yip, 2007: 236–237)) или слог. В последнем случае слог равен море, и вопрос о выборе базовой единицы не встаёт. В первом случае на роль базовой сегментной единицы может претендовать как мора, так и слог. Вопрос в том, какая из них может претендовать на большую универсальность.

Отметим, что Гуссенховен, выдвигая идею тональной плотности, имел в виду в качестве базовой единицы мору: «... языки различаются в выборе тононесущих единиц: в самых “плотных” случаях, каждой море приписывается тон, а в самых “разреженных” языках тоны будут маркировать только фразовые единства» (Gussenhoven, Smelser & Baletes, 2001: 15296). Этого же мнения придерживается Хайман (Human, 2009). При таком решении в слогосчитающих языках слог приравнивается к море, и для них числовое значение ИТП будет такое же, как если бы базовой единицей считался слог. В моросчитающих языках лёгкий слог равен море, а тяжёлый слог равен двум морам.

Однако при выборе моры в качестве базовой единицы при подсчёте ИТП возникают трудности. Так, в специальной литературе всё чаще отмечается, что противопоставление по

⁴ Англ. tone-bearing unit, TBU.

слоговому весу может быть небинарным; см., в частности, (Griscom & Payne, 2017). Например, в различных диалектах пулар-фульфульде (< атлантические < семья нигер-конго) выделяют от двух до четырёх степеней тяжести слога (McLaughlin & Wiltshire, 2017).⁵ Встаёт вопрос: считать ли сверхтяжёлые слоги трёхморными, а «супертяжёлые» (если их существование подтвердится) — четырёхморными? Во-вторых, языки (даже близкородственные) могут по-разному трактовать вес одного и того типа слога, см. примеры таких расхождений в (Gordon, 2017). Даже для одного языка определение числа мор в слоге может оказаться весьма непростой задачей, примером чему может служить язык бамана, см. раздел 4.1.

Если за стандартную пан-языковую единицу принять слог, можно ожидать разного рода трудностей при подсчёте ИТП в тех языках, где функциональный вес слога может быть понижен за счёт увеличения роли моры или, напротив, стопы. В таких языках выделение слога и определение его границ может оказаться весьма непростым делом; ср. обсуждение особо сложного случая, представленного в языке гокана в (Human, 2011b), в результате которого Хайман приходит к выводу о допустимости, но небесспорности выделения слога в этом языке. Довольно частый вопрос — трактовка последовательностей CVV, которые нередко принято рассматривать как односложные биморные; соответственно, последовательность -VV считается долгим гласным или дифтонгом. Однако, как представляется, вопрос о монофонемной трактовке последовательности VV («один долгий гласный или дифтонг») или её бифонемной трактовке («сочетание двух гласных») должен решаться для каждого языка с учётом его особенностей; при бифонемной интерпретации последовательность CVV следует признавать двусложной. См. раздел 5.2, где этот вопрос обсуждается применительно к восточному дан.

Таким образом, при любом выборе базовой единицы для подсчёта ИТП нужно быть готовым к разного рода трудностям, которые могут быть разрешены только с учётом тщательного анализа системы конкретного языка, а иногда, очевидно, путём некоторой схематизации.

В данном исследовании мы решили принять в качестве базовой сегментной единицы слог. При этом мы не считаем, что альтернативное решение было бы принципиально неверным: «морный» подсчёт ИТП также вполне допустим.⁶

В качестве примера того, как определяется ИТП и какого рода трудности при этом возникают, рассмотрим три языка — навахо, бамана и восточный дан. Для каждого языка сначала даются краткие сведения по фонологии, тонологии и морфологии, релевантные для нашей задачи, затем даётся небольшой текст и результаты подсчёта ИТП.⁷

3. Навахо

Навахо ISO 639-3 : [nav] (< апачские < атапасские < на-дене), распространён на юго-западе США (штаты Аризона, Юта, Нью-Мексико), число говорящих достигает 100 тыс. человек.

3.1. Основные сведения о языке

Навахо характеризуется сравнительной простотой именной и значительной сложностью глагольной морфологии: глагольная словоформа состоит из ряда префиксов и заканчивается корнем; глагольные префиксы подразделяются на три блока: наречные проклити-

⁵ Язык пулар-фульфульде нетональный, подсчёт ИТП для него неактуален. Однако выделение более двух степеней тяжести слога обнаруживается и в тональных языках, см. язык маа/масаи (Griscom & Payne, 2017).

⁶ Подсчёт «морного» и «слогового» ИТП для разных языков и их сравнение мог бы рассматриваться как отдельная задача. К сожалению, она не может быть решена в рамках данной статьи в виду ограниченности её объёма.

⁷ К сожалению, из-за ограничений по объёму журнальной статьи мы вынуждены дать тексты без глоссирования, перевода и грамматических комментариев.

ки, словоизменительные префиксы; основа (корень + префикс, традиционно называемый классификатор⁸).

Основной порядок слов SOV; вершинное маркирование в генитивной синтагме; прилагательное предшествует определяемому.

Консонантный инвентарь навахо весьма богат: выделяются 33 согласные фонемы. Противопоставляются 4 «базовые» гласные фонемы: /a/, /i/, /o/, /e/. Каждой из них соответствует долгая, назализованная и долгая назализованная: а, аа, *ã*, *ãã* и т.д.⁹ Фонологически долгота трактуется как сочетание двух кратких гласных на следующих основаниях: две идентичные гласные могут нести разный тон: *hagoónee* ‘до свидания’, *niil’íí* ‘мы посмотрели на это’. Если признать наличие долгих гласных, пришлось бы постулировать для навахо наличие контурных мелодий: восходящего и падающего тона, при том что такие контурные мелодии на кратких гласных отсутствуют (Hale & Honie n.d.: 85–86).

Ещё одним аргументом в пользу бифонемной трактовки долгих гласных является допустимость морфемной границы внутри долгого гласного. Так, в приведенной выше словоформе *niil’íí* ‘мы посмотрели на это’:

ní-i-l-íí

ní-0-idd-l-íí

PROCL-3SG-1DUAL-CL-смотреть.PRFX

удвоенный гласный *íí* в префиксальной части представляет собой сочетание двух гласных, из которых первый — часть словообразовательного префикса *ní*, а низкотоновый *i* является репрезентацией личного показателя 1 л. дв.ч. *iid*.

3.2. Тональная система навахо

В навахо двухуровневая тональная система, модулированных тоном нет, тональная единица характеризуется сравнительной высотой звука, значимые фонации отсутствуют. Носителем тона является слог. Тон в навахо невозможно описать в терминах ударения: в одном слове может быть несколько высокотоновых слогов, и распространены они не равномерно, то есть они не связаны с иерархией слогов в слове и не несут делимитативной функции, ср. словоформу (1):

haninááhodinishníh

ha-ní-náá-ho-din(i)-ish-l-níh

INC-REV-REP-3SG.O-DUR-1SG-CL-говорить.IMP

‘Я постоянно нахожусь в ситуации, когда я снова и снова начинаю об этом говорить’.

Э. Сепир и Х. Ходжер выделяли в навахо такие типы тонов: а) INHERENT TONE; б) GRAMMATICAL TONE; в) VARYING TONE (Sapir & Hoijer, 1967).

INHERENT TONE — собственно лексический тон, характеризующий слова всех частей речи, в том числе морфемы-проклитики, ср.:

k’e- ‘отвязав, отпустив’ ~ *k’é-* ‘дружественно, мирно’.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТОН характерен для системы глагола. Основные морфологические формы глагола — имперфектив, репетитив, перфектив, будущее, оптатив. Существуют парадигмы, в которых только изменение высоты маркирует образование некоторых из этих форм, ср. глагол *shood* ‘тащить живой объект’ (классификатор *-l-*), у которого формы имперфектива-оптатива и перфектива различаются только тоном.

⁸ «Классификатор», может быть представлен согласными *l*, *t*, *d* или нулем звука.

⁹ Традиционно в атапаскских языках назализация гласного обозначается диакритическим знаком под гласным (а) долгий гласный обозначается удвоением соответствующей буквы. Высокий тон на гласной обозначается акутом, низкий тон не маркируется.

Таблица 1

Основные формы глагола навахо

имперфектив	репетитив	перфектив	будущее	оптатив
<i>-shood</i>	<i>-sho'</i>	<i>-shóód</i>	<i>-shot</i>	<i>-shood</i>

КОМПЕНСАТОРНЫЙ ТОН (VARYING TONE) связан с появлением высокотоновой единицы на месте сегмента, исчезнувшего в ходе сложных морфонологических процессов. Для навахо характерна весьма сложная морфонология. В таблице 2 в качестве примера даны формы имперфектива непереходного глагола *adi--l-t'oh* 'стрелять стрелами' в морфемной записи и поверхностной реализации.

Таблица 2

Спряжение глагола *adi--l-t'oh* 'стрелять (стрелами)'

	ед. ч.	дв. ч. ¹⁰
1 л.	<i>adsh't'oh < adi-sh-l-t'oh</i>	<i>adiilt'oh < adi-iid-l-t'oh</i>
2 л.	<i>adilt'oh < adi-ni-l-t'oh</i>	<i>adoht'oh < adi-oh-l-t'oh</i>
3 л.	<i>adilt'oh < adi-Ø-l-t'oh</i>	

В представленных формах между наречной проклитикой *adi-* и классификатором *-l*, за которым следует корень *-t'oh*, вставляется личный префикс: *sh* 1 л. ед. ч.; *ni* 2 л. ед. ч.; 3 л. обоих чисел представлено нулем; *iid* 1 л. дв. ч.; *oh* 2 л. дв. ч. В форме 3 л. нет морфонологических изменений; в формах лиц-локуторов произошло взаимодействие личных суффиксов с классификатором по сложным правилам. В результате поверхностные репрезентации отличаются от внутреннего морфемного состава, а форма 2 л. ед. ч. получает высокий тон как заместитель исчезнувшего показателя 2 л. *ni*. Таким образом, она отличается от формы 3 лица только высоким тоном: 2 л. ед. ч. *adilt'oh ~ adilt'oh*.

Появление высокого тона в качестве замещения сегмента приводит к выводу о том, что в навахо высокий тон является маркированным. Это подтверждается также тем фактом, что словоизменительные префиксы (входящие во второй блок) являются низкотоновыми и могут получить высокий тон только в результате морфонологических процессов. К такому же выводу приходит и Джойс МакДона (McDonough, 1999: 508).

3.3. Подсчет индекса тональной плотности для навахо

ИТП в навахо отражает число вхождений маркированного (высокого) тона. Таким образом, в приведенной словоформе *hanínááhodinis/níih* (2) 9 гласных, потенциальных носителей тона (и, соответственно, 9 слогов), из них высокотоновых — 3.

Подсчет по тексту (Yazzie & Speas, 2007: 303–304).

Diné náás daazlí'ígíí 'éi 'ádaaní leh, Naaheehó jílĩigo doo "livestock" ha'níi da, háálá nihilíí t'áá hak'éi danilí nahalingo nihaa 'ádahalyá. Ayóo nihaa dajooba'.

T'áá nihitah dahólóōgo hahoolzhiizh dóó kóó hoolzhish. Nihilíí 'éi nihik'idahaltxa'. Diné daniidlínígíí dibé bighaa' binahjī' danihi'ée' dahólóōgo nahashzhiizh.

134 гласных/слов, из них 48 несут высокий тон. ИТП = 35,8.

4. Бамана

Бамана (бамбара) ISO 639-3: [bam] (< манден < западные манде < манде < нигер-конго), распространён главным образом в Мали (Западная Африка), число говорящих оценивается в 15–16 миллионов, см. (Выдрин, 2017a).

¹⁰ В навахо нет особых форм множественного числа.

4.1. Слог и стопа в бамана

В бамана допустимы два типа слогов: V и CV. Помимо слога, важной ритмической единицей является признаковая стопа, которая может быть односложной или двусложной. Стопа выделяется на основании сегментных признаков:

— инвентарь согласных второго слога существенно редуцирован по сравнению с инвентарём согласных первого слога, при этом /r/ допустим только во втором слоге, но не в первом;

— правила аллофонического варьирования согласных в серединной и в начальной позициях в стопе различаются;

— имеются многочисленные ограничения на сочетания гласных первого и второго слога стопы;

— противопоставление гласных по долготе релевантно только в первом слоге двусложной стопы. Двусложные стопы с долгим гласным первого слога будут называться «тяжёлыми» (например, *míiri* ‘думать’, *báara* ‘работа’), стопы с кратким первым гласным — «лёгкими» (например, *sìgi* ‘садиться’, *bára* ‘любимая жена’);

— в лёгких стопах гласный первого слога может подвергаться редукции или даже элизии (*fila* [filà ~ flà] ‘два’). Такой редукции/элизии способствует сегментное окружение, в первую очередь характер согласного первого слога и характер согласного второго слога, а также типы гласных, см. подробнее (Vydrin, 2020a). В медленной речи такие стопы могут всегда произноситься без элизии гласных, поэтому при подсчёте ИТП все лёгкие стопы будут учитываться как двусложные (иначе говоря, элизия первого гласного не будет приниматься во внимание). Что касается гласной второго слога лёгкой стопы, то для неё противопоставление по долготе/краткости оказывается фонологически нерелевантным; чаще всего она реализуется как долгая, но в некоторых контекстах может сокращаться.¹¹

Стопа в бамана может быть меньше морфемы или равной ей. Иначе говоря, внутри стопы не может проходить морфемная граница (по крайней мере, в синхронии).

Членение слов на стопы оказывается значимым для поверхностной реализации тонов. Подробнее о стопе в бамана см. (Vydrin, 2020b).

4.2. Тональная система бамана

В бамана выделяются две уровневые **тонемы**, высокая и низкая.

На поверхностном уровне оказываются допустимы и модулированные тоны на одном слоге, однако они рассматриваются как комбинации уровневых тонов. Таким образом, тононесущей единицей в бамана оказывается мора.

Сегмент, на котором реализуется одна тонема, мы будем называть, вслед за (Vydrin, 2016; Выдрин, 2017a), **тональным доменом**. Тональный домен может быть нулевым (если тонема представлена плавающим низким тоном), одно- или многосложным. В дефолтном случае домен равен слову, однако:

— имеется некоторое количество слов, сегментируемых на два домена: все глаголы-компози́ты и префиксные глаголы; 5–10 % существительных; некоторые типы наречий;

— имеются регулярные модели тональной инкорпорации: существительное + производное прилагательное, зависимое существительное (генитивное определение) + главное существительное, предглагольное наречие + глагол. В таких структурах происходит распространение первого тонального домена до правой границы всего комплекса, который может, в принципе, рассматриваться как одно сложное слово;

¹¹ Такая особенность второго слога лёгкой стопы создала бы серьёзные трудности при определении ИТП, если бы за стандартную сегментную единицу была принята мора, а не слог. Отметим, что односложная стопа в бамана может трактоваться, по-видимому, как трёхморная: например, тональный контур на низкотоновом существительном с тональным артиклем — восходяще-нисходящий, *so`* [soóó] ‘лошадь-ART’, а гласный реализуется как сверхдолгий. Неясно, впрочем, должна ли эта стопа считаться трёхморной в других контекстах, где она реализуется с ровным тоном и кратким гласным.

— некоторые односложные служебные слова не ассоциируются с какой-либо тонемой и являются т. о. «бестоновыми» на глубинном уровне: большинство «предикативных показателей» (служебных слов, выражающих ТАМ и полярность в глагольных предложениях), союз/предлог *ni* ‘и/с’, связка *ka* в посессивной именной конструкции, плюральное слово *u*. Они включаются в предшествующий тональный домен.

Тонема распространяется на весь свой домен; можно считать, что тон лексически приписывается первому слогу или море домена, и этот тон продвигается вправо до границы домена. Однако применительно к низкой тоне это правило имеет ограничение: низкий тон распространяется до правой границы домена в том случае, если за ним следует пауза или высокотоновый домен; если же последующий домен низкотоновый, то вступает в действие правило обязательного тонального контура (OCR, Obligatory Contour Rule): конечный сегмент первого низкотонового домена (мора, слог, стопа, слово — в зависимости от протяжённости этого домена) получает автоматический высокий тон.

Плавающий низкий тон чаще всего представлен артиклем (который реконструируется для праязыкового состояния как *ò, но утратил в бамана свою сегментную составляющую; таким образом мы имеем здесь то, что в автосегментной фонологии называют «эффектом стабильности» (Numan, 2011a: 210)). Кроме того, плавающий низкий тон входит в лексический контур некоторых слов, например, *jón* ‘кто?’, *min* (релятивизатор), *bí* ‘десяток’ (в составе сложных числительных), и т. д.

Плавающий низкий тон имеет четыре способа реализации:

— если за ним следует низкотоновый домен, плавающий низкий тон нейтрализуется: *dén` nà-na* [dɛ́ nàná] <ребёнок-ART приходить-PFV.INTR> ‘ребёнок пришёл’;

— если за ним следует высокотоновый домен, плавающий низкий тон реализуется как даунстеп последующего высокого тона *dén` táar-ra* [dɛ́ ˈtáará] <ребёнок-ART уходить-PFV.INTR> ‘ребёнок ушёл’;

— если за ним следует бестоновое служебное слово (предикативный показатель, плюральное слово и т. д.), это служебное слово входит в домен плавающего тона (фактически выступает как финальный сегмент такого домена); *dén` ma nà* [dɛ́ ˈmá nà] <ребёнок-ART PFV.NEG приходить> ‘ребёнок не пришёл’;

— перед паузой он реализуется на последней море предшествующего домена, тон конечного слога которого становится модулированным: *mùso`* [mùsòò] <женщина-ART>.

4.3. Подсчёт ИТП для бамана

Если исходить из представленной выше модели тональной системы бамана, ИТП можно определить как отношение количества тоном (или тональных доменов, считая и домены нулевой протяжённости, т. е. плавающие тоны) к количеству слогов.

Подсчёт был произведён на произвольно взятом фрагменте естественного текста. Результат: на 100 слогов приходится 70 тональных доменов. Соответственно, ИТП бамана равен 70.

Ò ya'à sòrò ntóolen` sìgilen b' -à ka só à bá` sú` kórò kà Nfàna` màkòno. Tile` bànnà fó kà tilesun` bìn. Ò dūguseje ù lábànnà kà tága sú` dòn kà à sòrò Nfàna` ma yé. Tile wólonwùla séra Nfàna` ma sé kà sí sòrò kà n`ò dí à térike Ntóolen` mà; À tóra kúngo kolon` kónò múnunusaalo` lá.

Sú kope beɛ banna Ntolen wulila ka Nfana yɔrɔ jini.

5. Восточный дан

Восточный дан входит в макроязык дан [dnj] (< южные манде < юго-восточные манде < манде < нигер-конго), на котором говорят 1,6 миллиона человек в Кот д’Ивуаре и Либерии, см. (Выдрин 2017b).¹²

¹² В рамках восточного дан выделяется два десятка диалектов. Здесь будут рассматриваться данные диалекта гуэта, который взят за основу письменной нормы восточного дан.

5.1. Инвентарь гласных

В восточном дан выделяют 12 неносовых (i, e, ε, æ, ш, ɣ, ʌ, a, u, o, ə, ʊ; гласные ш, ɣ, ʌ — задние неогубленные) и 9 носовых гласных (ĩ, ã, õ, ỹ, ɰ̃, ẽ, ʊ̃, ð̃, ʋ̃). Под сверхвысоким тоном среднезакрытые гласные /e, ɣ, o/ реализуются в виде своих более закрытых аллофонов [ɪ, ʏ, ʊ]. В некоторых восточноданских диалектах, по-видимому, произошла фонологизация этих аллофонов.

Особый статус имеет гласная η. Для неё характерна специфическая дистрибуция: она допустима только в неприкрытых слогах (структуры V); она не участвует в гармонии по назальности, характерной для остальных гласных языка. Отнесение её к числу гласных основывается на том, что η, во-первых, является слононосителем, и во-вторых, невозможна в исходе прикрытого слога (структуры CV, CCV).

5.2. Слог и стопа

В восточном дан возможны 3 типа слога: V, CV, CCV. В слогах типа V допустимы все гласные, в двух других типах невозможна гласная η. В слоге CCV вторым согласным может быть только /l/, поэтому его структура может быть представлена как CIV.

Выделяются следующие типы стоп: V, CV, CVV, CVVV, CIV, CIVV, CIVVV. В зависимости от количества слогов, выделяются лёгкие стопы (V, CV, CIV), тяжёлые стопы (CVV, CIVV) и сверхтяжёлые стопы (CVVV, CIVVV). Гласная η допустима только в конечной позиции в стопе. Стопа в дан является признаковой (featural foot): будучи ритмической единицей языка, она выделяется на основе сегментных и супraseгментных признаков:

— в пределах стопы действует назальная гармония. Все гласные стопы должны быть или назальными (*dǝǝ* ‘паук’, *pǝǝ* ‘сказка’), или оральными (*lǝǝ* ‘лев’, *kǝǝ* ‘шимпанзе’), сочетание тех и других в одной стопе недопустимо (**kǝǝ*, **tǝǝ*). Импульсивные согласные и глайды в назальных стопах представлены своими носовыми аллофонами: /bǝ/ — [mǝ], /dǝ/ — [nǝ], /yǝ/ — [ɣǝ ~ ɰǝ], /wǝ/ — [ʋǝ];

— в стопе действуют многочисленные ограничения на сочетаемость гласных: допустимы, почти без исключений, сочетания одинаковых гласных; если в первом слоге стопы мы имеем i, u, то во втором слоге допустимы задние неогубленные гласные, и т.п. В целом количество недопустимых сочетаний (например, *Cɛɛ, *Cɯɯ, *Cɔɔ...) существенно превышает количество сочетаний разрешённых;

— в стопе действуют многочисленные ограничения на сочетаемость тонов. Общая тенденция может быть сформулирована так: (1) допустимы все сочетания идентичных тонов; (2) при конечном ультранизком тоне допустим любой тон первого слога; (3) при среднем тоне первого слога, тон второго слога может быть любым. Сочетания тонов в пределах стопы, не подпадающие под эти правила, или невозможны, или крайне редки.

Ключевой для нашего исследования вопрос — следует ли считать структуры CVV, CVVV, CIVV, CIVVV в восточном дан стопами или полиморфными слогами? Аргументы против их «слоговой» интерпретации следующие:

— если признать эти структуры слогами, то следует постулировать существование в восточном дан долгих и сверхдолгих гласных фонем, а также многочисленных (более 40) дифтонгов и трифтонгов, в т.ч. крайне редких. Такое чрезмерное увеличение фонемного инвентаря представляется неоправданным;

— восточноданские стопы допускают, в некоторых случаях, наличие морфемных границ между своими элементами. Например, в слове *yǝlkǝ* ‘выдра’ выделяются две стопы, *yǝl* и *kǝ*. Стопа *yǝl* является результатом стяжения *yǝ* ‘вода’ и *gǝ* ‘в’ (и составной характер этой стопы ощущается носителями языка). Другой пример: некоторые прилагательные в исходной форме имеют двустопную структуру CVVCVV. От этой формы при помощи трансфикса -k-k- образуется форма интенсификации: *fǝfǝfǝ* ‘лёгкий’ → *fǝkǝfǝkǝ* ‘очень лёгкий’, что, на наш взгляд, однозначно доказывает двухфонемный характер последовательностей *ɣɣ* и двусложный характер стопы типа CVV.

5.3. Тональная система восточного дан

В восточном дан выделяется 5 уровневых тонов (сверхвысокий *ǎ*, высокий *á*, средний *ā*, низкий *à*, ультранизкий *ǎ̃*) и три контурных (высоко-падающий *á̃*, а также очень редкие средне-падающий и сверхвысоко-падающий). Тоны участвуют в выражении лексических и грамматических значений (Vydrin, 2016), причём некоторые грамматические тонемы оказываются замещающими (т. е. вытесняющими лексический тон), другие — аддитивными. Аддитивных тональных морфемы две: (1) инфинитив образуется присоединением справа к основе глагола аддитивного ультранизкого тона, в результате чего тон последнего слога этой основы реализуется как падающий, *glǎ̃* ‘расти’; (2) несубъектное местоимение 2 лица единственного числа *ǎ̃* имеет свободный алломорф в виде ультранизкого тона без сегментной опоры; он присоединяется к конечному слогу предшествующего слова аналогично показателю инфинитива.

По умолчанию, одна тонема в восточном дан ассоциируется с одним слогом. Наблюдаются следующие отклонения от этого принципа:

— сверхтяжёлая (трёхсложная) стопа не может нести более двух разных тонов.¹³ Из этого следует, что на каждую такую стопу приходится только 2 тонемы;

— замещающие грамматические тоны (ультранизкий на глаголе, показатель нейтрального вида; ультранизкий на глагольной основе, показатель фразовой номинализации; ультранизкий на существительном, показатель статуса конструктуса; средний, низкий или ультранизкий на глагольной основе, показатель сопряжённого состояния) реализуются на всей стопе. Соответственно, если замещающий грамматический тон приходится на тяжёлую стопу, то следует считать, что одна тонема ассоциируется с двумя слогами, а если на сверхтяжёлую стопу — то с тремя;

— аддитивные грамматические тоны ассоциируются с предшествующим слогом (см. выше), при этом на один слог приходится две тонемы.

5.4. Подсчёт ИТП для восточного дан

Подсчёт был осуществлён на фрагменте¹⁴ текста протяжённостью в 100 слов, взятого из книги сказок: *Kēbhōñ Bābā Sēbāsīēn* (Tiémoko Baba Sebastien). *Wón dhǎ. Kwēzlāan sālādhēbē* (Livre de contes dans la langue dan de l'Est). Édité par Gué Nestor, Vydrin Valentin, Zeh Enmanuel. *Pābhēnbhābhēn* — EDILIS, 2019.

Dhó wó' wō, wó lòo bhūn bhā kǎ dhōnbǎ bhā' dā yā sǎo zā, yǎn í sǎo yā kǎ, à sǐbhǎn yāa dhǎ. À gblúu wó' bhō, à wō í' dhǎn yā' wō pēñ tǎ bhā, à yǎn' zūn-sīl wě vèññ! vèññ! vèññdhǎ, dhōnbǎ bhā bhāanbǎ í dhūn bhā pǎ, zūl dō kǎ í' gǎ, à sǐbhǎn yāa dhǎ.

По результатам подсчёта, этот отрывок содержит 138 слогов, на которые приходится 146 тонем. Таким образом, ИТП восточного дан равен 105,8.

Литература:

- Выдрин В. Ф.** 2017a. Бамана язык. / В. Ф. Выдрин, Ю. В. Мазурова, А. А. Кибрик, Маркус Е. Б. (ред.). Языки мира: Языки манде. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. С. 46–143.
- Выдрин В. Ф.** 2017b. Дан язык. / В. Ф. Выдрин, Ю. В. Мазурова, А. А. Кибрик, Маркус Е. Б. (ред.). Языки мира: Языки манде. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. С. 469–583.
- Касевич В. Б.** Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1983.
- Gordon, Matthew J.** 2017. Syllable weight: A typological and theoretical overview. In *Syllable weight in African languages*, 27–48. Amsterdam: John Benjamins.
- Griscom, Richard & Doris Payne.** 2017. Non-uniform syllable weight in Southern Kenyan Maa (Maasai). In Paul Newman (ed.), *Syllable weight in African languages*, 143–160. Amsterdam: John Benjamins.

¹³ Единственное обнаруженное исключение — слово *gbáúú* ‘кухня’, недавнее заимствование из языков манден.

¹⁴ Фрагмент дан в транскрипции.

- Gussenhoven, Carlos.** 2004. The phonology of tone and intonation. Cambridge University Press.
- Gussenhoven, Carlos, N.J. Smelser & Paul B. Baletes.** 2001. Suprasegmentals. International Encyclopedia of the Social and the Behavioural Sciences. Oxford.
- Hale, Ken & Lorraine Honie.** n.d. An introduction to the sound system of Navajo. Part one: Articulatory phonetics. MIT.
- Hyman, Larry M.** 2009. How (not) to do phonological typology: the case of pitch-accent. *Language Sciences* 31. 213–238.
- Hyman, Larry M.** 2011a. Tone: Is it different? In John A. Goldsmith, Jason Riggle & Alan Yu (eds.), *The Handbook of Phonological Theory*, 197–239. 2nd edn. Blackwell.
- Hyman, Larry M.** 2011b. Does Gokana really have no syllables? Or: What's so great about being universal? *Phonology* 28. 55–85.
- McDonough, Joyce M.** 1999. Tone in Navajo. *Anthropological linguistics* 41(4). 503–540.
- McLaughlin, Fiona & Caroline Wiltshire.** 2017. Syllable weight in the phonology of Pulaar. In Paul Newman (ed.), *Syllable weight in African languages*, 161–176. Amsterdam: John Benjamins.
- Pike, Kenneth Lee.** 1948. *Tone Languages: A Technique for Determining the Number and Type of Pitch Contrasts*. Language, with studies in tonemic substitution and fusion (University of Michigan Publications. Linguistics 4). Ann Arbor.
- Roberts, David, Ginger Boyd, Johannes Merz & Valentin Vydrine.** 2020. Quantifying written ambiguities in tone languages: a comparative study of Elip, Mbelime and Eastern Dan. *Language Documentation and Conservation* 14. 108–138.
- Sapir, Edward & Harry Hoijer.** 1967. The phonology and morphology of the Navajo language (University of California Publications in Linguistics 4). Berkeley: University of California.
- Vydrin, Valentin.** 2016. Tonal inflection in Mande languages: The cases of Bamana and Dan-Gwæstaa. In Enrique L. Palancar & Jean Léo Léonard (eds.), *Tone and Inflection: New facts and new perspectives (Trends in Linguistics Studies and Monographs 296)*, 83–105. De Gruyter — Mouton.
- Vydrin, Valentin.** 2020a. Vowel elision and reduction in Bambara. *Italian Journal of Linguistics* 32(1). 103–124. <https://doi.org/10.26346/1120-2726-150>.
- Vydrin, Valentin.** 2020b. Featural foot in Bambara. *Journal of African Languages and Linguistics* 41(2). 265–300. <https://doi.org/10.1515/jall-2020-2012>.
- Yazzie, Evangeline P. & Margaret Speas.** 2007. *Diné bizaad bínáhoóaaah. An introduction to the Navajo language*. Flagstaff, AZ: Salina Bookshelf.
- Yip, Moira.** 2007. Tone. In *The Cambridge Handbook on Phonology*, 229–251. Cambridge University Press. Paul de Lancy.

Перехвальская Елена Всеволодовна, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник.

Институт лингвистических исследований РАН.

Пер. Тучков, д. 9, г. Санкт-Петербург, 199053.

E-mail: elenap96@gmail.com

Выдрин Валентин Феодосьевич, доктор филологических наук, профессор, участник проекта.

Институт лингвистических исследований РАН.

Пер. Тучков, д. 9, г. Санкт-Петербург, 199053.

E-mail: vydrine@gmail.com

Материал поступил в редакцию 07 июля 2021 г.

Perekhvalskaya E. V., Vydrin V. F.

QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF TONAL SYSTEMS: TONAL DENSITY INDEX

Tonal languages may differ considerably with respect to the functional load of the tone. Carlos Gussenhoven suggested the notion of tonal density of a language, however, to our knowledge, there have been no attempts to apply it in practice.

In this paper, a method of calculation of the Tonal Density Index (TDI) is proposed. Under TDI we understand the ratio of the number of tonemes or marked tones to the number of segmental units in a text. The key notions related to the TDI are the following:

- toneme i.e. a tonal contour which is relevant for the expression of a lexical or grammatical meaning;
- tonal domain, i.e. a sequence of segments to which a toneme is associated;
- marked tone, which is often postulated in languages with two-level tonal systems. In such languages, syllables or morae which do not carry the marked tone can be considered toneless;
- a basic segmental unit may be a syllable or a mora. Consequently, two kinds of TDI can be calculated, the “moraic TDI” and the “syllabic TDI”. The key question is the applicability of segmentation into these units. Some languages distinguish up to four degrees of the syllable weight; sometimes syllables of identical structures are interpreted differently in what concerns their syllabic weight, even in closely related languages; such factors may considerably complicate the count of moras. On the other hand, in other languages, identification of syllables may be problematic; in such languages, the “moraic TDI” would be easier to calculate.

Three languages of different types have been taken to exemplify the method of calculation of the “syllabic TDI”. In Navajo (Southern Athabaskan group, USA), a language with a marked high tone, the TDI equals 35.8. In Bambara (Western Mande, Mali), a two-level language with tonal domains, the TDI equals 70. In Eastern Dan (South Mande group, Côte d’Ivoire), a language with 5 level tones, the TDI equals 105.8.

Keywords: *tonal density, toneme, tonal domain, marked tone, syllable, mora.*

References:

- Gordon, Matthew J.** 2017. Syllable weight: A typological and theoretical overview. In *Syllable weight in African languages*, 27–48. Amsterdam: John Benjamins.
- Griscom, Richard & Doris Payne.** 2017. Non-uniform syllable weight in Southern Kenyan Maa (Maasai). In Paul Newman (ed.), *Syllable weight in African languages*, 143–160. Amsterdam: John Benjamins.
- Gussenhoven, Carlos.** 2004. *The phonology of tone and intonation*. Cambridge University Press.
- Gussenhoven, Carlos, N.J. Smelser & Paul B. Baletes.** 2001. *Suprasegmentals*. International Encyclopedia of the Social and the Behavioural Sciences. Oxford.
- Hale, Ken & Lorraine Honie.** n.d. An introduction to the sound system of Navajo. Part one: Articulatory phonetics. MIT.
- Hyman, Larry M.** 2009. How (not) to do phonological typology: the case of pitch-accent. *Language Sciences* 31. 213–238.
- Hyman, Larry M.** 2011a. Tone: Is it different? In John A. Goldsmith, Jason Riggle & Alan Yu (eds.), *The Handbook of Phonological Theory*, 197–239. 2nd edn. Blackwell.
- Hyman, Larry M.** 2011b. Does Gokana really have no syllables? Or: What’s so great about being universal? *Phonology* 28. 55–85.
- Kasevich, Vadim B.** 1983. *Fonologicheskiye problemy obschego i vostochnogo jazykoznanija* [Phonological topics in the general and oriental linguistics]. Moscow: Nauka. Glavnaja redaktsija vostochnoj literatury.
- McDonough, Joyce M.** 1999. Tone in Navajo. *Anthropological linguistics* 41(4). 503–540.
- McLaughlin, Fiona & Caroline Wiltshire.** 2017. Syllable weight in the phonology of Pulaar. In Paul Newman (ed.), *Syllable weight in African languages*, 161–176. Amsterdam: John Benjamins.
- Pike, Kenneth Lee.** 1948. *Tone Languages: A Technique for Determining the Number and Type of Pitch Contrasts*. Language, with studies in tonemic substitution and fusion (University of Michigan Publications. Linguistics 4). Ann Arbor.
- Roberts, David, Ginger Boyd, Johannes Merz & Valentin Vydrine.** 2020. Quantifying written ambiguities in tone languages: a comparative study of Elip, Mbelime and Eastern Dan. *Language Documentation and Conservation* 14. 108–138.
- Sapir, Edward & Harry Hoijer.** 1967. *The phonology and morphology of the Navajo language* (University of California Publications in Linguistics 4). Berkeley: University of California.
- Vydrin, Valentin.** 2016. Tonal inflection in Mande languages: The cases of Bamana and Dan-Gwæta. In Enrique L. Palancar & Jean Léo Léonard (eds.), *Tone and Inflection: New facts and new perspectives* (Trends in Linguistics Studies and Monographs 296), 83–105. De Gruyter — Mouton.

- Vydrin, Valentin.** 2017a. Bamana jazyk [Bamana language]. In Valentin Vydrine, Yulia Mazurova, Andrej Kibrik & Elena Markus (eds.), *Jazyki mira: Jazyki mande* [Languages of the world: Mande languages], 46–143. St. Petersburg: Nestor-Historia.
- Vydrin, Valentin.** 2017b. Dan jazyk [Dan language]. In Valentin Vydrin, Yulia Mazurova, Andrej Kibrik & Elena Markus (eds.), *Jazyki mira: Jazyki mande* [Languages of the world: Mande languages], 469–583. St. Petersburg: Nestor-Historia.
- Vydrin, Valentin.** 2020a. Vowel elision and reduction in Bambara. *Italian Journal of Linguistics* 32(1). 103–124. <https://doi.org/10.26346/1120-2726-150>.
- Vydrin, Valentin.** 2020b. Featural foot in Bambara. *Journal of African Languages and Linguistics* 41(2). 265–300. <https://doi.org/10.1515/jall-2020-2012>.
- Yazzie, Evangeline P. & Margaret Speas.** 2007. *Diné bizaad bináhoóaaah. An introduction to the Navajo language.* Flagstaff, AZ: Salina Bookshelf.
- Yip, Moira.** 2007. Tone. In *The Cambridge Handbook on Phonology*, 229–251. Cambridge University Press. Paul de Lancy.

Perekhval'skaya Elena Vsevolodovna, doctor of science (philology), professor, leading research fellow.

RAS, Institute for linguistic studies.

9 Tuchkov lane, St. Petersburg, Russia, 199053.

E-mail: elenap96@gmail.com

Vydrin Valentin Feodosievich, doctor of science (philology), professor, project member.

RAS, Institute for linguistic studies.

9 Tuchkov lane, St. Petersburg, Russia, 199053.

E-mail: vydrine@gmail.com

С. В. Покровская

ФОКУС И ЕГО ПРОСОДИЧЕСКОЕ МАРКИРОВАНИЕ В ВЕРХНЕЛОЗЬВИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ СЕВЕРНОГО МАНСИЙСКОГО ЯЗЫКА¹

В данной работе рассматривается элемент коммуникативного членения в верхнелозьвинском диалекте мансийского языка, соответствующий понятию фокуса. В начале статьи приводится краткая справка о верхнелозьвинском диалекте северного мансийского языка. Далее кратко представлены сведения о словесной просодии. Затем приводятся сведения об интонационном просодическом оформлении в мансийском языке. Описано отражение интонации в пределах слога, слов различной структуры, на материале изолированных предложений и в дискурсе, порождённом носителями по материалам комиксов, не содержащих непосредственно языковых стимулов. Аудиоматериал полевых записей, произведённых автором, анализировался посредством программы PRAAT. В качестве акустического коррелята просодического маркирования информационной структуры выбрано движение нулевой форманты. Излагается стратегия интонационного выделения в сравнении с нейтральным интонационным контуром. Проводится сравнение нейтральных, тетических и коммуникативно расчленённых предложений в аспекте их просодического оформления. Нейтральные предложения оформляются постепенным повышением интонации к предикативному ядру и соответствующей физиологии речи деклинацией после. Выделяется маркер в виде ровного тона на ударном слоге слова, выражающего топик. Обоснованием такому маркированию является значимое различие между длительностью первого ударного и непервых безударных слогов слов в северном мансийском языке. В противовес этому описывается рематическое маркирование: значительное увеличение значения нулевой форманты в пределах ударного слога. Отдельно описаны вспомогательные элементы интонационных конструкций: краевое падение тона маркированной составляющей в соседстве с другой составляющей, которой необходимо получить данное маркирование; клитизирование служебных слов. Дается обоснование понятию «топик» на основании того, как оно фигурирует в литературе по теме. В основе своей топик понимается как семантический компонент, которым ассерция отличается от пресуппозиции. Далее проводится анализ составляющих, получивших соответствующее маркирование. Рассматривается оформление широкого и узкого фокусов. Выделяются аргументный, предикатный фокусы; приводится гипотеза об отсутствии просодического оформления для сентенциального фокуса. Приводится описание фокусных конструкций с аддитивными частицами и под отрицанием.

Ключевые слова: *информационная структура, дискурс, просодия, интонация, уральские языки, мансийский язык.*

Верхнелозьвинский диалект мансийского языка

Мансийский язык входит в обско-угорскую ветвь финно-угорской подгруппы уральской языковой семьи. Исторически восходит к прамансийскому <праобско-угорскому <прафинно-угорскому <прауральскому языку. Исследуемый диалект входит в северную диалектную группу и демонстрирует наибольшую степень сохранности: в качестве языка бытового общения его используют даже представители самых младших поколений. В отличие от родственного сосьвинского диалекта не является языком литературной нормы и в значительно меньшей степени подвержен русскоязычному влиянию. Носители проживают на севере Ивдельского района Свердловской области.

¹ Исследование поддержано грантом РФФИ 19-78-10139.

Материалы исследования

Исследование произведено на аудиоматериале, собранном в ходе полевой работы в д.д. Ушма и Тресколье Ивдельского района Свердловской области в 2017–2019 годах. Искомые данные включили в себя: элицитацию предложений различной синтаксической и коммуникативной структуры, а также экспериментальные предложения и тексты, собранные путём предъявления визуальных стимулов. Так как более предпочтительным было сочтено изучение прагматической категории в дискурсе в противовес изолированным предложениям, основные примеры для этой работы извлечены из текста.

Для записи текста был нарисован комикс, не содержащий текста. Это история про двух братьев: работающего и ленивого, имеющих конфликт, в которой появляется антигерой волк, в результате деятельности которого конфликт традиционно разрешается, а повествование заканчивается исправлением ленивого героя и примирением братьев. Информанты придумывали текст сами в режиме реального времени, в процессе опираясь на комикс. Запись производилась на портативный рекордер Tascam DR-100MKIII в формате WAV с частотой дискретизации 48000 Гц и разрядностью 24 бит. Разметка и анализ звука выполнены в программе PRAAT, версия 6.1.30.

Основные понятия

Здесь и далее термин фокус будет употребляться в соответствии с работой (Lambrecht, 1994): как семантический компонент, которым ассерция отличается от пресуппозиции. Употребления фокуса анализируются согласно той же работе. Классификация фокальных конструкций в верхнелозьвинском мансийском произведена по их синтаксическому статусу: выделяются предикатный фокус, аргументный фокус. О проблемах и особенностях сентенциального фокуса будет сказано отдельно.

О просодии верхнелозьвинского диалекта мансийского языка

Для вынесения суждений о фразовой просодии необходимо привлечь данные о просодии слова. В северных диалектах мансийского языка фиксированное словесное ударение на первом слоге слова, последующие нечётные слоги могут получать побочное, дополнительное ударение, чётные же остаются безударными (Riese, 2001: 17). Экспираторное усилие, ведущее к повышению интенсивности ударного гласного, безусловно используется. И всё же первостепенным кажется квантитативный способ выражения словесного ударения. Статистические исследования показывают значительную разницу между длительностью гласных первого слога и длительностью редуцированных гласных. К косвенным проявлениям приоритета количественности ударения можно отнести отсутствие фонологически долгих гласных в чётных слогах. В нечётных слогах слов стандартной длительности долгие гласные чаще всего возникают в композитах на месте первого слога одного из компонентов. Закономерно, что регулярные особенности поведения F0, коррелирующие с прагматикой высказывания, также были обнаружены в первом слоге. Исследование сконцентрировалось в области интонационных конструкций, так как другие средства (длительность, интенсивность, паузация и особенности фонации просодического тембра) получают индивидуальные характеристики в идиолектах и требуют предварительной и более кропотливой обработки для сопоставления данных, полученных от разных информантов. Нашей задачей при этом являлся не только анализ просодии, но и поиск элементов коммуникативного членения через просодическое маркирование, поэтому анализ интонации представлялся наиболее удобным.

Интонация изолированного слова и нейтральных предложений

Движение нулевой форманты в изолированно произнесённых словах различных слоговых структур отражено ниже. Здесь и далее фигурируют следующие обозначения интонации:

Обозначение	Акустическая реальность
//	повышение тона в пределах слога
—	ровный тон на ударном гласном
\\	понижение тона в пределах слога
/	повышение тона на участке фразы
\	падение тона на участке фразы
[...]	пауза, отклоняющаяся по длительности от стандартной паузации

При рассмотрении движения нулевой форманты в изолированных словах различной структуры были обнаружены следующие тенденции. Повышение тона в односложных словах a//m ‘я’, t//up ‘весло’; повышение тона в двусложных словах на каждом слоге kwā//li//y ‘верёвка’. Слова, состоящие из трёх и более слогов демонстрируют подъём интонации к середине слова и далее её постепенный спад /ī-ti-rā-laŋ\ ‘вечером’.

Подобно значению нулевой форманты в многосложных словах, интонационный контур нейтрального предложения в верхнелозьвинском диалекте мансийского языка демонстрирует плавный рост к середине фразы и дальнейший постепенный спад. Повышение и понижение информации происходит на протяжении слов и более крупных составляющих. Обычно значение нулевой форманты плавно возрастает, деклинация начинается после предиката. Отличительные особенности интонационного контура регулярно концентрируются в пределах ударных (первых) слогов слов.

Пример (1) представляет собой элицитированное высказывание без контекста, соответствующее интонации нейтрального мансийского предложения. Такой же интонационный контур наблюдается в тетическом предложении в примере (5). В примере (2) перед элицитацией дан контекст «Иван строит дом» и задан вопрос «Кто строит дом?» Составляющая, соответствующая информационному фокусу, демонстрирует резкий подъём тона на протяжении ударного слога. Мы считаем это значимым, так как интервал между начальной и конечной точкой значений нулевой форманты ударного гласного гораздо больше, нежели мы можем наблюдать при подъёме интонации в изолированных примерах и нейтральных предложениях. Как можно наблюдать в примерах (3) и (4), фокальные либо рематические элементы маркируются стремительным подъёмом интонации в пределах слога (гласного) под ударением. В случае, если такое маркирование реализуется ошибочно, происходит речевой сбой и в дальнейшем автокоррекция информантом (6).

- (1) /jūwan ūnt-t-i\.
Иван сесть-TR-NPST[3SG]
‘Иван строится (строит дом)’.

vs.

- (2) jū//wan\ ko¹ ūnt-t-i\.
Иван дом сесть-TR-NPST[3SG]
‘(Кто строит дом?) Иван строит дом’.

- (3) ko//l ūnt-t-i\.
дом сесть-TR-NPST[3SG]
‘(Иван строит что?) Дом строит’.

- (4) /mān **ju//n** ɔl-ē-w\.
1PL дома быть-NPST-1PL
'Мы сидим дома'.
- (5) /muwal saw jīw\.
вокруг много дерево
'Много деревьев вокруг'.
- (6) nomsɪ\ (ē/ēēn\) [...] ē[~]ēēn\ n'ōtɯŋkw\ patɪ\
noms-i ēē-ē-n ēē-ē-n n'ōt-ɯŋkw pat-i
думать-NPST[3SG] младшая.сестра-POSS.3SG-LAT
младшая.сестра-POSS.3SG-LAT помочь-INF начать-NPST[3SG]
'Думает, младшему брату помогать будет'.

Аргументный фокус

Подобно маркированию фокуса в изолированных предложениях (2), (3), (4), в дискурсе информационный фокус на аргументе получает маркирование значимым резким восхождением тона на ударном гласном. Пример (7) содержит интересную ситуацию, когда первый слог слова ul'l'u//wəl подвергся редукции настолько, что маркирование перешло на второй слог, по причине его ударности. Данную ситуацию стоит считать исключительной. Стоит отметить, что маркированию в дискурсе аргументный фокус подвергается тогда, когда носит дополнительно эмфатический (7), (8), (9), (10), либо контрастивный характер (11), (12), (13), (14) (в изолированных же предложениях маркируется и просто информационный фокус, не несущий дополнительной смысловой и экспрессивной нагрузки).

Эмфатический

- (7) **wi//təl** ta[~] ā[~]tite\ /**ul'l'u//wəl** ta ā[~]tite\
wit-əl ta=āt-i-t-e ul'l'uw-əl
вода-INS PTCL=тащить-NPST-SG.O-3SG.S дрова-INS
ta=āt-i-t-e
PTCL=тащить-NPST-SG.O-3SG.S
'Воду носит, дрова носит'.
- (8) tajate **ū//l'uw** ta **sājri\ i//smit** ta **pājti** supane ta pōsi tawēn\
taja-te ūl'uw ta=sāyɣ-i ismit
тот-POSS.3SG дрова PTCL=рубить-NPST[3SG] суп
ta=pājt-i sup-an-e
PTCL=варить-NPST[3SG] платье-PL-POSS.3SG
ta=pōs-i taw-ē-n
PTCL=стирать-NPST[3SG] 3SG-POSS.3SG-LAT
'Этот дрова колет, суп варит, одежду стирает ему'.
- (9) at nomsən mātēnəl\ **xū//rjin** toxruwes la//pajaptuwes\ ta[~] totwes\ wōrēn\
at=noms-ən mat-ē-nəl xūɣ-ən
NEG=думать-NMZ INDEF-POSS.3SG-ABL мешок-LAT
toxr-uwe-s lap-aj-apt-uwe-s
запихнуть-PASS-PST[3SG] за-VBZ-CAUS-PASS-PST[3SG]
ta=tot-we-s wōr-ē-n
PTCL=нести-PASS-PST[3SG] лес-POSS.3SG-LAT
'В неожиданный момент в мешок запихал (его волк), подхватил и унёс к себе в лес'.

- (10) je˧˥jpəje a//n'mus\ i˧˥ ta xu\ji
 jēy-piŋ-e an' mus iŋ
 старший-брат-POSS.3SG сейчас до ещё
 ta=xuj-i
 PTCL=лежать-NPST[3SG]
 'Старший брат до сих пор всё ещё спит'.

Контрастивный фокус

- (11) akwate akway ju//n ta xuji\ ta sawlaxti\
 akwa-te akway jun ta=xuj-i
 один-POSS.3SG дома PTCL=лежать-NPST[3SG]
 ta=saw-l-axt-i
 PTCL=лень-VBZ-REFL-NPST[3SG]
 'Старший брат до сих пор всё ещё спит'.
- (12) takwi ta sã//yri u˧˥l'jīw
 takwi ta=sāyŋ-i ul'l'uw
 3SG.EMPH PTCL=рубить-NPST[3SG] дрова
 'Сам рубит дрова'.
- (13) tuwəl akwate saka sawəŋ mō//tane os\ kārkaŋ ōjkarie
 tuwəl akwa-te saka saw-əŋ mōtan-e
 потом один-POSS.3SG очень лень-PROP1 другой-POSS.3SG
 os kārkaŋ ōjka-rie
 ADD усердный мужчина-PEJ
 'Один очень ленивый, а другой шустрый мужчина'.
- (14) ē˧˥e takos-to\ rō//ŋxəste rō˧˥ŋxəste\ a ē˧˥e w//ōrt ōli\ ate xūləste\
 ēe-e ta=kos
 младшая.сестра-POSS.3SG PTCL=CONC
 rōŋx-əs-t-e rōŋx-əs-t-e
 кричать-PST-SG.O-3SG.S кричать-PST-SG.O-3SG.S
 ārei-te wōŋ-t ōl-i
 младший.брат-POSS.3SG лес-LOC быть-NPST[3SG]
 ate xūl-əs-t-e
 NEG слышать-PST-SG.O-3SG.S
 'Младшего брата (в речи допускается оговорка) как бы ни звал, брат в лесу так и не услышал'.

В рассмотренных примерах видно, что бывает узкий (7), (9), (10), (12) и широкий (8), (11), (13), (14) фокус, в зависимости от объема выделяемой информации. Широкий фокус ограничен падением тона на крайней правой составляющей (на последнем слоге либо краевым).

Предикатный фокус

Случаи употребления предикатного фокуса делятся на две группы. Первая группа представляет собой информационный фокус, не несущий никакой дополнительной прагматической нагрузки (15), (16), (17). Во второй группе употребление предиката в фокусе опи-

сывает действие, необходимое для осуществления действия или события, выраженного последующим предикатом (18), (20), (21), (22). Семантический фокус тесно связан с употреблением предикатного, представлен аддитивным (23), (24), а также употреблением в конструкциях с отрицанием (23), (25), (26).

В примере (15) мы склонны видеть маркирование предикативного фокуса по следующим причинам. Вводное слово *tuwəl* 'потом' имеет после себя значительную паузу и вынесено в отдельную элементарную дискурсивную единицу. Речевой сбой в данной ситуации становится очевиден по восходящей интонации на последнем слоге вводного слова (в противовес стандартной деклинации). Таким образом, маркирование ударного гласного аргумента не получает выделенного статуса, так как совпадает с восходящей интонацией начала новой фразы. Более того, краевой тон данной составляющей резко падает вниз, для того чтобы глагол получил возможность маркироваться восхождением интонации со значительным интервалом. Схожую ситуацию мы наблюдаем в примере (18). Получается, что предикатный фокус получает преимущество над аргументным.

- (15) *tu\wə/l [...]/ma//tər\ wō//rajaŋkw*
tuwəl matər wōr-aj-aŋkw
 потом что.INDEF лес-VBZ-INF
 'Потом что-то добывать'.

- (16) *ē̄ēē wō//rajaŋkw\ minas*
ēē-e
 младшая.сестра-POSS.3SG
wōr-aj-aŋkw mīn-as
 лес-VBZ-INF пойти-PST[3SG]
 'Младший брат охотиться ушёл'.

- (17) */ā//ēēn\ ēānēn\ wu//ekasawesiŋ*
āē-ē-n ēān-ē-n wuēkas-awe-s-iŋ
 отец-POSS.3SG-LAT мать-POSS.3SG-LAT бросить-PASS-PST-3DU
 'Мать с отцом оставили их'.

- (18) *tuwəl kwā//lās ro//xtəs sunsi xot xot'utn\ tā̄ nujitawe*
tuwəl kwāl-əs roxt-əs
 потом встать-PST[3SG] испугаться-PST[3SG]
suns-i xott xot'ut-n
 смотреть-NPST[3SG] где.INDEF кто-LAT
ta=nujit-awe
 PTCL=нести-PASS[NPST.3SG]
 'После проснулся, испугался, смотрит -- где-то кто-то его быстро несёт'.

- (19) *tuwəl no//mtēn\ ta patəs*
tuwəl nomt-ē-n ta=pat-əs
 потом ум-POSS.3SG-LAT PTCL=упасть-PST[3SG]
 'Потом он задумался'.

- (20) *tuw\ tō̄t tā̄ nō̄mtiytas\ juw ta xājtəs*
tot ta=nomt-iŋt-as juw=ta=xājt-əs
 там PTCL=думать-ASP-PST[3SG] домой=PTCL=бежать-PST[3SG]
 'Там он поумнел, домой побежал'.

- (21) **jo//xtəsiy** so^ˉjmaltaxtasiy\
 joxt-əs-iy sojm-alt-axt-as-iy
 прийти-PST-3DU мириться-ASP-REFL-PST-3DU
 ‘Пришли, помирились’.
- (22) at nomsən mātēnəl\ xū//rjin toxruwes **la//pajaptuwes** ta^ˉ totwes\ wōrēn\
 at=noms-ən mat-ē-nəl xūry-ən
 NEG=думать-NMZ INDEF-POSS.3SG-ABL мешок-LAT
 toxr-uwe-s lap-aj-apt-uwe-s
 запихнуть-PASS-PST[3SG] за-VBZ-CAUS-PASS-PST[3SG]
 ta=tot-we-s wōr-ē-n
 PTCL=нести-PASS-PST[3SG] лес-POSS.3SG-LAT
 ‘В неожиданный момент в мешок запихнул (его волк), подхватил и унёс в лес к себе’.

Семантический фокус

В верхнелозьвинском мансийском фокальному маркированию подвергаются аддитивные частицы, интонационно их выделение не отличается от самостоятельных слов. В таких случаях ударение на себя принимает частица, а следующее за ней слово клитизируется и подвергается значительной редукции. В примере (24) можно видеть краевое падение тона на топиально маркированном субъекте, что происходит для увеличения потенциального интервала роста нулевой форманты на ударном гласном частицы — и более яркого выражения маркирования аддитивного фокуса.

- (23) xū//jnēte\ kole pantuŋkw o//s at wērmī\
 xuj-nē-te kol-e
 лежать-NMZ-POSS.3SG дом-POSS.3SG
 pant-uŋkw os at=wērm-i
 закрыть-INF ADD NEG=мочь-NPST[3SG]
 ‘Пока спит, дом закрыть тоже не может’.
- (24) tuwəl\ [...] xā^ˉjtnutna tā//rtwes lāwwes\ xā^ˉjtnut\ o//s **akwtacir** sawəŋ ōləs\
 ta \taw\ xuripate\
 tuwəl xajtnut-na tārt-we-s
 потом волк-LAT пустить-PASS-PST[3SG]
 lāw-we-s xājtnut os akw-ta-εir
 сказать-PASS-PST[3SG] волк ADD один-тот-способ
 saw-əŋ ōl-əs taw xuri-p-ate
 лень-PROP1 быть-PST[3SG] 3SG образ-PROP-POSS.3SG
 ‘Потом отпустил его волк, сказав (ему), что волк такой же ленивый был как он’.

В конструкциях с отрицаниями интонационная стратегия практически не меняется. При этом составляющая, находящаяся под отрицанием, ограничена падением тона в конце слова, вне зависимости от интонации последующей части фразы: маркирование восхождением тона (25), простое повышение тона (26), ровный тон (27). Такое разное интонационное поведение отрицательных частиц объясняется различной прагматикой и семантикой контекстов. На основании изложенного стоит заключить, что фокальное маркирование отрицаний содержит в себе не только значимое повышение тона на ударном слоге отрицательного местоимения, но и понижение тона на правой границе составляющей под отрицанием.

- (25) *taw xa^ːjtnutn\ /nē//matər lāwun^ːkw\ akwtəɕir a//t wērm^ːi*
taw *xajtnut-n* *nēmātər* *lāw-un^ːkw*
 3SG волк-LAT PRON.NEG.что.INDEF сказать-INF
akw-ta-ɕir at=wērm-i
 один-тот-способ
 ‘Пока спит, дом закрыть тоже не может’.
- (26) *ē^ːɕe\ tawēn\ /nē//matər lāwun^ːkw\ /at\ wērməs*
ēɕ-e *taw-ē-n* *nēmātər*
 младшая.сестра-POSS.3SG 3SG-POSS.3SG-LAT PRON.NEG.что.INDEF
lāw-un^ːkw at=wērm-əs
 сказать-INF NEG=мочь-PST[3SG]
 ‘И брат ему тоже ничего сказать не мог’.
- (27) *ē^ːɕe\ jē^ːɣpiye l'al't\ nē//matər lā^ːwun^ːkw\ a^ːt wērm^ːi*
ēɕ-e *jēɣ-pi^ːy-e* *l'al't*
 младшая.сестра-POSS.3SG старший.брат-POSS.3SG на
nēmātər lāw-un^ːkw at=wērm-i
 PRON.NEG.что.INDEF сказать-INF NEG=мочь-NPST[3SG]
 ‘Младший брат старшему сказать ничего не может’.

Сентенциальный фокус

Мы выделили маркирование ударных слогов восходящим тоном для случаев узкого фокуса (аргументного) и сопутствующее падение тона на границе крайней правой составляющей для широкого фокуса (аргументного и предикатного). Таким образом, при маркировании целого предложения контур будет существенно совпадать с нейтральным интонационным контуром, что мы и наблюдаем в тетических предложениях (1), (5). Приходится сделать вывод, что интонационных средств мансийского языка недостаточно для маркирования сентенциальных фокусных конструкций. При этом тот факт, что они не были обнаружены, не отменяет необходимости исследования других просодических средств, которые позволят пролить свет на данный феномен.

Заключение

Просодическим оформлением фокуса в верхнелозьвинском диалекте мансийского языка признано значительное повышение тона в рамках ударного слога выделенного слова. Такая стратегия становится возможной ввиду значимого различия в длительности между ударным и безударными слогами. Для узкого фокуса это единственное интонационное маркирование, в то время как широкий фокус имеет падение тона (краевое или на последнем слоге) у крайней правой составляющей. Такая же конструкция оформляет фокально выделенные составляющие под отрицанием.

Употребление аргументного фокуса соответствует понятию информационного, но в дискурсе чаще всего получает эмфатическую либо контрастивную прагматическую нагрузку. Среди употреблений предикатного фокуса выделен ряд контекстов, в которых фокально маркированный предикат обеспечивает возможность существования условий истинности следующей клаузы. Интонационный контур в данных случаях соответствует заявленной стратегии. При этом, с точки зрения выраженности просодического оформления, предикатный фокус получает преимущество перед аргументным. Аддитивный фокус характеризуется маркированием, расположенным непосредственно на соответствующих

частицах. Вопрос о существовании сентенциального фокуса был решён отрицательно. Предполагается, что при употребляемых в верхне-лозвинском мансийском интонационном оформлении нейтральных vs. предложений с фокусом, выраженного просодического маркирования для сентенциальных фокальных конструкций не может существовать. Для верификации этого предположения и дальнейшего анализа конструкций в фокусе необходимо исследовать другие акустические средства выражения маркированности составляющих: длительность, интенсивность, паузацию, тембральные особенности, краевые тоны и т. п., что будет сочтено релевантным.

Литература:

- Бахтиярова Т. П., Динисламова С. С.** Мансийско-русский словарь (верхне-лозвинский диалект). Ханты-Мансийск, 2016.
- Lambrecht K.** Cambridge studies in linguistics. Information structure and sentence form: Topics, focus, and the mental representations of discourse referents. Cambridge University Press, 1994.
- Riese T.** Vogul. Munich: Lincom Europa, 2001.
- Van Dijk, Teun A.** Issues in the pragmatics of discourse. Moscow: Novoe v zarubezhnoj lingvistike, 1978 (in Russian)

Покровская Софья Владимировна.

Младший научный сотрудник.

Институт языкознания РАН.

Пер. Большой Кисловский, д. 1, стр. 1, г. Москва, 125009.

Младший научный сотрудник.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Покровский бульвар, д. 11, г. Москва, 109028.

E-mail: sofie.v.pokrovskaya@gmail.com

Материал поступил в редакцию 14 мая 2021 г.

Pokrovskaya S. V.

FOCUS AND ITS PROSODIC MARKING IN UPPER LOZVA MANSI

This paper considers the information structure in the Upper Lozva dialect of the Mansi language in correspondence to the concept of focus. After a brief presentation of the ULM and its prosody intonational patterns are described within a syllable, words of different syllable structure, on the material of isolated sentences and sentences in discourse. Audio material recorded by the author were analyzed in PRAAT. F0 movement was selected as an acoustic feature of prosodic marking of the informational structure. A comparison is made between neutral and logically stressed sentences. Neutral intonation is characterized by a gradual increase of pitch to the predicative core followed by decline of pitch. Topic is marked by an even tone on the stressed syllable. Rhema is marked by a significant increase of pitch within a stressed syllable. The concept of “focus” is substantiated on the basis of its description in the literature on the topic. Next, the analysis of the marked chunks is performed. The intonational marking of a wide and narrow focus is investigated. Argumental and predicate foci are distinguished; a hypothesis is proposed about the absence of prosodic marking of sentential focus. The description of focus structures with additive particles and under negation is provided.

Keywords: *information structure; pragmatics; focus; discourse; prosody; intonation; minority languages; uralic languages; mansi.*

References:

- Bakhtiyarova T. P., Dinislamova S. S.** Mansi-russian vocabulary (Upper Lozva dialect). Khanty-Mansiysk: 2016. (in Russian)
- Lambrecht K.** Cambridge studies in linguistics. Information structure and sentence form: Topics, focus, and the mental representations of discourse referents. Cambridge University Press, 1994.
- Riese T.** Vogul. Munich: Lincom Europa, 2001.
- Van Dijk, Teun A.** Issues in the pragmatics of discourse. Moscow: Novoe v zarubezhnoj lingvistike, 1978 (in Russian)

Pokrovskaya Sofia Vladimirovna.

Junior research fellow.

RAS, Institute of Linguistics.

1 Bolshoi Kislovskij lane, build. 1, Moscow, Russia, 125009.

Junior research fellow.

National Research University Higher School of Economics.

11 Pokrovsky blvd., Moscow, Russia, 109028.

E-mail: sofie.v.pokrovskaya@gmail.com

М. Ю. Пупынина, Д. Д. Мордашова

СВИДЕТЕЛЬСТВА ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ В КОЛЫМСКО-АЛАЗЕЙСКОЙ ТУНДРЕ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА. ТУНДРЕННЫЕ ЮКАГИРЫ И ИХ КОНТАКТЫ С СОСЕДАМИ

Эта работа — третья из цикла статей, посвященных языковой ситуации в Колымско-Алазейской тундре, регионе интенсивных этнических и языковых контактов, в конце XIX — начале XX века. В центре этого исследования — тундренные юкагиры и тундренный юкагирский язык, контактировавший с чукотским, эвенским, якутским и русским языком. Изложение основных результатов предваряется кратким экскурсом в историю юкагиров в XVII–XIX вв., который показывает, что рассматриваемый регион стал контактным ареалом не ранее XVIII в. В статье на основе данных литературы и собственных полевых исследований рассмотрены основные контактные явления в тундренном юкагирском языке, обусловленные влиянием остальных языков Колымско-Алазейской тундры. Выявлено, что количество лексических заимствований в современный юкагирский язык минимально из чукотского (менее 5), из эвенского составляет около 50, из якутского более 60 и, наконец, из русского — более 150 слов. На основе источников (этнографической литературы, свидетельств очевидцев) в статье описываются социальные условия, сопровождавшие контакты между представителями различных народов Колымско-Алазейской тундры; эти данные сравниваются с данными о лингвистических свидетельствах контактов. Контакты с чукчами в Колымско-Алазейской тундре носят недавний характер, что объясняет небольшое количество заимствований в юкагирский. Напротив, брачные и соседские связи между юкагирами и эвенами были очень тесны (так, существовали смешанные эвено-юкагирские роды и скорее всего было распространено двуязычие). Связи между якутами и юкагирами носили в основном торговый характер (якуты обладали ценными продуктами коневодства и скотоводства). Контакты юкагиров с русскими очень древние и во многих случаях сопряжены с контролем русскими соблюдения государственных повинностей, что говорит об иерархическом характере этих контактов. Таким образом, исследование показывает, что большое количество заимствований может быть объяснено как многолетней историей и культурным смешением (эвены и юкагиры), так и иерархическим характером связей между контактирующими общностями (якуты и юкагиры, русские и юкагиры).

Ключевые слова: *юкагирские языки, тундренный юкагирский язык, юкагиры, языковые контакты, многоязычие, лексика, заимствования, термины родства.*

1. Введение

Эта статья продолжает цикл статей, посвященных многоязычию и языковым контактам в Колымско-Алазейской тундре на рубеже XIX–XX веков. В границы рассматриваемой территории включаются не только непосредственно земли между устьевыми участками рек Алазея и Колыма, но и территории правых и левых притоков этих рек. Иначе говоря, мы рассматриваем территорию между горными водоразделами, разделяющими бассейны рек Алазея и Индигирка (на западе) и Колыма и Раучуа (на востоке). Тундра кончается на 68–69° с.ш. на юге, а с севера естественно ограничена берегом Восточно-Сибирского моря (см. Рис. 1).

В XIX–XX вв. в этом регионе проживали представители пяти культур и были распространены пять языков: юкагирский, эвенский, чукотский, якутский и русский. Исследование языковой ситуации в Нижнеколымском районе Якутии, расположенном в центре исследуемой территории, показало, что с середины XX века в этом регионе большая часть населения владела в той или иной степени всеми пятью языками региона (Pupynina, Aralova, 2021). Многоязычные языковые репертуары жителей Нижнеколымского района фиксировались и ранее (Вахтин, 2001; Гурвич, 1952). Развитию многоязычия способствовало, по-видимому, появление в контактном регионе еще большего, чем ранее, числа сообществ, в которых носители различных языков могли слышать и в ряде случаев вынуждены понимать языки



Рис. 1. Фрагмент «Карты распространения этнических групп, расселения племён и родов народов Сибири в XVII в.» (Долгих, 1960). Алаи, омоки, чуванцы, олюбензи, хоромои, яндыри, онойди, шоромба, колымцы, лавренцы, ходынцы и анаулы отнесены к юкагирским племенам.

носители различных языков могли слышать и в ряде случаев вынуждены понимать языки друг друга. К ним относятся общежития школ-интернатов, смешанные оленеводческие бригады и семейно-бытовое общение в смешанных семьях. Очевидно, что появлению этих новых сообществ косвенно способствовал переход на советскую систему хозяйствования и учреждение новой административной системы. Однако традиция говорить и понимать несколько языков существовала и раньше: до прихода советской экономики многоязычие уже было отмечено в этом регионе многими путешественниками, миссионерами, этнографами. В этом цикле мы пытаемся по косвенным данным описать контакты между языками и их носителями в период, предшествовавший широкому распространению многоязычия в Колымско-Алазейской тундре в XX веке. Период конца XIX — начала XX века был выбран потому, что он сравнительно неплохо задокументирован по сравнению с более ранней эпохой. Первые две статьи цикла были посвящены проблеме изучения истории языковой ситуации в этом регионе с опорой на исторические данные по распространению чукчей и чукотского языка и эвенов и эвенского языка (Пупынина, Коряков, 2019; Пупынина и др., 2020). В центре внимания этой статьи — юкагиры и тундренный юкагирский язык. Данная работа носит несколько видоизмененный заголовок по сравнению с предыдущими статьями цикла. Причина этого в том, что мы немного сместили акцент с исследования многоязычия на языковые контакты вообще, а также с картографирования мест контактов на описание тех условий, которые эти контакты сопровождали.

Материалом для статьи послужили существующие этнографические описания юкагиров (работы Б. О. Долгих, В. И. Иохельсона, З. В. Гоголева и др.), свидетельства очевидцев (подробнее см. ниже в Разделе 4), лингвистическая литература по заимствованиям в тундренном юкагирском (прежде всего, работы С. Н. Куриловой, Г. Н. Курилова, И. А. Николаевой), полевые данные авторов (историко-социолингвистические интервью и

словники на языках региона¹), собранные в ходе поездок в Нижнеколымский район и Якутск в 2013–2014 и 2016–2019 гг., а также архивные материалы — в первую очередь, словники А. И. Кондакова по оленеводческой лексике, записанные в 1932–1936 гг.² Довольно обширные обобщения по контактам в Колымско-Алазейской тундре с опорой на данные по чукчам и чукотскому языку и эвенкам и эвенскому языку уже сделаны нами в двух уже опубликованных статьях цикла, которые мы активно цитируем.

Юкагирская языковая семья представлена в настоящее время двумя языками — тундренным (северным, нижнеколымским) и лесным (южным, верхнеколымским) юкагирскими, которые до недавнего времени описывались как диалекты одного юкагирского языка. Однако исследования показывают, что отличия между лесным и тундренным юкагирскими языками настолько значительны (так, уровень совпадений в лексике достигает всего 74 %, см. (Коряков, 2020); имеется также ряд различающихся позиций в фонетике и морфологии, см. (Николаева, Хелимский, 1997), что считать их вариантами одного языка становится затруднительно. В силу указанных отличий, тундренный и лесной юкагирские языки не взаимопонятны. По свидетельству В. И. Иохельсона, верхнеколымский юкагир Долганов и принимавшие его нижнеколымские юкагиры вынуждены были говорить на «тунгусском» и якутском языках, «которыми обе стороны хорошо владели» (Иохельсон, 1926/2005: 90). Однако через какое-то время Долганов и тундренные юкагиры развили рецептивное многоязычие, т. е. «Долганов говорил на своем диалекте, а тундренные люди — на своем, но они научились понимать друг друга» (Там же). Очевидно, впрочем, что несколько столетий тому назад могли существовать юкагирские диалекты, близкие к нынешним тундренному или лесному языкам (ср. упоминающийся ниже в Разделе 2 диалект омонгонских юкагиров, который был взаимопонятен с верхнеколымским, а также омокский и чуванский языки (или диалекты), известные по очень фрагментарным данным XVIII–XIX вв. и объединяемые с юкагирским (Николаева, Хелимский, 1997). В период XIX — начала XX столетий, интересующий нас в данной работе, в Колымско-Алазейской тундре был распространен только тундренный юкагирский язык.

Изложение материала в этой статье будет отличаться от предыдущих статей цикла. В Разделе 2 мы покажем, что Колымско-Алазейская тундра не являлась прежде контактными регионом, а находилась в центре общеюкагирского ареала. В Разделе 3 будут описаны лингвистические свидетельства контактов между языками, распространенными в регионе на рубеже XIX–XX веков. Наконец, в Разделе 4 мы рассмотрим, насколько эти свидетельства связываются с задокументированными в указанный период контактами тундренных юкагиров с соседями по региону, и о тех случаях, когда в ходе этих контактов юкагиры овладевали языками соседних народов.

2. География и история расселения юкагиров в XVII–XIX вв.

Ниже мы кратко опишем, какое место занимают тундренные юкагиры среди общеюкагирской общности. Для этого попробуем по реконструкциям историков восстановить, что представляла собой эта общность до того периода, когда были впервые зафиксированы и описаны два юкагирских языка.

По археологическим, фольклорным и топонимическим данным, юкагирские роды составляли палеонаселение северо-востока Азии, от низовьев р. Лены до Охотского побережья или по крайней мере до среднего течения реки Анадырь (Гоголев и др., 1975: 8; Иохельсон, 1926/2005: 29). Численность юкагиров, по оценке историков, на начало XVII века была весь-

¹ Словники включали лексику по следующим семантическим полям: одежда, жилище, оленеводство, рыболовство, охота, быт, названия людей, животных, растений и некоторых природных объектов.

² Рукописный фонд архива ЯНЦ СО РАН: Фонд 5, опись 1, дело / единица хранения 145: Кондаков А. И. Материалы, собранные Кондаковым А. И. в Нижнеколымском районе. Словари: юкагирский, тунгусский, чукотский (по оленеводству). 1932–1936 гг.

ма небольшой для такой огромной территории: около 4500–5000 человек (Гоголев и др., 1975: 13). Известно, что в XVII в. юкагиры платили ясак в зимовьях на реках Яна, Индигирка, Алазея, Колыма и Анадырь (Долгих, 1960: 379), см. карту расселения юкагирских родов на Рис. 1. По реконструкции Б. О. Долгих, в это время юкагиры занимают всё побережье Ледовитого океана от Пегтымеля до Лены, а Колымско-Алазейская тундра оказывается посередине северной границы их ареала. В отличие от современной ситуации, в исследуемом ареале юкагиры, по-видимому, составляли большинство населения. С западной стороны, по Алазее, кочевал род алаи, а восточную часть тундры и большой ареал вокруг неё занимали омоки. С ними контактировала только небольшая группа неясачных чукчей, о которой имеются весьма отрывочные и противоречивые сведения (Долгих, 1960: 408–409). Более надежные источники сообщают о переходе чукчами Колымы на запад со своей исконной территории только в середине XIX в. (см. подробно об этом переселении в (Пупынина, Коряков 2019)). Таким образом, север почти всей современной Якутии к востоку от Лены и даже вся современная западная Чукотка были заселены в основном юкагирами различных родов. Эти роды, разумеется, контактировали и друг с другом. Так, на алазейском «камне», невысоком горном водоразделе между Алазеей и Индигиркой, располагался в XVII в. «пункт» торговли между алазейской и более западной олюбенской группой юкагиров (Долгих, 1960: 409). Контакты с русскими служилыми людьми как с представителями царской власти происходили почти по всей юкагирской территории. «Внешние» же контакты с другими инородцами осуществлялись, очевидно, по краю юкагирской территории: нижняя Лена, среднее течение Яны и Индигирки, где соприкасались территории юкагиров, тунгусов³ и отчасти якутов, а также юго-восток юкагирского ареала, где юкагирские группы контактировали с чукотско-камчатскими народами (чукчами, кереками, коряками).

В конце XVII века от эпидемий оспы вымерло несколько юкагирских родов (Долгих, 1960: 408). Хозяйство юкагиров также было ослаблено ясачной, подводной и воинской повинностью (Плужников, Шадрин, 2010: 641). В XVII–XVIII веках якуты всё дальше теснили эвенов вглубь юкагирской территории, в результате чего плотность юкагиров и их общий ареал ещё сильнее сократились. Если в XVII веке в ясачном зимовье на Алазее фиксируются одни юкагиры, а во многих зимовьях Яны, Индигирки и Колымы они составляют большинство (Долгих, 1960: 379), то уже в 1730-х годах ни в одном из ясачных зимовий юкагиры не составляли большинства подъясачного населения (Гоголев и др., 1975: 16). На всей обширной территории от Лены до Колымы юкагиры в разное время активно смешивались с эвенами и эвенками (Там же: 19), при этом юкагиры низовий рек, впадающих в Ледовитый океан, могли иметь контакты с различными тунгусскими диалектными общностями: с кункугурами и другими эвенскими родами, двигавшимися с запада (современное западное наречие эвенских диалектов), и уяганами и дельянами, двигавшимися с юго-востока, т. е. с Охотского побережья (современное восточное наречие эвенских диалектов), см. (Пупынина и др., 2020).

Во второй половине XVIII века — XIX веке юкагирское население снова уменьшилось. Юкагиры с р. Анадырь подверглись ассимиляционным процессам со стороны чукотско-корякского населения. На протяжении XIX века от частых голодовок и эпидемий оспы массово гибнут верхнеколымские, нижнеколымские и алазейские юкагиры (Гоголев и др., 1975: 17–18). К концу XIX века осталось только две компактных группы юкагиров, сохранивших

³ Термины *тунгусы* и *тунгусский* (без кавычек) соотносятся в данной статье с эвенкийско-эвенской языковой и культурной общностями. Цитируя других авторов, не всегда последовательно и единообразно использующих термины «ламуты» и «тунгусы», мы заключаем их в кавычки. Так, согласно (Гурвич, 1952: 203), в Колымском округе до революции ламутами называлась группа эвенов хододью, обитавших в бассейне р. Алазея, относящихся ко второму Каменно-ламутскому роду, тогда как тунгусами именовалась группа эвенов-хангаев, принадлежавших Бетильскому роду, обитавших в бассейне р. Чукочьа и в Халарчинской тундре. Разные подходы к трактовке двух этих терминов обсуждаются в (Пупынина и др., 2020).

свой язык и культуру: юкагиры верховьев Колымы, проживавшие в лесной зоне на реках Ясачная и Коркодон, и юкагиры Колымско-Алазейской тундры (см. Рис. 2). Описание быта, фольклора и языка обеих групп было впервые сделано в конце XIX века В. И. Иохельсоном на основе долгосрочной экспедиционной поездки по юкагирским селениям и кочевьям верхней и нижней Колымы (общая продолжительность экспедиции 2 года и 7 месяцев, 1895–1897). Основным отличием в области традиционной хозяйственной сферы было полное отсутствие у лесных юкагиrow оленеводства, в то время как юкагиры тундры имели небольшие (до нескольких сотен голов, но чаще несколько десятков) стада оленей (Иохельсон, 1926/2005: 92–103). Во время своей экспедиции Иохельсон застал также представителей почти исчезнувшей оломонской группы юкагиrow. Те оломонские юкагиры, которые еще помнили родной язык, могли свободно общаться с верхнеколымскими юкагирами (Иохельсон, 1898: 27–28). Эта группа до ассимиляции кочевала, по-видимому, на периферии Колымско-Алазейской тундры и, вероятно, имела контакты с нижнеколымскими юкагирами.

И тундренные, и лесные юкагиры называли себя «одул». Обе группы знали про существование друг друга и одулами «не-свою» группу не считали: тундренные называли лесных «кохимэ», а лесные тундренных — «алаи». При том, что лесные и тундренные юкагиры не

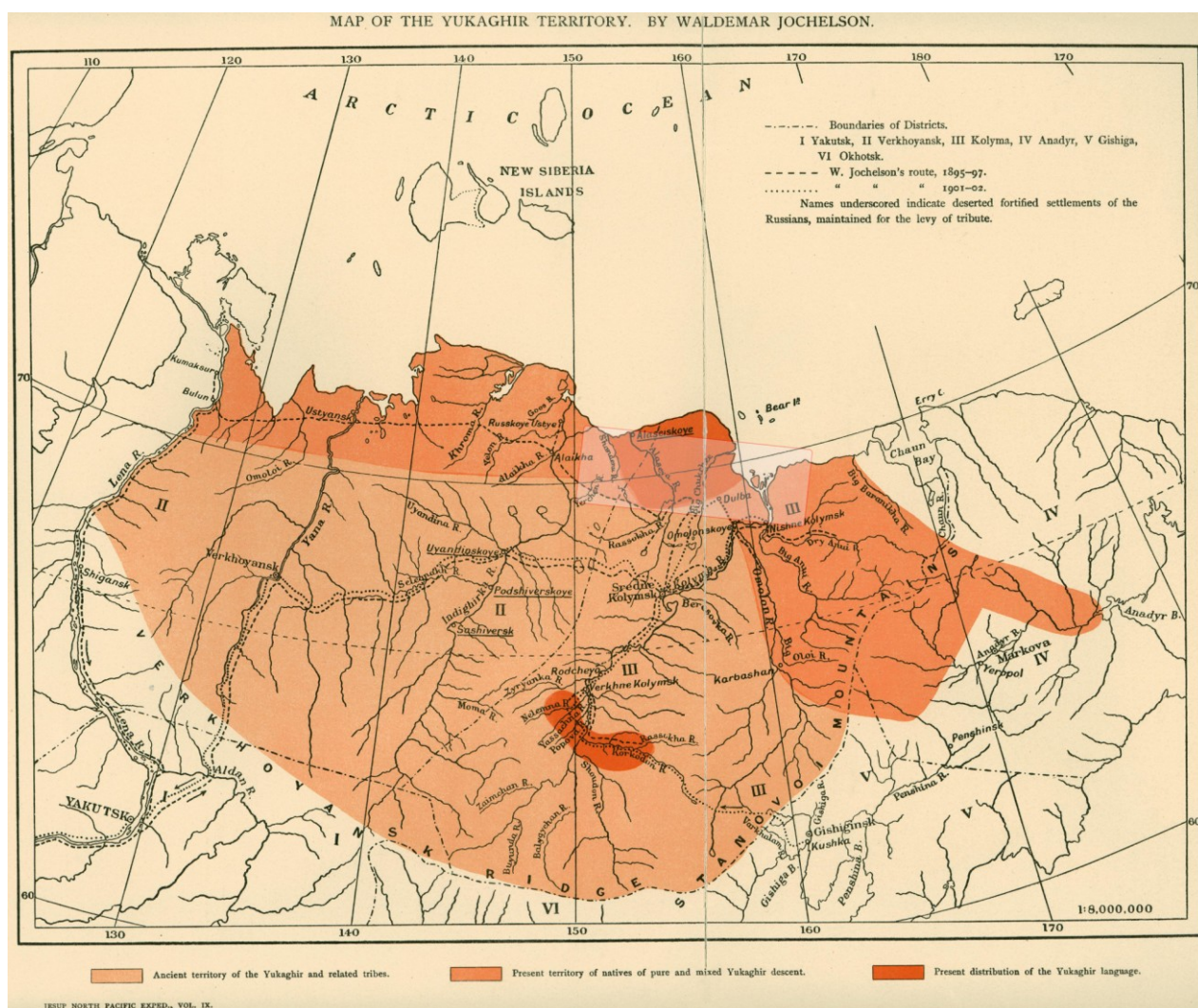


Рис. 2. Карта расселения юкагиrow, составленная В.И. Иохельсоном. От светлого к тёмному обозначены: древняя территория юкагиrow и родственных им племён; современная территория расселения юкагиrow (в т.ч. смешанных) и территория распространения юкагирских языков на рубеже XIX и XX века (Jochelson, 1926: 134)

считали друг друга родственниками, представители обеих групп утверждали, что при ссоре с «тунгусами» или якутами будут поддерживать называющих себя *о́дул* (Иохельсон, 1926/2005: 172–173).

В конце XIX века по территории Колымско-Алазейской тундры кочевали две группы тундренных юкагиров, которые Иохельсон (весьма условно, т. к. названия основываются на ясачных переписях) называет Первым и Вторым Алазейскими «родами». Первый род, имевший также названия *алайи*, кочевал вдоль р. Большая Чуко́чья и Коньковая (между Алазеей и Колымой). Второй род, называвшийся также гусиным, располагался к западу от Алазеи. Эти группы в конце XIX в. были крошечными по своим размерам: 33 человека в первом и 58 человек во втором Алазейском родах (Там же: 92–93). Тундренный юкагирский язык функционировал не только в среде этнических юкагиров: на нем также говорили «юкагиризованные тунгусы» (термин Иохельсона), т. е. эвены, из Бетильского и (меньше) Каменно-ламутского рода, которые кочевали по маршрутам, часто пересекающимся с Алазейскими юкагирскими родами.

В заключение раздела подчеркнём необычайно обширные размеры территории, которую занимали юкагиры в XVII в., и динамику ее сокращения. Географическое расположение мест контактов юкагирских родов необычайно менялось на протяжении XVII–XIX вв., что, скорее всего, повлияло на диалектологию юкагирских языков и характер контактных влияний. В XVII в. юкагирские роды Колымско-Алазейской тундры контактировали между собой, с русскими и, возможно, с чукчами. За пределами этой территории юкагиры вступали во взаимодействие с тунгусами, якутами и чукотско-камчатскими народами, но основные ареалы этих контактов располагались далеко от исследуемого региона. Зоной юкаги́ро-э́венско-яку́тско-ру́сских контактов Колымско-Алазейская тундра стала, вероятно, не ранее XVIII в., однако элементы, унаследованные от более ранних контактов с тунгусскими, чукотско-камчатскими и русским языками теоретически могли быть привнесены в юкагирские языки и ранее. Далее мы перечислим заимствования, попавшие в тундренный юкагирский язык из других языков Колымско-Алазейской тундры. При этом будем иметь в виду, что о давности тех или иных заимствований мы можем судить только по косвенным данным.

3. Лингвистические свидетельства контактов юкагирского с языками региона

Тундренный юкагирский так или иначе подвергся влиянию со стороны всех языков региона, однако степень этого влияния в каждом случае неодинакова. Основное внимание в этом разделе будет уделено заимствованию языкового материала (лексики и грамматических показателей) и отдельным структурным параллелям, тогда как контактное влияние на морфосинтаксическое оформление клаузы остается задачей для дальнейшего изучения (ср., например, исследование (Matić, 2008) о русском влиянии на морфосинтаксис лесного юкагирского языка). Дальнейшее изложение будет организовано по нарастанию степени влияния: от чукотского языка, для которого обнаруживаются лишь точечные структурные пересечения и несколько заимствований, к русскому, который в количественном отношении сильно превосходит другие языки региона как источник заимствований в юкагирский.

Контактное взаимодействие юкагирского и **чукотского** носит в высшей степени минималистичный характер. В (Nikolaeva, 2006) приводятся всего несколько корней, имеющих потенциальные чукотские соответствия: 1) *џааџаа* ‘название группы оленных чукчей’ (ср. т. юк. *чаа́ча* в (Курилов, 2001: 530) и чук. *савси* ‘богатый оленями, оленевод’ в (Аникин, 2000: 672); 2) *ilwii-* ‘пастушить’ (ср. т. юк. *илви́и-* и *илви́ичэ* ‘пастух’ в (Курилов, 2001: 92) и чук. *əlwəlu*, *əlwe-* ‘олень (дикий)’ в (Мудрак, 2000: 32); 3) *wal'e* ‘цена’, *wal'ite-* ‘платить’ (ср. т. юк. *ва́льэ* ‘цена, плата, стоимость’, *ва́льитэ-* ‘заплатить’ в (Курилов, 2001: 64–65) и чук. *vil* ‘плата, цена’ в (Мудрак, 2000: 151); 4) междометие *те́ј*, имеющее одинаковую форму в юкагирском и чукотском, которое служило обращением и фиксируется, согласно данным И. Ни-

колаевой, в работах Е. Крейновича, однако в словаре (Курилов, 2001) оно не отмечено. Отдельно хотелось бы указать на лексему *qarqor* ‘топор’, зафиксированную в омокском списке мичмана Ф. Матюшкина⁴, которую связывают с чук. *yatya* с тем же значением (Мудрак, 2000: 38). В словаре (Курилов, 2001: 148) при этом отмечается слово *kaatka* ‘катка (маленький топорик)’, которое, несмотря на фонетическую близость с чукотской лексемой, признается заимствованием из колымских говоров русского языка, где *гатка* служило обозначением ‘тесла особой формы’ (Аникин, 2000: 164). Интересно, что это слово, в свою очередь, было заимствовано из чукотского *gamtə* ‘тесло, используемое чукчами’ (основа *gatga*, см. там же), то есть первоисточником в этой цепочке заимствований является именно чукотский язык.

В целом степень влияния чукотского на юкагирский и другие языки региона довольно мала: даже если в чукотском есть обозначения реалий, для которых в юкагирском (или эвенском) нет своего слова, то заимствованы будут скорее русские или якутские слова. Так, например, по данным собранных нами словников, слово «нерпа» (чук. *miməl*), распространенное в регионе животное, было заимствовано в юкагирский (а также эвенский и якутский) из русского, а не из чукотского языка. Причем в юкагирском и якутском языках это слово несет следы фонетической адаптации (т. юк. *ньиэрпэ* < як. *ньиэрпэ*), а в нижнеколымском эвенском используется неадаптированное русское *нерпа* (ср. другие обозначения в остальных эвенских диалектах в (Цинциус, Ришес, 1952: 319).

В дополнение к единичным лексическим заимствованиям можно отметить существование параллельных формул приветствия, имеющих своеобразную вопросно-ответную форму: ср. т. юк. *Мэ кəлдьэк?* ‘Пришел?’ — *Мэ кəлдьэн* ‘Пришел’ и чук. *Emmi?* ‘Пришел?’ — *Ии*. ‘Пришел’ (Гоголев и др., 1975: 226). В юкагирском такое приветствие использовалось ранее, а теперь почти забыто. В чукотском же оно до сих пор распространено. Сходная модель приветствия использовалась ранее и в эвенском языке. Другую параллель можно наблюдать в образовании обозначения крепкого алкоголя (преимущ. водки): по нашим словникам, дословно и юкагирском, и в чукотском это сложное слово со значением ‘плохая вода’ (ср. т. юк. *ньяарчэлавйэ* = *ньяарчэ* ‘плохой’ + *лавйэ* ‘вода’ и чук. *ʔeqiməl* = *ʔeq* ‘плохой’ + *iməl* ‘вода’).

Тесные эвено-юкагирские связи⁵ оставили заметный отпечаток на лексическом составе тундренного юкагирского языка: в нем обнаруживается более 50 **эвенских** заимствований из разных семантических полей (см. (Nikolaeva, 2006; Курилова, 2014a). Наиболее многочисленными являются заимствования в сфере оленеводческой лексики. Например, можно отметить заимствованные из эвенского наименования оленей, которые в юкагирском были освоены с помощью дополнительного морфологического показателя *-əl* (Nikolaeva, 2006: 103, 161, 208): т. юк. *amarkanel* ‘олень-самец 5 лет’ < эв. *amarka:n* ‘олень-самец 4–5 лет’, т. юк. *eenil* ‘годовалая важенка’ < эв. *e:ni* ‘годовалая важенка с олененком’, т. юк. *ketemel* ‘нетель, неотелившаяся важенка’ < эв. *ketem* ‘бесплодная важенка’ и др. В ряде случаев однозначно установить направление заимствования не удастся: ярким примером является юкагирское слово

⁴ Речь идет о т. н. омокском словнике, собранном Ф. Матюшкиным на р. Малый Анюй во время экспедиции Ф. Врангеля в 1821 г. До настоящего момента неясно, можно ли омокский диалект отнести к тундренному юкагирскому. Из различных источников известно, что омоки проживали в нижнеколымской тундре как к западу, так и к востоку от Колымы (см. Рис. 1). Иохельсон относит омоков к Первому Омолонскому роду, язык которого он считает более похожим на лесной, чем на тундренный юкагирский. С другой стороны, омокские материалы содержат фонетические черты, свойственные именно тундренному юкагирскому (более подробное обсуждение этого источника см. в (Nikolaeva, 2006: 24).

⁵ В Колымско-Алазейской тундре на западе было распространено западное эвенское наречие, а на востоке — восточное (ольский говор), см. (Пупынина и др. 2020). В данной статье мы не рассматриваем отдельно контакты юкагирского с восточным и с западным наречием. По-видимому, к западу от Колымы, где в основном проживали юкагиры, западные говоры имели большее влияние, несмотря на постоянные единичные переселения восточных эвенов на запад и наоборот.

lalime ‘нарта’, которое некоторые исследователи возводят к эвенскому *polima* ‘нарта’ (ср. (Курилова, 2014а: 102–103), тогда как другие считают его бесспорным юкагиризмом (ср. *турки*: ‘нарта’ в ольском говоре эвенского, лежащем в основе эвенского литературного языка; см. также (Шарина, Кузьмина, 2018: 110).

В ходе работы со словарями А. И. Кондакова нам удалось выявить несколько лексем, заимствованных из «тунгусского» / «ламутского».⁶ В частности, наряду с исконно юкагирским обозначением дикого оленя (*тōлү*, *таланг*, *талаав* в орфографии А. И. Кондакова и *талав(н)* ‘дикий олень’ в (Курилов, 2001: 458) в словнике фигурирует лексема *bujun* (или *böjun*), которая использовалась «ламутами» и «тунгусами» (то же обозначение зафиксировано и в наших эвенских словарях). Кроме того, в юкагирской части списка у А. И. Кондакова зафиксировано слово *kani* (тж. *kaani*) ‘важенка, принесшая двойню’, которое использовалось в «тунгусском» (*kāni*; запись для «ламутского» не приводится). В (Курилов, 2001) эта лексема отсутствует, а в эвенском при этом находим: *kāni* ‘двойня (об оленятах); важенька, принесшая двойню’ (Роббек, Роббек, 2005: 137).

Некоторое количество эвенских заимствований фиксируется среди терминов родства, причем в базовой части поля, содержащей наименования близких родственников: т. юк. *эньиэ* ‘мать’ < эв. *энин* ‘мать’, т. юк. *амаа* ‘отец’ < эв. *ама(н)* ‘отец’, т. юк. *акаа* ‘старший брат’ < эв. *ака* ‘брат(ец)’, т. юк. *экия* ‘старшая сестра’ < эв. *экэ* ‘старшая сестра’ (см. подробное описание системы терминов родства в (Курилов, 1969). Такая картина представляется не вполне стандартной с типологической точки зрения, поскольку, согласно (Tadmor, 2009: 64–65), термины родства в языках мира очень стабильны и заимствуются редко. Отметим, что старшие сиблинги относились к классу родственников, коммуникация с которыми требовала соблюдения обычая избегания. В соответствии с этим обычаем (наряду со многими другими ограничениями) не разрешалось использовать по отношению к сопряженным с ним родственникам соответствующие термины родства (подробнее о нормах общения в рамках обычая избегания см. (Крейнович, 1972). Однако, по-видимому, эти ограничения действовали исключительно в рамках коммуникации на юкагирском языке, поэтому в общении с родственниками, которых следовало «избегать», мог использоваться другой язык, в частности, эвенский (Matić, 2019). Можно было бы предположить, что эвенские обозначения для старших сиблингов вытеснили юкагирские именно по этой причине, однако заимствование эвенских терминов для родителей по-прежнему не находит объяснения (обычай избегания на отношения между детьми и родителями не распространялся).

Заимствование лексического материала в поле родства не было односторонним: так, в нижнеколымском говоре эвенского обнаруживаются заимствования из юкагирского, касающиеся более «периферийных» родственников (таких как *эмд’э* ‘младший сиблинг’, *эвд’уо* ‘тетя (единоутробная, двоюродная сестра отца)’ и нек. др., подробнее см. (Пупынина и др., 2020). Младшие братья и сестры у юкагиров также попадали в сферу действия обычая избегания: возможно, аналогичная ситуация имела место в эвенском, и заимствование юкагирского термина *эмд’э* в этом смысле является зеркальным отражением ситуации со старшими сиблингами в юкагирском, однако этот вопрос требует дальнейшего исследования.

В заключение обсуждения эвенского влияния рассмотрим грамматический сюжет, касающийся тундренного юкагирского суффикса *-чиш*. Этот суффикс образует аттенуативные формы глаголов: ср. *эгуо-* ‘встать с места’ — *эгуочии-* ‘встать ненадолго’ (Курилов, 2001: 583–584), *йуө-* ‘увидеть’ — *йуөчии-* ‘взглянуть’ (Курилов, 2001: 132, 134) и др. В эвенском языке имеется фонетически близкий суффикс *-с’і*, который в большинстве диалектов служит показателем конатива, т. е. выражает значение попытки (стремление совершить действие по (Новикова, 1980). Однако в некоторых эвенских говорах фиксируется его употребление в

⁶ А. И. Кондаков не приводит пояснений относительно того, какие этноязыковые группы стоят за этими терминами.

функции аттенуатива, ср. пример из архива (Pakendorf et al., 2010): *em -u -sč̣i -we:t -te* (приходить-CAUS-CONAT-GNR-NONFUTURE(.3PL) ‘принесли немного’.⁷ В описании нижнеколымского эвенского (Шарина, Кузьмина, 2018: 81) также встречается обозначение данной формы как глагольного диминутива: ср. *tūdэй* ‘идти (о дожде)’ — *tūdэлэhчидэй* ‘идти, накрапывать (о небольшом дожде)’, хотя в этом говоре возможны и общеэвенские конативные употребления. Поскольку это общеэвенский суффикс, логично было бы предположить, что тундренный юкагирский его заимствовал. Однако эта гипотеза осложняется тем, что в лесном юкагирском также зафиксирован суффикс *-s'i*, который одновременно функционирует как глагольный аттенуатив и показатель гипокористической формы (в тундренном юкагирском для последней выделяется показатель *-kōdi*), выражающей сопереживание субъекту действия (см. (Maslova, 2003a: 210). Это может служить аргументом в пользу обратного направления заимствования и возможного переосмысления значения данного суффикса как аттенуативного в нижнеколымском эвенском, а затем и в других территориально близких к нему эвенских говорах.

Лексические заимствования из **якутского** языка составляют довольно многочисленную группу: в (Nikolaeva, 2006) отмечено более 40 единиц, тогда как последующие исследования С. Н. Куриловой показывают, что их число превышает 60 (Курилова 2014b). Заимствованные элементы разнородны как в семантическом, так и в морфологическом плане, и, согласно суждениям носителей, они в большей степени осознаются как заимствования в сравнении с эвенизмами (С. Н. Курилова, личное сообщение). Среди основных семантических групп можно выделить: термины общественно-политической жизни (*улуус* < як. *улуус* ‘улус’, *муннях* < як. *мунях*, *муннях* ‘собрание, сбор, совет, сход; заседание’), названия месяцев (*тохсунньу* < як. *тохсуньу*, *тохсунньу* ‘январь’, *олунньу* < як. *олуньу*, *олунньу* ‘февраль’), термины коневодства (*сулар* ‘уздечка’ < як. *сулар* ‘недоуздок, повод’; *торгии* < як. *төргүү* ‘торока, ремешки позади седла для пристежки’), наименования частей жилища (*oh(y)ox* < як. *ohox* ‘камин, камелек; печь’, *туннук* < як. *түннүк* ‘окно’; *хос(хо)* < як. *хос* ‘комната’), продуктов (*ханьах* (тж. *хайах*, *хайак*) < як. *хайах* ‘кайак (замороженный молочный продукт, близкий по вкусу к маслу)’, *суорат* < як. *суорат* ‘сорат (заквашенное кипяченое молоко)’)) и др.

Из якутского заимствовались не только существительные, но и лексемы других частей речи: прилагательные (*дохсун* ‘дерзкий’ < як. *дохсун* ‘дерзкий; стремительный’), наречия (*алис* (тж. *алыс*) ‘очень’ < як. *алыс*, *олус* ‘чрезмерно, очень’, *наар* < як. *наар* ‘постоянно; слишком’), глаголы (*бата-* ‘сдерживать’ < як. *баттаа-* ‘давить; угнетать’). Большую группу составляют различные дискурсивные частицы (*бысата* ‘в общем’ < як. *быһата* ‘короче (говоря), (одним) словом’, *синь* ‘все равно, все-таки’ < як. *син* ‘все равно, все одно; безразлично’). Происхождение некоторых единиц получает вариативные толкования у разных исследователей: так, наречие *арай* (тж. *арэй*) ‘(и) вдруг, (и) вот, оказывается, однажды’ С. Н. Курилова и М. Шмальц возводят к якутскому *арай* ‘только, едва’, тогда как в (Nikolaeva, 2006: 112) оно попадает в круг эвенизмов. Можно предположить, что истина в данном случае лежит посередине и этот корень (зафиксированный во многих современных тюркских языках и относимый к монголоизмам в (Рассадин, 2019: 250) пришел в юкагирский из якутского через эвенский (ср. также упоминание наречия *арай*, заимствованного из якутского, в (Саввинова, 2010) для литературного и в (Шарина, Кузьмина, 2018: 110) для нижнеколымского эвенского). Кроме того, некоторые частицы, отмеченные И. А. Николаевой как «колымские» (употребительные в колымском, или лесном, юкагирском), зафиксированы в полевых материалах Г. Н. Курилова на тундренном юкагирском (ср. *букатын* (тж. *букатин*) ‘совсем’ < як. *букатын*, *бугатын* ‘совсем, совершенно’, см. (Курилов, 2001: 160, 195, 287; Курилова, 2014b). В (Schmalz, 2013: 233) отмечается, что юкагиры (в том числе хорошо вла-

⁷ Метаданные текста доступны по следующей ссылке: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000F-2ED6-2>

деющие языком) употребляют в речи якутские частицы даже при наличии исконного юкагирского аналога (ср. сходную ситуацию с употреблением заимствованных модальных и дискурсивных наречий и частиц в эвенском (Malchukov, 2006).

В тундренном юкагирском обнаруживается также заимствованный из якутского языка морфологический показатель — вербализатор, имеющий алломорфы *-лаа* / *-даа* / *-наа* / *-таа* (Курилова, 2015а). Этот суффикс используется в якутском для адаптации русских глаголов (ср. т. юк. *путэйдэ* < як. *буутайдаа* ‘путать’ < рус. *путай* (IMP.SG) + як. *-даа*), однако зафиксированы примеры присоединения этого показателя напрямую к русским именам существительным (ср. т. юк. *обойдаа* ‘оклеить обоями’ < рус. *обои* + як. *-даа*, т. юк. *утюгтаа* ‘гладить’ < рус. *утюг* + як. *-таа*).

Лексические заимствования из **русского** языка в количественном отношении значительно превосходят вхождения из других языков региона: в (Nikolaeva, 2006) отмечено более 150 единиц. Большинство из них представляет собой обозначения новых для юкагиров предметов и реалий (ср. т. юк. *йэрэнэ* ‘самолет’ < рус. *аэроплан*; т. юк. *киинэ* < рус. *кино*; т. юк. *пуульэ* < рус. *пуля*), важное место среди которых занимают названия продуктов и посуды (ср. т. юк. *суоль* < рус. *соль*; *тэриэлкэ* (тж. *тариэлкэ*, *тариэлка*) < як. *тэриэлкэ* (тж. *тэриэkkэ*, *тэлиэркэ*, *тэлиэkkэ*) < рус. *тарелка*). Обзор последней группы заимствований представлен в (Курилова, 2015b), где утверждается, что значительная их часть проникла в тундренный юкагирский посредством якутского еще в дореволюционное время, после установления торговых отношений с русскими. Якутский часто занимал роль языка-посредника при заимствовании из русского, что сказалось на фонетическом оформлении многих слов (ср. т. юк. *киль-иэп* < як. *кил(и)эп* < рус. *хлеб*, т. юк. *дьаам* < як. *дьаам* < рус. *ям*; подробнее о фонетической адаптации русский заимствований см. (Курилов, 2003). По данным (Nikolaeva, 2006), заимствованные названия предметов одежды в основном восходят к русским диалектным словам (ср. т. юк. *путуул* ‘ меховые носки мехом наружу, надеваемые поверх унтов’ < рус. диал. *бутул* ‘чулок из мохнатой шкуры, надеваемый поверх обуви во время ночлега под открытым небом’ (Аникин, 2000: 148), т. юк. *кавсик* (тж. *каусик*) ‘меховой шарф (кашне) из осенней шкуры молодого оленя или пыжика’ < рус. диал. *гавсик* (Nikolaeva, 2006: 167).

В сравнении с якутским обращает на себя внимание несколько иная дистрибуция заимствованных из русского служебных слов: частица обнаруживается всего одна (т. юк. *суотэки* < рус. *всё-таки*), зато имеет место заимствование союзов (т. юк. *бууттэ* < рус. *будто*, т. юк. *ильибэ* < рус. *либо*, т. юк. *отнаакэ* < рус. *однако*) и междометий (часто включающих религиозные термины, например, т. юк. *буостэвэй* < рус. *бог с тобой*, т. юк. *сатанаа* < рус. *черт* (межд.) и др.). Религиозная лексика активно заимствовалась в дореволюционное время, наравне с именами собственными и некоторыми другими терминами из различных семантических полей (подробнее см. (Курилов, 2003), где выделяется два основных периода заимствований, причем окончание первого датируется 30-ми годами XX в.). Второй период был связан с эпохой Советского Союза и радикальными изменениями, которые она привнесла в жизнь юкагиров. Заимствования этого периода соотносятся главным образом с новыми формами хозяйственной деятельности (ср. т. юк. *холхуос* (тж. *колхоз*) < як. *колхоз* < рус. *колхоз*, т. юк. *кулаак* < як. *кулаак* < рус. *кулак*), общественно-политической и образовательной сферами (ср. т. юк. *искуолэ* < як. *оскуола* < рус. *школа*, *сиэльсэвиэт* (тж. *сельсовет*) < як. *сельсовет* < рус. *сельсовет*).

Интересно отметить также функционирование в тундренном юкагирском дериватов от рус. *надо*, оформленных юкагирскими морфологическими показателями: *наадуол-* (надо-PASS) ‘быть нужным, необходимым’, *наадиш-* (надо-CAUS) ‘иметь потребность в чем-л.’, *наадишийаа-* (надо-CAUS-INCH) ‘нуждаться в чем-л.’ и др. (Курилов, 2001: 278). В лесном юкагирском эта лексема также была заимствована, однако, по данным (Maslova, 2003a: 26), она не подверглась фонетической адаптации и используется в конструкции с номинализацией, которая активно вытесняет исконно юкагирскую конструкцию с модальным суффиксом

-*možĩ* (1)–(2) (примеры даны в орфографии источника). В тундренном юкагирском конструкция с модальным показателем *-mori* остается сохранной (см. (Курилов, 2006: 162).

(1) *tamun min-gi nado.*
то брать-POSS надо
'Нужно это взять'. (Maslova, 2003a: 26)

(2) *tamun min-možĩ.*
то брать-PRSP(TR:1SG)
'Мне нужно это взять'. (Там же)

Взаимодействие с языками региона косвенно сказалось и на фонетической структуре тундренного юкагирского, открыв возможность для новой фонетической позиции звука [b] и его потенциального закрепления в качестве самостоятельной фонемы. В существующих грамматических описаниях тундренного юкагирского (Maslova, 2003b; Schmalz, 2013) он уже выделяется как отдельная фонема, тогда как в (Курилов, 2006: 40) поясняется, что звук *б* не встречается в позиции начала или конца слова, а возникает лишь в интервокальной позиции вследствие озвончения [п], что ставит под сомнение его фонемный статус. Попутно заметим, что в подробной грамматике лесного юкагирского (Maslova, 2003a) [b] характеризуется лишь как позиционный вариант фонемы /w/.

Рассмотрение единиц с начальным *б* в словаре (Курилов, 2001: 55–56) показало, что все полнозначные лексемы являются заимствованиями, причем половину из них составляют эвенизмы (напр., т. юк. *бобильэ*- 'сморщиться (о сгоревшей шкуре)' < эв. *bobin*- 'сморщиваться, съеживаться', см. ТМС т. 1 стр. 86; т. юк. *бэбэну*- 'баюкать' < эв. *бэбэ*- 'нянчить, баюкать', см. (Цинциус, 1949: 166). Впрочем, зафиксированы также несколько заимствований из русского (напрямую или через посредство якутского, например, *бууттэ* 'будто' или т. юк. *былаас* < як. *былаас* < рус. *власть*) и один якутский корень (т. юк. *бадиваа*- 'мешать' < як. *baad*'у- 'лезть с пустяками', см. ТМС т. 1 стр. 64), для которого нельзя исключать возможность заимствования через эвенский.

К сожалению, мы не имеем возможности проследить результаты контактов тундренного юкагирского языка и другого юкагирского идиома, распространенного в Колымско-Алазейской тундре — омонгонского юкагирского (близкого к лесному юкагирскому), т. к. последний не был описан. Однако возможность такого рода контактов следует иметь в виду при определении давности заимствований, их направления, а также при уточнении эвенского говора-источника заимствований (для эвенских заимствований).

Представленный выше обзор контактных черт является очень кратким и предварительным. Менее 5 заимствований зафиксировано из чукотского языка; из эвенского фиксируется около 50, из якутского — более 60 заимствованных слов, а из русского — около 150, многие из которых заимствовались после 1930-х годов. Однако этих данных пока недостаточно, чтобы прояснить языковую ситуацию в Колымско-Алазейской тундре в исследуемый период. Как уже говорилось в конце Раздела 2, юкагирские идиомы имели контакты с тунгусскими, чукотско-камчатскими языками, а также с русским и в наименьшей степени с якутским языком как минимум начиная с XVII в. Отсутствие информации о вымерших юкагирских идиомах сильно усложняет анализ контактных явлений, поскольку не всегда легко определить, какие расходящиеся черты в лексике и грамматике двух юкагирских языков являются исконными, а какие — принесенными извне. Необходимо специальное исследование, в рамках которого будет проведено сравнение всех контактных черт тундренного и лесного юкагирского языков, что позволит уточнить картину досоветских контактов в Колымско-Алазейской тундре.

4. Контакты тундренных юкагиров с соседями и их связь с контактными явлениями в языке

В данном разделе мы рассмотрим, как соотносятся обнаруженные контактные явления и социальные условия контактов между локальными этническими группами Колымско-Алазейской тундры. Для реконструкции этих условий мы используем, главным образом, записи людей, напрямую взаимодействовавших с жителями Колымско-Алазейской тундры в конце XIX — начале XX в. Ввиду сложности и слабой достоверности реконструкций такого рода, уточним характер этих источников. В первую очередь, это обширные публикации этнографа В. И. Иохельсона по результатам его экспедиции (поездка к тундренным юкагирам была совершена в 1897 г.), а также путевые и этнографические заметки журналиста В. М. Зензинова (визит к юкагирам в 1912 г.) и детальный отчет К. Ф. Рожановского об экономическом положении жителей Алазеи в 1905 г. Мы также учитываем реконструкцию расселения племен Сибири Б. О. Долгих и данные переписи 1897 г. Мы осознаём невозможность детальной реконструкции языковой ситуации Колымско-Алазейской тундры по историко-этнографической литературе. Так, например, информации о пассивном владении жителями тундры тем или иным языком на основе источников такого рода мы, скорее всего, не получим. Тем не менее, мы считаем, что наблюдательность незаурядных энциклопедистов XIX–XX века и широта охвата исторических источников, на которых основана фундаментальная работа Б. О. Долгих, поможет нам пролить свет на основные тенденции лингвистических практик контактного региона.

По аналогии с предыдущим разделом, сначала будут рассмотрены контакты юкагиров и «юкагиризованных тунгусов» с чукчами, затем с эвенками и якутами, после чего мы кратко остановимся на русском влиянии.

Известно, что в XIX в. юкагиры находились в весьма бедственном экономическом положении. По сообщению К. Рожановского, юкагиры и «юкагиризованные тунгусы» Алазеи либо совсем лишились стад, либо имели по 5–10 оленей (Рожановский, 1907: 175). Напротив, **чукчи**, как уже было показано в (Пупынина, Коряков, 2019), на рубеже XIX и XX века занимали в регионе исключительное положение. Огромные стада северных оленей обеспечивали чукчей мясом в течение всего года; чукчи считались престижными женихами, юкагиры и прочие народы тундры поступали к ним работать пастухами, а вокруг их стойбищ всё время находились т. н. «приживальщики» (бедные люди, располагающиеся временным лагерем невдалеке от чукотского стойбища в надежде получить от богатых соседей небольшое вознаграждение за мелкие услуги (Иохельсон, 1900: 189). Иохельсон также указывает на большое количество браков между чукчами и другими народами Колымско-Алазейской тундры, в т. ч. приводит историю о том, что несколько дней после свадьбы один его знакомый чукча носил ламутский костюм, и в принципе чукчи-женихи соблюдали свадебные обычаи местного населения. Иохельсон констатирует начавшуюся языковую ассимиляцию чукчей местными племенами, в т. ч. юкагирами и «юкагиризованными тунгусами» (Иохельсон, 1900: 192). На востоке ареала, где чукотский не терял своих позиций, юкагиры мужского пола, по-видимому, были больше знакомы с чукотским языком как пастухи-работники чукчей, иногда таким образом зарабатывающие себе невесту, хотя такое происходило нечасто (Иохельсон, 1926/2005: 170). Однако, как было показано в Разделе 3, юкагирский язык очень мало заимствовал из чукотского. Добавим, что в паре чукотский/юкагирский контактные отношения зеркальны: оба языка не повлияли друг на друга в значительной степени. По нашим экспедиционным данным, в Андрюшкино, единственном поселке Нижнеколымского района, расположенном в низовьях Алазеи, почти никто не говорит на чукотском языке, в то время как в селе Колымское на берегу Колымы чукотскую речь до сих пор можно услышать на улицах (разумеется, из уст пожилого поколения). Можно предполагать, что, быстро пройдя во вто-

рой половине XIX века через стадию многоязычия, чукчи нижней Индигирки и Алазеи перешли на юкагирский и эвенский языки, а их культура растворилась в местном суперстрате.

Эвенский и якутский языки, как было показано, повлияли на юкагирский более значительно, чем чукотский. В количественном отношении эти языки оказали сравнимое воздействие на юкагирский язык: примерно одинаковое количество заимствований (чуть больше из якутского), немного грамматических черт. Однако характер эвенских лексических заимствований, в особенности обоюдное заимствование терминов родства между эвенским и тундренным юкагирским, говорит о более тесных и давних контактах **эвенов** и юкагиrow, связанных с формированием культурной и генетической общности.

В пользу формирования такой общности говорит целый набор лингвистических и этнографических свидетельств. Смешанные тунгусско-юкагирские семьи, члены которых называли себя тунгусским родовым названием, но считались в официальных источниках юкагирами и говорили по-юкагирски, фиксировались между Индигиркой и Яной еще в XVII в. (Долгих, 1960: 390): в то время именно эта территория была районом интенсивных контактов. Иногда к смешанным группам, кочевавшим по среднему течению Индигирки, применялось название «ламуцкие юкагиры» (Долгих, 1960: 403), ср. «юкагиризованных тунгусов» Иохельсона.

Традиционные культуры эвенов и юкагиrow во второй половине XIX в. (транспортное оленеводство, охота и рыболовство) можно считать наиболее близкими друг другу среди всех остальных культур исследуемого региона. Юкагиры, как и некоторые чукчи, переняли обычай эвенов ездить верхом на оленях (данные из историко-социолингвистических интервью). В Разделе 3 также была показана связь между тундренным юкагирским и эвенским языками в сфере оленеводческой лексики. Соседские контакты и браки между эвенами и юкагирами привели, по-видимому, к формированию смешанных эвено-юкагирских родов — Бетильского и Каменно-ламутского. В культурном плане эти группы сочетали юкагирские и эвенские черты. В переписи 1897 г. бетильцы, кочевавшие рядом с первым Алазейским юкагирским родом, отнесены к «ламуто-юкагирам», при этом из 165 бетильцев 142 считали родным языком юкагирский (Патканов, 1912: 796–813). Любопытно, что Долгих связывает Бетильский род с Петайскими юкагирами, обитавшими в XVII в. к востоку от Яны. Эти юкагиры имели брачные связи с «тунгусами (ламутами)» тюгесирского рода (Долгих, 1960: 391). Каменно-ламутский род отмечен в той же переписи как «ламутский», и «ламутский» же все его опрошенные представители указали родным (Патканов, 1912: 796–813), что не означает, однако, что юкагирского они не знали вообще: их территория пересекалась с территорией кочевий второго Алазейского юкагирского рода. Скорее всего, сильная культурная смешанность и общность кочевых территорий обусловили функционирование эвенско-юкагирского двуязычия среди представителей двух юкагирских и двух каменно-ламутских родов (см. также Пупынина и др., 2020).

Интересно проследить, как знание юкагирского языка и юкагирских традиций постепенно угасает, вытесняясь эвенским языком и культурой, к западу от Колымско-Алазейской тундры. Иохельсон называет кочевников Индигирки «тунгусо-юкагирами», из которых очень немногие знали юкагирский. Современные эвены *дуткиль*, проживающие на Индигирке и на Яне (к западу от границ Колымско-Алазейской тундры), в этнографической литературе также называются «потомками юкагиrow» (Левин, Потапов, 1961: 761). Родным языком все они считали «ламутский». Иохельсон же отмечает, что среди индигирских эвеноязычных юкагиrow еще был распространен юкагирский обычай избегания (см. выше в Разделе 3), причем назывался он уже не по-юкагирски, а по-эвенски. При этом известно, что собственно тунгусским родам этот обычай не свойственен. Кроме того, в эвенском языке Индигирки в названиях некоторых родственников, по Иохельсону, сохранились юкагирские слова (Иохельсон, 1898: 36).

В заключение обсуждения крайней степени культурной и языковой смешанности эвенов и юкагиров упомянем путаницу «народных» названий, данных языкам северной тундры русскими. Во времена Иохельсона русское население Индигирки считало основным язык местного населения, эвенский («ламутский», по В.И. Иохельсону), юкагирским. Колымские русские, наоборот, называли тундренный язык юкагиров «ламутским» (Иохельсон, 1898: 31), что еще раз говорит о тесной связи эвенов и юкагиров в XIX в.

Итак, тесные культурные связи и длительное двуязычие юкагиров и эвенов центральной части Колымско-Алазейской тундры являются несомненным фактом, и это отчасти подтверждается взаимным заимствованием терминов родства, заимствованием юкагирами оленеводческой и другой основной лексики. Однако двуязычие и четырехсотлетние контакты эвенских и юкагирских родов либо не привели к значительной перестройке языковых систем и заимствованию большого количества лексических морфологических элементов, либо заимствованные элементы настолько видоизменились, что их выявление теперь представляется крайне затруднительным.

Перейдем теперь к якутско-юкагирским связям. Лексические заимствования из якутского в юкагирский во многом связаны с обозначением новых для юкагирской культуры объектов (деталей жилища, терминов коневодства, молочных продуктов). На конец XIX в. связи тундренных юкагиров с **якутами** фиксируются противоречиво. Якуты селились в основном по краю леса, однако их рыболовные и охотничьи угодья наверняка продолжались вглубь тундры (не доходя до моря). Благодаря коневодству и скотоводству якуты с выгодой для себя торговали с юкагирами конским волосом, использовавшимся для плетения сетей, и молочными продуктами. В. М. Зензинов, побывавший у юкагиров в 1912 г., пишет: «Все юкагиры говорят и понимают по-якутски, на этом языке и общаются с приезжими», а между собой «говорят то по-якутски, то по-юкагирски», с несколько большей долей юкагирского (Зензинов, 1914: 15). Стойбище этих юкагиров осенью 1912 г. располагалось к востоку от Индигирки (между Индигиркой и Алазеей); возможно, это были юкагиры Второго Алазейского рода. С другой стороны, по совсем недавнему сообщению Д. Н. Куриловой, уроженки юкагирского села Тустах-Сень, расположенного недалеко от р. Большая Чукочьа, ее родители, чье детство пришлось на 1920-е, выучили якутский язык в зрелом возрасте. Ее мать так и не начала свободно говорить на якутском. В семьях говорили на юкагирском; якутский же был нужен для того, чтобы вести торговые обмены с якутами. Таким образом, ситуация на западе Колымско-Алазейской тундры, между Алазеей и Индигиркой, могла отличаться от более восточной ее части, между Алазеей и Колымой ближе к Колыме. В западной части юкагирско-якутское двуязычие могло быть шире распространено, тогда как в восточной было ограничено возрастным и гендерным факторами. В 1930-х влияние якутского и по Алазее, и по Колыме сильно возросло: на нём велось преподавание в первой школе-интернате на западе новообразованного Нижнеколымского района, делопроизводство поначалу также шло на якутском языке. Сами юкагиры отмечают, что в речи у различных носителей, владеющих и не владеющих якутским, количество якутских дискурсивных элементов в речи различается с явным их преобладанием у первых.

Интересна роль якутского языка в оформлении проникающих в юкагирский заимствований из русского. Так, вспомним, что вербализатор *-лаа / -даа / -наа / -таа*, заимствованный из якутского, служит для оформления русских глаголов, а многие русские слова попали в юкагирский через посредство якутского языка, что может говорить о том, что контакты юкагиров с якутами долгое время были более тесными. Так, В. И. Зензинов отмечает, что общение между русскими и юкагирами между Индигиркой и Алазеей велось по-якутски.

Влияние русского языка на юкагирский началось давно, однако русское присутствие, по-видимому, воздействовало скорее на распространение юкагирского языка в сторону его сокращения, чем на его структуру. Известно, что очень много юкагиров обрусели, осели в деревнях и перешли на русский язык (см., например, (Гоголев и др., 1975: 16–17). Как и **рус-**

ские, они начинали жить в основном рыбной ловлей, перемещаясь в сезон от одного рыбного места на другое, имея при этом постоянное деревянное жилище в поселении. Возможно, этот переход происходил очень быстро (и в огромном некогда ареале обитания юкагиров очень неравномерно), быстро минуя стадию двуязычия и не приводя к появлению большого количества русских заимствований. Связи русских и юкагиров и несомненное владение русским языком некоторыми юкагирами в XVII в. фиксируются также у Долгих. Так, юкагиры периодически подавали челобитные царю и могли донести до ясачного зимовья такую информацию: «Стала наша земля пуста, на Яне и по сторонним и до Индигирки, а по другую сторону и до Лены, соболей нет... а добываем де наш ясак соболи извозом у русских людей, а иные и каменные юкагиры, Якчанга с родом, покупаем де соболи в Жиганах у якутов и у тунгусов на последние свои оленишка и на борошнишко» (цит. по Долгих, 1960: 386). По-видимому, многие юкагиры к XIX–XX веку перешли на русскую одежду; как указывалось выше, названия русских предметов одежды заимствуются в юкагирский напрямую из русского. Упомянем здесь заметку Зензинова о том, что юкагиры Индигирки не отличались одеждой от русских и якутов, и «под оленьей кухлянкой у них русские рубахи» (Зензинов, 1914: 14). Тем не менее, Зензинов отмечает, что «Индигирские юкагиры знают несколько русских слов, но не умеют их связывать» (Там же) — и это в 1912 году, уже в предреволюционную эпоху.

В заключение этого раздела процитируем заметку Йохельсона о многоязычии юкагиров. Он называет юкагиров и «тунгусов» тундры «подлинными полиглотами», которые «понимают юкагирский, тунгусский, якутский и чукотский языки» (Йохельсон 1926/2005: 91). Тем не менее, конкретных примеров знания одной личностью пяти языков он не приводит. Барон Майдель упоминает о юкагирском переводчике, который мог переводить с чукотского на русский (Майдель, 1894: 117, 126). Возможно, именно те юкагиры мужского пола, которые имели связи с представителями администрации и выполняли функции проводников и переводчиков, владели наибольшим количеством языков. Скорее всего, распространенное многоязычие, зафиксированное исследователями XX–XXI вв., стало массовым как среди юкагиров, так и среди эвенов и чукчей только после 1930-х годов.

5. Основные результаты

Мы рассмотрели тундренный юкагирский язык в свете контактов с окружающими его языками и социоэкономические условия этих контактов в конце XIX — начале XX в. Исторический экскурс в более ранний период этнической истории юкагиров показал, что в XVII–XIX веках территория расселения юкагиров сильно сократилась. Набор этнических групп, с которыми контактировали юкагиры, в XVII в. в целом совпадал с современным и включал еще коряков и кереков. Колымско-Алазейская тундра стала ареной действия языковых и культурных контактов не ранее XVIII в., хотя распространенные в ней в XIX веке языки, вероятнее всего, контактировали друг с другом и ранее, но на другой территории.

Обзор контактных явлений в тундренном юкагирском языке выявил, что количество заимствований в современный юкагирский язык минимально из чукотского (менее 5), из эвенского составляет около 50, из якутского более 60 и из русского более 150 слов. Массового заимствования отдельных грамматических показателей выявлено не было (ср. як. *-лаа* и предположительно эв. *-счи*), однако наличие влияний на морфосинтаксическую структуру еще предстоит исследовать.

Ниже мы изложим основные результаты сравнения социоэкономических условий контактов с данными о лингвистических свидетельствах контактов.

1. Контакты с чукчами в Колымско-Алазейской тундре носят недавний характер (как было указано выше, по наиболее надежным источникам, чукчи перешли Колыму в западном направлении только в середине XIX в., в то время как контакты юкагиров с рус-

скими известны с XVII в., а с якутами и эвенками — приблизительно с XVIII в.). Несмотря на экономическое превосходство чукчей, в западной части Колымско-Алазейской тундры они были ассимилированы местными племенами в языковом отношении. В восточной части контакты могли быть более интенсивными, но не очень длительными, лишь изредка приводящими к двуязычию. Этим объясняется небольшое количество заимствований из чукотского в юкагирский.

2. Брачные и соседские связи между юкагирами и эвенками в XIX в. и начале XX в. были очень тесны (так, существовали смешанные эвено-юкагирские роды и скорее всего было широко распространено двуязычие). Это отчасти подтверждается качеством заимствований из эвенского в юкагирский (в числе прочего, несколько терминов родства), но не объясняет сравнительно небольшое общее количество заимствований из этого языка. В юкагиро-эвенских отношениях, по-видимому, отсутствовало выраженное доминирование одной группы над другой.
3. Контакты юкагиров с якутами имеют гораздо менее тесный характер по сравнению с юкагиро-эвенскими связями. Юкагиры и якуты были связаны торговыми отношениями, в которых якуты выступали как источник важных продуктов, связанных с коневодством и скотоводством. Юкагиро-якутское двуязычие было распространено неравномерно. Владение юкагирами якутским языком могло быть обусловлено гендерным и возрастными аспектами.
4. Контакты юкагиров с русскими очень давние (особенно это касается отношений со служилыми людьми, контролирующими выполнение повинностей) и отличаются от связей с остальными народами своим максимально вертикальным характером. Что касается поселений русских рыболовов в устьях Индигирки, Алазеи и Колымы, то с ними, по крайней мере на Индигирке, юкагиры общались по-якутски. Свидетельств юкагиро-русского двуязычия немного; по-видимому, русским владели в основном юкагиры, от которых этого требовала служба в качестве проводника или переводчика.

Кроме того, важно учесть, что часть якутских и русских заимствований вошла в юкагирский язык в советский период, когда статус русского языка, а в первые годы и якутского языка, повысился благодаря их роли в делопроизводстве и образовании. Таким образом, их появление в тундренном юкагирском языке не относится к рассматриваемому периоду.

Таким образом, исследование показывает, что большое количество заимствований может быть объяснено как многолетней историей и культурным смешением (как в случае с эвенками и юкагирами), так и иерархическим характером связей между контактирующими общностями. При этом даже тесный горизонтальный культурный контакт и равновесное двуязычие сами по себе не определяют большого количества заимствований, в отличие от контакта вертикального, где одна из сторон экономически и административно превосходит другую.

Сопоставление данных по многоязычию в Колымско-Алазейской тундре в XX в. и данных, описывающих более ранний период, подтверждает наблюдения, высказанные в предыдущих статьях цикла. По-видимому, в эвено-юкагирской среде было распространено двуязычие с преобладанием юкагирского. В некоторых частях ареала юкагиры хорошо знали якутский язык, реже всего владели русским языком. Некоторые социальные группы юкагиров (потенциальные женихи, пастухи, проводники и переводчики русских) владели чукотским. Пятиязычие с активным использованием всех языков тундры, по-видимому, было редким явлением, хотя не исключено, что некоторые юкагиры в рассматриваемый период могли понимать чукотский, русский и якутский, но не говорить на этих языках.

К сожалению, совершенно не охваченными в этой статье оказались связи тундренного юкагирского с лесным, хотя такие контакты, несомненно, имели место в Колымско-Алазейской тундре. Для косвенного изучения этого влияния необходимо детальное сравнение грамматических систем тундренного и лесного юкагирского. Помимо этого, важно про-

вести количественный и качественный анализ лингвистического влияния тунгусских и чукотско-камчатских языков, а также якутского и русского языка на лесной юкагирский язык и сопоставить это влияние с фактами, описанными в Разделе 3 данной работы. Сведение во-едино всех (в том числе, экстралингвистических) данных по контактам юкагирских языков позволит дать более достоверную картину распространения юкагирских языков в прошлом и, шире, позволит уточнить динамику распространения различных этнических групп по северо-восточной Сибири.

Сокращения:

1–3 — 1–3 лицо, CAUS — каузатив, CONAT — конатив, IMP — императив, INCH — инхотатив, GNR — генерический хабиуталис, NONFUTURE — небудущее время, PASS — пассив, PL — множественное число, POSS — посессив, PRSP — проспектив, SG — единственное число, TR — переходный глагол.

Литература:

- Аникин А. Е.** Этимологический словарь русских диалектов Сибири: заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М., Новосибирск: Наука, 2000.
- Вахтин Н. Б.** Языки народов севера в XX веке. Очерки языкового сдвига. СПб.: Дмитрий Булавин, 2001.
- Гоголев З. В., Гурвич И. С., Золотарева И. М., Жорницкая М. Я.** Юкагиры: Историко-этнографический очерк / Отв. ред. А. П. Окладников. Новосибирск: Наука, 1975.
- Гурвич И. С.** Этнографическая экспедиция в Нижне-колымский и Средне-колымский районы Якутской АССР в 1951 году (предварительный отчет) // Советская этнография. № 3. 1952. С. 200–209.
- Долгих Б. О.** Родовой и племенной состав Сибири в XVII веке. М.: Изд-во Академии наук, 1960.
- Зензинов В. М.** В гостях у юкагиров // Этнографическое обозрение. № 1–2. 1914. С. 106–126.
- Юхельсон В. И.** Предварительный отчетъ объ исследованіи инородцевъ Колымскаго и Верхоянскаго округовъ (съ картой маршрутовъ). // Извѣстія Восточно-сибирскаго отдѣла Императорскаго русскаго географическаго общества XXIX. 1898. № 1. С. 9–25.
- Юхельсон В. И.** Бродячіе роды тундры между рѣками Индигиркой и Колымой, ихъ этнической составъ, нарѣчіе, бытъ, брачныя и иные обычаи и взаимодействіе различныхъ племенныхъ элементовъ // Живая старина. 1900. Вып. I–II. С. 151–193.
- Юхельсон В. И.** Юкагиры и юкагиризованные тунгусы. Новосибирск: Наука, 2005 (оригинал издан в Ученых записках Американскаго музея в 1926 г.).
- Коряков Ю. Б.** Принципы составления списка языков России. Доклад на третьем заседании Дискуссионно-аналитическаго клуба по языковой политике, ИЯз РАН (Москва), 24 ноября 2020 г.
- Крейнович Е. А.** Из жизни тундренных юкагиров на рубеже XIX и XX веков // Страны и народы востока. Вып. XVIII. Страны и народы бассейна Тихого океана. Книга 2. М.: Наука, 1972. С. 56–92.
- Курилов Г. Н.** О терминах родства и свойства тундренных юкагиров // Советская этнография. №2. 1969. С. 92–96.
- Курилов Г. Н.** Юкагирско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2001.
- Курилов Г. Н.** Лексикология современнаго юкагирскаго языка. Новосибирск: Наука, 2003.
- Курилов Г. Н.** Современный юкагирский язык: учебное пособие. Якутск: Офсет, 2006.
- Курилова С. Н.** Тематическіе группы тунгусских лексических заимствований в североюкагирском языке // Филологическіе науки. Вопросы теории и практики. № 12 (42). Ч. II. Тамбов: Грамота, 2014а. С. 101–105.
- Курилова С. Н.** Лексико-тематическіе группы якутских заимствований в языке тундровых юкагиров // Евразийский союз ученых. № 4 (11). Москва, 2014b. С. 56–59.
- Курилова С. Н.** Особенности морфологическаго освоения иноязычных слов в языке тундровых юкагиров // Международнй научно-исследовательский журнал. Филологическіе науки. №10 (41). Ч.5. Екатеринбург: Полиграфист, 2015а. С. 85–87.
- Курилова С. Н.** Классификация русских лексических заимствований в тундровом юкагирском языке: тематическая группа «кухня» // Филологическіе науки. Вопросы теории и практики. № 5 (47). Ч. I. Тамбов: Грамота, 2015b. С. 116–120.

- Левин М. Г., Потанов Л. П.** (ред.). Историко-этнографический атлас Сибири. Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1961.
- Майдель Г.** Путешествіе по сѣверо-восточной части Якутской области в 1868–1870 г. С.-Петербургъ: Типографія Императорской Академіи наукъ, 1894.
- Мудрак О. А.** Этимологический словарь чукотско-камчатских языков. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Николаева И. А., Хелимский Е. А.** Юкагирский язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М.: Индрик, 1997. С. 155–168.
- Новикова К. А.** Очерки диалектов эвенского языка: Ольский говор. Глагол, служебные слова, тексты, глоссарий. Ленинград: Наука, 1980.
- Паткановъ С.** Статистическія данныя, показывающія племенной составъ населенія Сибири, языкъ и роды инородцевъ (на основаніи данныхъ специальной разработки матеріала переписи 1897 г.). Т. 3. С.-Петербургъ, 1912.
- Плужников Н. В., Шадрин В. И.** Юкагиры // Народы Северо-Востока Сибири / ред. Е. П. Батьянова, В. А. Тураев. ИЭА РАН. М.: Наука, 2010. С. 636–685.
- Пупынина М. Ю., Аралова Н. Б., Коряков Ю. Б.** География многоязычия народов Колымско-Алазейской тундры в конце XIX — начале XX века. Часть 2. Эвенский язык. Эвены и их контакты с соседями // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. № 1 (27). 2020. С. 44–60.
- Пупынина М. Ю., Коряков Ю. Б.** География многоязычия народов Колымско-Алазейской тундры в конце XIX — начале XX века. Часть 1. Чукотский язык. Чукчи и их контакты с соседями // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. № 1 (23). 2019. С. 69–82.
- Рассадин В. И.** Очерки по истории сложения тюрко-монгольской языковой общности / под ред. А. В. Дыбо. СПб.: Нестор-История, 2019.
- Роббек В. А., Роббек М. Е.** Эвенско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2005.
- Рожановский К. Ф.** Отчет К. Ф. Рожановского об Алазейской части Колымского округа // Отчет уполномоченного Министерства Внутренних дел по снабжению продовольствием в 1905 году Колымскаго и Охотскаго края мирового судьи С. А. Бутурлина. СПб.: Министерство внутренних дел, 1907.
- Саввинова С. Н.** Якутская заимствованная лексика в эвенском языке. Автореф. дис. ... кандидата филологических наук. Санкт-Петербург, 2010.
- Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков: Материалы к этимологическому словарю: в 2 т. / Отв. ред. В. И. Цинциус. Л.: Наука, 1975.
- Цинциус В. И.** Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л.: Ленингр. отд-ние Учпедгиза, 1949.
- Цинциус В. И., Ришес Л. Д.** Русско-эвенский словарь. М.: Изд-во иностранных и национальных словарей, 1952.
- Шарина С. И., Кузьмина Р. П.** Нижнеколымский говор эвенского языка. Новосибирск: Наука, 2018.
- Jochelson W.** (1926). The Jukaghir and the Jukaghirized Tungus. The Jesup North Pacific Expedition. Memoirs of the American Museum of Natural History, 9(3).
- Malchukov A.** Yakut interference in North-Tungusic languages // H. Boeschoten & L. Johanson (eds.). Turkic languages in contact. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. P. 122–139.
- Maslova E.** A Grammar of Kolyma Yukaghir. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2003a.
- Maslova E.** Tundra Yukaghir. Languages of the World / Materials 372 Lincom Europa, München, 2003b.
- Matić D.** Russian influence on the Kolyma Yukaghir morphosyntax // Antje Casaretto & Silvia Kutscher (eds.). Sprachkontakt, synchron und diachron. Aachen: Shaker, 2008. P. 93–124.
- Matić D.** Documenting dying languages: Kinship avoidance speech in Tundra Yukaghir. Доклад на конференции «Лингвистический форум 2019: Коренные языки России и мира» (ИЯз РАН, Москва, 4–6 апреля 2019 г.).
- Nikolaeva I.** A historical dictionary of Yukaghir. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2006.
- Pakendorf B., Matić D., Aralova N., Lavrillier A.** 2010. Documentation of the dialectal and cultural diversity among Évens in Siberia (DOBES, MPIP, MPI-EVA, Nijmegen, Leipzig). Available at: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000F-2DFE-0>.
- Pupynina M. & Aralova, N.** (2021) Lower Kolyma multilingualism: Historical setting and sociolinguistic trends. International Journal of Bilingualism. Special issue 'Typology of small-scale multilingualism', 25 (4), P. 1-21.
- Schmalz M.** Aspects of the grammar of Tundra Yukaghir. PhD thesis, University of Amsterdam, 2013.
- Tadmor U.** Loanwords in the world's languages: Findings and results // Haspelmath M. & Tadmor U. (eds.). Loanwords in the world's languages: a comparative handbook. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2009. P. 55–75.

Пупынина Мария Юрьевна, кандидат филологических наук.

Научный сотрудник.

Институт лингвистических исследований РАН.

Пер. Тучков, д. 9, г. Санкт-Петербург, 199053.

Научный сотрудник.

Институт языкознания РАН.

Пер. Большой Кисловский, д. 1, стр. 1, г. Москва, 125009.

E-mail: pupynina@gmail.com

Мордашова Дарья Дмитриевна.

Младший научный сотрудник.

Институт языкознания РАН.

Пер. Большой Кисловский, д. 1, стр. 1, г. Москва, 125009.

Аспирант.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Ленинские горы, д. 1, г. Москва, 119991.

E-mail: mordashova.d@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 17 ноября 2021 г.

Pupynina M. Yu., Mordashova D. D.

**EVIDENCE OF LANGUAGE CONTACT IN KOLYMA-ALAZEIA TUNDRA
IN THE 19TH AND THE EARLY 20TH CENTURIES.
TUNDRA YUKAGHIRS AND THEIR CONTACTS WITH THE NEIGHBOURS**

This paper is the third one within the series of studies devoted to the linguistic situation in the Kolyma-Alazeia tundra, a region of intense ethnic and linguistic contacts, in the late 19th — early 20th centuries. The study focuses on Tundra Yukaghirs and the Tundra Yukaghir language, which was in contact with Chukchi, Even, Yakut and Russian. First, we provide a brief historical review on Yukaghirs in the 17–19th centuries, which shows that the region in question became a contact area only since the 18th century. Then, using the literature on the Yukaghir loanwords and our own field data, we consider the phenomena in Tundra Yukaghir that were caused by the influence of other languages of the Kolyma-Alazeia tundra. This overview displays that the number of lexical borrowings in the modern Yukaghir language is the lowest from Chukchi (less than 5), and comprises about 50 words from Even, more than 60 words from Yakut and, finally, more than 150 words from Russian. Based on the various sources (ethnographic literature, eyewitness accounts), we describe the social conditions that accompanied contacts between the representatives of various peoples in the Kolyma-Alazeia tundra. These data are compared with the data on linguistic evidence of the contacts. Contacts with Chukchis in the Kolyma-Alazeia tundra were quite recent, which explains the small number of borrowings in Yukaghir. On the contrary, marital and neighborly ties between Yukaghirs and Evens were very tight (for example, there were mixed Even-Yukaghir clans, and Even-Yukaghir bilingualism was most likely widespread). The relations between Yakuts and Yukaghirs were mainly of a commercial nature (Yakuts possessed valuable products of horse and cattle breeding). Contacts with Russians have ancient history, and in many cases they involved control over the state duties that was exercised by Russians, which indicates the hierarchical nature of these contacts. Thus, the study shows that a large number of borrowings can be explained both by the long-term history and cultural mixing (Evens and Yukaghirs), and the hierarchical nature of the relations between the communities in contact (Yakuts and Yukaghirs, Russians and Yukaghirs).

Keywords: *Yukaghir languages, Tundra Yukaghir, Yukaghirs, language contact, multilingualism, lexis, loanwords, kinship terms.*

References:

- Anikin A. E.** Ètimologičeskij slovar' russkix dialektov Sibiri: zaimstvovanija iz ural'skix, altajskix i paleoaziatskix jazykov [Etymological dictionary of the Russian dialects of Siberia: loanwords from Uralic, Altaic and Paleoasian languages]. Moscow, Novosibirsk: Nauka, 2000.
- Cincius V. I.** Sravnitel'naja fonetika tunguso-man'čžurskix jazykov [Comparative phonetics of Tungusic languages]. Leningrad: Leningradskoje otdelenie Učpedgiza, 1949.
- Cincius V. I., Rišes L. D.** Russko-èvenskij slovar' [Russian-Even dictionary]. Moscow: Izdate'stvo inostrannyx i nacional'nyx slovarej, 1952.
- Dolgix B. O.** Rodovoj i plemennoj sostav Sibiri v XVII veke [Clan and tribal composition of Siberia in the 17th century]. Moscow: Izdatel'stvo Akademii nauk, 1960.
- Gogolev Z. V., Gurvič I. S., Zolotareva I. M., Žornickaja M. Ja.** Jukagiry: Istoriko-ètnografičeskij očerk [Yukaghirs: a historical and ethnographic sketch] / A. P. Okladnikov (ed.). Novosibirsk: Nauka, 1975.
- Gurvič I. S.** Ètnografičeskaja èkspedicija v Nižne-kolymskij i Sredne-kolymskij rajony Jakutskoj ASSR v 1951 godu (predvaritel'nyj otčet) [An ethnographic expedition to Lower and Middle Kolyma districts of Yakut ASSR in 1951 (a preliminary report)] // Sovetskaja ètnografija. №3. 1952. P. 200–209.
- Ioxel'son V. I.** Predvaritel'nyj otčet ob issledovanii inorodcev Kolym'skago i Verchojanskago okrugov (s kartoj maršrutov) [A preliminary investigation report of aborigines of Kolymskij and Verchojanskij district (with a route map)] // Izvestija Vostočno-sibirskago otdela Imperatorskago russkago geografičeskago obščestva XXIX. 1898. № 1. P. 9–25.
- Ioxel'son V. I.** Brodjačie rody tundry meždu rekami Indigirkoj i Kolymoj, ix ètničeskij sostav, narečie, byt, bračnye i inye obyčaji i vzaimodejstvie različnyx plemennyx èlementov [Nomadic Tundra clans between Indigirka and Kolyma rivers, their ethnic composition, language, everyday life and other customs and interaction of the different clan elements] // Živaja starina. 1900. Vol. I–II. P. 151–193.
- Ioxel'son V. I.** Jukagiry i jukagirizovannye tungusy [Yukaghirs and Yukaghirized Tunguses]. Novosibirsk: Nauka, 2005 (originally published in Učenyje zapiski Amerikanskogo muzeja in 1926).
- Jochelson W.** (1926). The Jukaghir and the Jukaghirized Tungus. The Jesup North Pacific Expedition. Memoirs of the American Museum of Natural History, 9(3).
- Korjakov Yu. B.** Principy sostavlenija spiska jazykov Rossii [Principles of composing the list of languages of Russia]. A talk given on the 3rd meeting of the Discussion and Analytical Club on the Language Policy, Institute of Linguistics RAS (Moscow), November 24, 2020.
- Krejnič E. A.** Iz žizni tundrennyx jukagirov na rubeže XIX i XX vekov [Notes on Tundra Yukaghirs' lifestyle in 19–20 centuries] // Strany i narody vostoka. Vol. XVIII. Strany i narody bassejna Tixogo okeana. Kniga 2. Moscow: Nauka, 1972. P. 56–92.
- Kurilov G. N.** O terminax rodstva i svojstva tundrennyx jukagirov [On Tundra Yukaghir kinship terms] // Sovetskaja ètnografija. № 2. 1969. P. 92–96.
- Kurilov G. N.** Jukagirsko-russkij slovar' [Yukaghir-Russian dictionary]. Novosibirsk: Nauka, 2001.
- Kurilov G. N.** Leksikologija sovremennogo jukagirskogo jazyka [Lexicology of Modern Yukaghir]. Novosibirsk: Nauka, 2003.
- Kurilov G. N.** Sovremennyj jukagirskij jazyk: učebnoe posobie [Modern Yukaghir: a textbook]. Jakutsk: Ofset, 2006.
- Kurilova S. N.** Tematičeskije gruppy tungusskix leksičeskix zaimstvovanij v severojukagirskom jazyke [Thematic groups of Tungus lexical borrowings in the North Yukaghir language] // Filologičeskije nauki. Voprosy teorii i praktiki. № 12 (42). Part II. Tambov: Gramota, 2014a. P. 101–105.
- Kurilova S. N.** Leksiko-tematičeskije gruppy jakutskix zaimstvovanij v jazyke tundrovyx jukagirov [Thematic groups of Yakut lexical borrowings in the Tundra Yukaghir language] // Evrazijskij sojuz učenyx. №4 (11). Moscow, 2014b. P. 56–59.
- Kurilova S. N.** Osobennosti morfologičeskogo osvoenija inojazyčnyx slov v jazyke tundrovyx jukagirov [Peculiarities of the morphologic adaptation of foreign words in Tundra Yukaghir] // Meždunarodnyj naučno-issledovatel'skij žurnal. Filologičeskije nauki. №10 (41). Č.5. Ekaterinburg: Poligrafist. 2015a. S. 85–87.
- Kurilova S. N.** Klassifikacija russkix leksičeskix zaimstvovanij v tundrovom jukagirskom jazyke: tematičeskaja gruppa «kuxnja» [Classification of Russian lexical borrowings in Tundra Yukaghir: a thematic group “kitchen”] // Filologičeskije nauki. Voprosy teorii i praktiki. № 5 (47). Part I. Tambov: Gramota, 2015b. P. 116–120.
- Levin M. G., Potapov L. P.** (eds.). Istoriko-ètnografičeskij atlas Sibiri [A historical and ethnographic atlas of Siberia]. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 1961.

- Majdel' G.** Putešestvie po severo-vostočnoj časti Jakutskoj oblasti v 1868–1870 g. [A travel around the Northwestern part of Yakutia oblast in 1868–1870]. Saint-Petersburg: Tipografija Imperatorskoj Akademii nauk, 1894.
- Malchukov A.** Yakut interference in North-Tungusic languages // H. Boeschoten & L. Johanson (eds.). *Turkic languages in contact*. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. P. 122–139.
- Maslova E.** *A Grammar of Kolyma Yukaghir*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2003a.
- Maslova E.** *Tundra Yukaghir*. *Languages of the World / Materials 372 Lincom Europa*, München, 2003b.
- Matić D.** Russian influence on the Kolyma Yukaghir morphosyntax // Antje Casaretto & Silvia Kutscher (eds.). *Sprachkontakt, synchron und diachron*. Aachen: Shaker, 2008. P. 93–124.
- Matić D.** Documenting dying languages: Kinship avoidance speech in Tundra Yukaghir. Talk given at the conference «Linguistic forum 2019: Indigenous languages of Russia and beyond» (Institute of Linguistics RAS, Moscow, April 4–6, 2019).
- Mudrak O. A.** *Ètimologičeskij slovar' čukotsko-kamčatskix jazykov* [Etymological dictionary of Chukchi-Kamchatkan languages]. Moscow: Jazyki russskoj kul'tury, 2000.
- Nikolaeva I.** *A historical dictionary of Yukaghir*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2006.
- Nikolaeva I. A., Xelimskij E. A.** *Jukagirskij jazyk* [The Yukaghir language] // *Jazyki mira. Paleoaziatskie jazyki*. Moscow: Indrik, 1997. P. 155–168.
- Novikova K. A.** *Očerki dialektov èvenskogo jazyka: Ol'skij govor. Glagol, služebnye slova, teksty, glossarij* [Sketches on the dialects of Even: Ola subdialect. Verb, function words, texts, glossary]. Leningrad: Nauka, 1980.
- Pakendorf B., Matić D., Aralova N., Lavrillier A.** 2010. Documentation of the dialectal and cultural diversity among Èvens in Siberia (DOBES, MPIP, MPI-EVA, Nijmegen, Leipzig). Available at: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000F-2DFE-0>.
- Patkanov S.** *Statističeskaja dannaja, pokazyvajuščija plemennoj sostav naselenija Sibiri, jazyk i rody inorodcev (na osnovanii dannyx special'noj razrabotki materiala perepisi 1897 g.)* [Statistical data, showing tribal composition of Siberia population, the language and clans of non-Russian population (on the basis of 1897 census data)]. Vol. 3. Saint-Petersburg, 1912.
- Plužnikov N. V., Šadrin V. I.** *Jukagiry* [Yukaghirs] // *Narody Severo-Vostoka Sibiri* / E. P. Bat'janova, V. A. Turaev (eds.). IĖA RAN. Moscow: Nauka, 2010. P. 636–685.
- Pupynina M., Aralova N.** Lower Kolyma multilingualism: Historical setting and sociolinguistic trends // *International Journal of Bilingualism. Special Issue: Typology of Small-Scale Multilingualism*, 2021. (early online publication)
- Pupynina M. Yu., Aralova N. B., Korjakov Yu. B.** *Geografija mnogojazyčija narodov Kolymsko-Alazejskoj tundry v konce XIX — načale XX veka. Čast' 2. Èvenskij jazyk. Èveny i ix kontakty s sosedyami* [Geography of multilingualism of peoples of Kolyma-Alazeia tundra in the late 19th to the early 20th centuries. Part II. The Even language: Evens and their contacts with the neighbours] // *Tomskij žurnal lingvističeskix i antropologičeskix issledovanij*. №1 (27). 2020. P. 44–60.
- Pupynina M. Yu., Korjakov Yu. B.** *Geografija mnogojazyčija narodov Kolymsko-Alazejskoj tundry v konce XIX — načale XX veka. Čast' 1. Čukotskij jazyk. Čukči i ix kontakty s sosedyami* [Geography of multilingualism of peoples of Kolyma-Alazeia tundra in the late 19th to the early 20th centuries. Part I. The Chukchi language: Chukchis and their contacts with the neighbours] // *Tomskij žurnal lingvističeskix i antropologičeskix issledovanij*. № 1 (23). 2019. P. 69–82.
- Rassadin V. I.** *Očerki po istorii složenija tjurko-mongol'skoj jazykovoj obščnosti* [Sketches on the history of formation of the Turkic-Mongolic linguistic community] / A. V. Dybo (ed.). Saint-Petersburg: Nestor-Istorija, 2019.
- Robbek V. A., Robbek M. E.** *Èvensko-russkij slovar'* [Even-Russian dictionary]. Novosibirsk: Nauka, 2005.
- Rožanovskij K. F.** *Otčet K. F. Rožanovskogo ob Alazejskoj časti Kolym'skogo okruga* [K. F. Rožanovsky's Report about the Alazeya part of Kolyma District] // *Otčet upolnomočennoho Ministerstva Vnutrennix del po snabženiju prodovol'stvijem v 1905 godu Kolym'skago i Oxotskogo kraja mirovogo sud'i S. A. Buturlina*. Saint-Petersburg.: Ministerstvo vnutrennix del, 1907.
- Šarina S. I., Kuz'mina R. P.** *Nižnekolym'skij govor èvenskogo jazyka* [Lower Kolyma subdialect of Even]. Novosibirsk: Nauka, 2018.
- Savvinova S. N.** *Jakutskaja zaimstvovannaja leksika v èvenskom jazyke* [Yakut borrowed lexicon in Even]. Avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskix nauk.. Sankt-Peterburg, 2010.
- Schmalz M.** *Aspects of the grammar of Tundra Yukaghir*. PhD thesis, University of Amsterdam, 2013.
- Sravnitel'nyj slovar' tunguso-man'čžurskix jazykov: Materialy k ètimologičeskomu slovarju: v 2 t.* [A comparative Tungusic dictionary: Materials for an etymological dictionary: in 2 vol.] / V. I. Cincius (ed.). Leningrad: Nauka, 1975.
- Tadmor U.** *Loanwords in the world's languages: Findings and results* // Haspelmath M. & Tadmor U. (eds.). *Loanwords in the world's languages: a comparative handbook*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2009. P. 55–75.

Vaxtin N. B. Jazyki narodov severa v XX veke. Očerki jazykovogo sdviga [Languages of the Northern peoples in the 20th century. Sketches on language shift]. Saint-Petersburg.: Dmitrij Bulavin, 2001.

Zenzinov V. M. V gostjax u jukagirov [Visiting Yukaghirs] // *Ėtnografičeskoe obozrenie*. № 1–2. 1914. P. 106–126.

Pupynina Maria Yuryevna, candidate of philology.

Research fellow.

RAS, Institute for linguistic studies.

9 Tuchkov lane, St. Petersburg, Russia, 199053.

Research fellow.

RAS, Institute of Linguistics.

1 Bolshoi Kislovskij lane, build. 1, Moscow, Russia, 125009.

E-mail: pupynina@gmail.com

Mordashova Daria Dmitrievna.

Junior research fellow.

RAS, Institute of Linguistics.

1 Bolshoi Kislovskij lane, build. 1, Moscow, Russia, 125009.

Postgraduate student.

Lomonosov Moscow State University.

1 Leninskije gory, Moscow, Russia, 119991.

E-mail: mordashova.d@yandex.ru

Э. В. Хилханова, Д. Л. Хилханов

ЯЗЫКОВЫЕ ИДЕОЛОГИИ В РЕЧЕВЫХ ПРАКТИКАХ МНОГОЯЗЫЧНЫХ ПОСТСОВЕТСКИХ МИГРАНТОВ КАК БАРЬЕР ТРАНСЛИНГВАЛЬНОСТИ¹

Основная цель статьи — вскрытие и анализ языковых идеологий, лежащих в основе многоязычных практик нерусских мигрантов первого поколения из бывшего Советского Союза в свете теории транслингвальности. В статье использованы данные, собранные авторами в ходе трехмесячного этнографически-ориентированного полевого исследования в странах Западной Европы (углубленные полуструктурированные интервью и включенное наблюдение), дополненные социолингвистическим анализом неформального онлайн-общения. Было обнаружено, что в целом для большинства хорошо образованных постсоветских мигрантов переходные, «текучие» транслингвальные практики нехарактерны, несмотря на присутствие этнических языков (Я1), русского (Я2) и иностранных языков (Я3-н) в их языковом репертуаре. Вместо этого мы наблюдаем преимущественно русскоязычное нормативное речевое поведение, отсутствие желания пересекать языковые границы и создавать гибридные лингвистические формы, по крайней мере между Я1 и Я2. Причины этого видятся авторами в советской языковой политике, продуктами которой являются выходцы из СССР, «экспортирующие» сформировавшиеся в родной стране взаимоотношения между русским и этническими языками. В статье рассмотрены некоторые из языковых идеологий и привычек, служащих барьером транслингвальности, а именно идеологии языкового пуризма и (русского) монолингвизма, а также приверженность к «стандартной языковой культуре». Уровень образования также связан с «чистым» говорением на русском — более престижном и более привычном языке, в котором опрошенные обладают наибольшей языковой компетенцией. В целом авторы приходят к выводу о том, что описанное в статье речевое поведение данной полиэтничной и многоязычной группы мигрантов является следствием габитуса — глубоко затаенных, неосознаваемых, «впечатанных» лингвокультурных привычек, унаследованных из советского опыта жизни и воспроизводящихся в жизненных практиках и за рубежом.

Ключевые слова: *транслингвальность, языковые идеологии, переключение кодов, многоязычные постсоветские мигранты, языковой пуризм, одноязычная идеология, стандартная языковая культура.*

1. Введение

Данная статья является продолжением исследования многоязычных стратегий и практик полиэтничной группы мигрантов из бывшего СССР в свете концепции транслингвальности, которая обозначает «способность многоязычных говорящих переключаться между языками, рассматривая различные языки, которые формируют их репертуар, как интегрированную систему» (Canagarajah, 2011: 401) и приобретает все большую популярность в современных исследованиях многоязычия и языковых контактов. Сама постановка проблемы происходит из наблюдений, сделанных во время полевого исследования, проведенного авторами в 2016 г. в рамках проекта «Язык и этническая идентичность нерусских иммигрантов из бывшего Советского Союза в странах Западной Европы». Целью проекта было изучение процессов (само)определения, (ре)конструкции и трансформации этнической идентичности и ее связи с языком и культурой у нерусских мигрантов из бывшего СССР (см. об этом Хилханова, Хилханов, 2021). Специфика этой группы определяется тем, что они, с одной стороны, объединены общей историей, (советской) культурой и (русским) языком, с другой стороны,

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Немецкого научно-исследовательского сообщества в рамках научного проекта № 21-512-12002 НИИО_а «Методы прогнозирования и будущие сценарии развития языковой политики (на примере многоязычной Российской Федерации)».

имеют разную этническую принадлежность и культуру. С лингвистической точки зрения каждая этническая группа многоязычна и имеет в своем языковом репертуаре как минимум три языка: этнический язык (Я1) (у некоторых только на символическом уровне), русский язык (Я2) и язык/языки принимающей страны (Я3-п).

В задачи проекта изначально не входило изучение транслингвальности, однако во время полевого исследования было заметно почти полное отсутствие переключения между языками и творческого обращения с ними. Этот факт особенно бросается в глаза на фоне довольно частотных транслингвальных стратегий и практик мигрантов в разных регионах мира (Lee, 2014; Wei, 2018; Pennycook, 2008). Знакомство с работами в этой области оставляет впечатление, что транслингвальность — неотъемлемое свойство усиливающихся миграционных потоков в эпоху, которую Ли Вей называет эрой пост-мультилингвизма (Wei, 2018: 15), а многоязычное творчество, свободное обращение с границами языков, которые объявляются (политически, исторически, идеологически и пр.) сконструированными — это сегодня доминирующая практика многоязычных говорящих. Это, с одной стороны, так, и теория транслингвальности действительно отражает современные мировые тренды. Тем не менее, сами лингвистические реалии гораздо многообразнее и не все вписываются в данную теорию. Например, языковые практики мигрантов из бывшего Советского Союза демонстрируют другой тренд, в котором не обнаруживается стремление к смешению языков, показывая тем самым, что люди могут подсознательно руководствоваться другими языковыми идеологиями и привычками.

В свете вышесказанного данная статья преследует цель выявления причин, лежащих в основе речевых практик многоязычных нерусских мигрантов первого поколения из стран бывшего Советского Союза. Эмпирический анализ и типологизация многоязычных практик постсоветских мигрантов был проведен в работе (Khilkhanova, 2021); в настоящей же статье наше внимание обращено на языковые идеологии, усвоенные в период первичной социализации и продолжающие в определенной степени руководить речевым поведением мигрантов, аккультурация которых проходила в бывшем Советском Союзе.

2. Теории транслингвальности и языковые идеологии

Языковые идеологии — системы убеждений, установок и идей, которые носители имеют о языке / языках и их связи с социальными ценностями (Woolard, 2003; Kroskrity, 2000: 5). Они также определяются как «культурные представления о природе, форме и назначении языка, а также о коммуникативном поведении как воплощении коллективного порядка» (Gal and Woolard, 1995: 30). Считается, что языковые идеологии тесно связаны с транслингвальностью, т. к. именно они являются движущей силой и источником лингвистической вариативности и создания новых гибридных «языков» людьми, находящимися на границе двух или более «миров». Поэтому транслингвальные стратегии так распространены в миграционной среде.

Действительно, теория транслингвальности, берущая свое начало в рамках педагогики, давно уже вышла за ее рамки и активно используется в современных исследованиях многоязычия и языковых контактов. Сегодня уже говорится о том, что следует различать транслингвальность в педагогическом контексте и спонтанные случаи транслингвальности, которые относятся к сложным дискурсивным практикам билингвов (см. García, 2009). Транслингвальность означает проницаемость языков, их взаимовлияние, вследствие чего возникает новое качество обогащенной лингвокультуры (Прошина, 2017: 160). Транслингвальная область характеризуется языковой размытостью, текучестью (*linguistic fluidity*) (Lee, 2014). Переключение и смешение кодов рассматриваются как одни из транслингвальных стратегий (Pennycook, 2008: 30.4). Тем не менее, транслингвальность следует отличать от переключе-

ния и смешения кодов². Разница заключается в подходе к этим явлениям: термины «смешение и переключение кодов» основываются на видении языков как отдельных систем. Соответственно, речь, где происходит смешение и переключение кодов, оценивается скорее как дефектная речь, поскольку причины этих явлений видятся в недостаточной языковой компетенции говорящего на каком-либо из используемых языков или даже на обоих. На этом основываются обозначения такой смешанной речи, как «макароническая» (Бертагаев, 1969: 127), «метисский язык». За данными эпитетами явственно видится пуристический подход к языку. Подход же к транслингвальности принципиально другой, явно позитивный: транслингвальность имеет «ярко выраженный деятельностный и речетворческий характер, представляя собой новое, творческое, трансформирующее и интегрирующее использование всех имеющихся в распоряжении билингва языковых ресурсов. Дополнительные возможности для речетворческой деятельности билингвов возникают именно в “неопределенной зоне” на границе языков» (Прошина, 2017: 161).

Поскольку, говоря о транслингвальности, мы говорим в первую очередь об индивидуальном дву- и многоязычии³, взгляд на то, что побуждает людей переключать и смешивать коды, проливает дополнительный свет на механизм транслингвальности. Факторы, которые ведут к ПК в каждом конкретном случае, можно разделить на три группы: 1) *внешние факторы*, т. е. независимые от говорящего (такие, как история, политика или демография); 2) *внутренние факторы*, т. е. привязанные к говорящему, как к личности, так и к члену группы (психолингвистические, прагматические, чувство этнической идентичности); 3) *лингвистические факторы* (такие, как отсутствие концепта на Я1, недостаточная языковая компетенция носителей Я1). С точки зрения нашей схемы транслингвальность — это переключение кодов, мотивированное внутренними, а не внешними или лингвистическими факторами. Только бессознательные или, наоборот, сознательные, целенаправленные случаи ПК, движимые изнутри, могут считаться действительно транслингвальными стратегиями. Первые ценны для (социо)лингвиста тем, что «автоматические» ПК, когда говорящий хотел бы, но не может говорить, не переключая кода, или когда смешанный код стал для него (или всего языкового сообщества) своеобразной нормой — это истинный показатель реальных процессов, протекающих в контактирующих языках. Автоматические вкрапления или переходы на другой язык могут быть вызваны психолингвистическими факторами, такими как (i) недостаточная языковая компетенция в Я1 в сочетании с более высокой языковой компетенцией на Я2; (ii) привычка говорения на одном из языков из двуязычного репертуара (стереотип речевого поведения); (iii) языковая экономия или экономия речевых усилий. И наоборот, сознательное, целенаправленное ПК обнаруживает различные интенции говорящих: например, транслингвальная стратегия смешения языков выбирается сознательно — как особый сленг — для конструирования своей групповой идентичности, в которую входит и этничность (Moustaoui, Prego, Zas, 2019; Кирилина, 2011).

² Термин *переключение кодов* используется здесь как термин с более широким значением, включающий в себя смешение кодов (см. также: Myers-Scotton, 1993, 1; Gumperz, 1982, 59). Предпочтение одного термина обусловлено также и соображениями краткости и удобства. При этом мы понимаем под смешением кодов процесс использования в речи двух (и более) кодов (языков), приобретший более или менее регулярную форму и зашедший дальше, чем просто переключение кодов. Но самым главным дифференцирующим критерием является структурно-грамматический: если не нарушены морфосинтаксические правила обоих языков — это переключение кодов (далее — ПК). Если лексемы приобретают морфологические показатели другого языка — это смешение кодов (далее — СК). Другими словами, пока сохраняется морфосинтаксическая основа того или иного кода, то мы можем говорить о ПК. Если нет — о СК.

³ Хотя, как справедливо отмечает Дж. МакСвон, язык является продуктом сообщества носителей языка, совокупностью накладывающихся друг на друга индивидуальных языков (MacSwan, 2017: 174).

3. Методология исследования

Материалом данного исследования послужили 26 интервью, записанных в ходе полевого исследования в 2016 г. в западноевропейских странах, преимущественно в Германии и Франции. С этнической точки зрения пул информантов включал бурят, якутов и казахов из двух стран — России и Казахстана. Важной характеристикой группы являлся уровень образования: почти все интервьюируемые имели высшее образование (24 человека), семеро из них — степени кандидата наук и PhD, а два человека закончили средние профессиональные учебные заведения. Соответственно, характеристики и поведенческие стратегии бурятских, казахских и якутских мигрантов определяются принадлежностью к этой категории мигрантов и, скорее всего, не могут быть экстраполированы на другие группы, например, неквалифицированных мигрантов или нелегальную трудовую миграцию.

С точки зрения языковой компетенции в Я1, Я2 и Я3-п участники полевого исследования представляли собой разнородную группу. Общим было то, что все мигранты свободно владели русским языком и обладали высокой языковой компетенцией в иностранных языках (в основном в английском) и знали о свободном владении интервьюером английским и немецким языками. Поэтому возможность коммуникативной практики, которая «размывает или прорывает видимые границы» (Blackledge, Creese, 2016: 2) между русским и иностранным языками теоретически оставалась открытой.

Тем не менее, по данным интервью и этнографического наблюдения, говорящие оставались в основном в рамках одноязычного (русскоязычного) дискурса; случаев транслингвальности было зафиксировано мало. Хотя было доказано, что интервью вполне могут быть местом для проявления свободного обращения с языками и языкового творчества⁴, возможность методической погрешности, обусловленной тем, что основным языком интервью был русский, оставалась. Выбор языка интервью был обусловлен языковой компетенцией участников: семь бурятских информантов не знали бурятского языка, а интервьюер не владел казахским и якутским языками, что исключало возможность казахско-русских и якутско-русских транслингвальных переключений (не исключено, что при внутригрупповом общении такое переключение происходило)⁵. Помимо этого, несмотря на то, что интервью проходили в непринужденной атмосфере и были приближены к естественной беседе, когда не только интервьюер, но и интервьюируемый мог задавать вопросы и свободно развивать ход своей мысли, они по определению не могут быть полностью свободным говорением. При этом известно, что транслингвальность — явление, присущее в первую очередь спонтанной речи, т. к. именно в спонтанной речи креативность многоязычных говорящих может проявить себя в полной мере (см. также García, 2009).

Поэтому впоследствии изучение транслингвальности было продолжено на другом материале — данных, полученных из анализа неформального письменного общения постсоветских мигрантов в социальных сетях. Социальные сети, такие как Facebook, являются популярным объектом исследования транслингвальных практик (Halim, Maros, 2014), т. к. представляют собой «новое, децентрализованное, мультимодальное пространство, расположенное на границе между устной и письменной речью, в котором спонтанно возникают транслингвальные практики» (Moustaoui, Prego, Zas 2019: 3).

⁴ См. интервью в книге Э. Гучиновой, где калмыцкие мигранты второй волны российской эмиграции свободно смешивают калмыцкий, русский и английский языки (Гучинова, 2004).

⁵ Языковая компетенция в Я1, Я2 и Я3 определялась на основании ответов интервьюируемых (self-reports). Со стороны интервьюера, свободно владевшего бурятским языком, были попытки вести разговор на нем с бурятскими информантами, но большинство из них не могло поддерживать на нем более или менее продолжительную беседу. Предпочтение русского языка как языка коммуникации формулировалось, например, как «у меня не так хорошо, как у вас» (В., ж., 32 года, Германия).

Объектом исследования стали семь групп из социальных сетей в Facebook и Instagram. В целом, были проанализированы речевые практики следующих интернет-сообществ: «Kalmyks in USA / Калмыки в США», которая объединяет 3 000 членов, sakhadiaspora.official в Instagram с 2 695 подписчиками и сообщество 'Sakha Diaspora' в Facebook (171 последователь), «Tatars in USA» (973 члена) и три бурятские группы в Facebook ('Vstrechi v Evrope', 'Buryat House, USA' и 'Buryat connection UK' с 1 600 членами в совокупности). Все социальные сети были рассмотрены за период с 2016 г. по июнь 2021 г., за исключением страницы Sakha Diaspora в Facebook, которая была создана 11 декабря 2020 г., и группы «Tatars in USA», речевые практики которой анализируются за 5 месяцев (с сентября 2021 г. до февраля 2022 г.) ввиду большого количества постов.⁶ Заметим, что при анализе учитывались только посты, созданные самими участниками; перепосты видео, публикаций других авторов, материалов СМИ не учитывались ввиду того, что они не отражают напрямую языковые практики самих участников данных групп. Конечно, перепосты косвенно отражают языковые компетенции и предпочтения тех, кто их размещает у себя на «стене». Например, размещение ссылки на видео на татарском языке может свидетельствовать о владении данным интернет-пользователем татарским языком, но это может быть и пассивное владение, не отражающее способность автора поста к речепроизводству на Я1.

Объем языкового материала составил 101 случай ПК и СК при устном говорении (интервью), что немного, учитывая, что продолжительность интервью составляла в среднем один час. При этом собственно речевые, т. е. протяженные фрагменты на другом языке составляют не больше половины зафиксированных нами случаев ПК и СК; половину представляли собой *вкрапления* Я1 и Я3-н на уровне отдельных лексем в преимущественно русскоязычный дискурс. Мы интерпретируем вкрапления как частные случаи ПК (см. об этом также: Майерс-Скоттон, 1993: 163).

4. Транслингвальные практики и языковые идеологии постсоветских нерусских мигрантов

Анализ собранного материала — записей как устной речи в интервью, так и неформального письменного общения в социальных сетях — показывает, что транслингвальные переходы и творческое обращение со всеми языками коммуникативного репертуара мигрантов в целом немногочисленны, особенно при устном общении. В спонтанном онлайн-общении мигрантов из бывшего СССР присутствует больше транслингвальных практик и языковой игры. Тем не менее, и в социальных сетях язык коммуникации в основном русский. Также видно, что частота использования Я1 в социальных сетях вариативна: в татарских и якутских группах этнические языки используются шире, чем в социальных сетях калмыцких и бурятских мигрантов. Это отражает степень сохранности и частоту использования данных языков и в России: языки, благополучные оффлайн, широко используются и онлайн, в том числе и в социальных сетях. Это свидетельствует о том, что интернет не создает новую реальность, он лишь отражает сложившуюся в стране ситуацию с теми или иными языками (подробнее см. об этом: Хилханова, 2019).

⁶ Обращение к виртуальной этнографии накладывает дополнительные этические соображения, хотя большая часть интернет-коммуникации считается публичной ввиду бесплатности и общедоступности. Как и в других исследованиях, в которых использовались данные из социальных сетей (Kliuchnikova 2016), наш подход также заключался в том, чтобы избегать использования любых материалов, к которым нельзя было получить свободный доступ без специального разрешения авторов. Тем не менее, цитируемые авторы обозначены только инициалами с указанием названия группы и даты поста. Орфография и пунктуация даны без изменений. В примерах из интервью у информантов указывается возраст, пол и страна проживания.

Выявленные ПК и СК можно сгруппировать по следующим категориям (ввиду ограниченности формата статьи приводится по одному-два примера для каждой категории)⁷:

- безэквивалентная лексика (при описании культурно-специфических реалий) или слова, которым говорящий не смог сразу найти переводческий эквивалент или не захотел тратить речевые усилия на это: «А самое-то интересное было, что дети иногда приезжали, и заходили вот так за порог, да, и мы, значит, с ними здороваемся, я в бурятском всегда была, *буряад дэгэлтэй, гутал*⁸, *малгайгаа хуу үмдөөд*» («в бурятском дэгэле, обувь, шапку, всё надев»)⁹ (Д., ж., 56 лет, Германия);
- клишированные этикетные формулы (например, приветствия): «*Хальмгуд, мөндүт!*» («Здравствуйте, калмыки!») кто в США, добавляйтесь! Давайте общаться» (А., «Kalmuks in USA / Калмыки в США», 20.03.2019);
- передача чужой речи: «Они говорят: *Sie sind doch hier geboren* («они же здесь родились»), то есть они себя чувствуют себя как дома» (С., ж., 25 лет, Нидерланды);
- тема коммуникации: «Могу *буряадар дуугарха*» («разговаривать по-бурятски») (Р., ж., 48 лет, Германия);
- внешне немотивированные интрасентенциальные ПК: Какие *desired outcomes*? («ожидаемые результаты?») (Д., ж., 32 года, Швейцария);
- внешне немотивированные интерсентенциальные ПК: «*Ый, матурлар инды!!!*» («Ой, такие красивые!») Татары — вперед! Вот так надо показывать то, что мы, татары, прекрасный народ, а не руганью с другими. *Болаларым* («дети наши»), молиться будем за вас» (З., «Tatars in USA», 07.01.2022);
- языковое творчество, языковая игра: «*Мин сине яратам* («я тебя люблю») а приходи к воротам» (С., «Tatars in USA», 22.10.2021). (Больше примеров ПК и СК в речи мигрантов см. в: Khilkhanova, 2021).

Согласно нашему подходу, о котором говорилось в разделе 2, ПК и СК происходят под действием внешних, внутренних и собственно лингвистических факторов. Использование другого языка для обозначения реалий соответствующей культуры, клишированные этикетные формулы, цитирования и тема коммуникации являются хорошо известными и частотными лингвистическими факторами ПК (подробнее об этом см.: Хилханова, 2009). Переключения между языками, вызванные чисто лингвистическими причинами (напр., вкрапления безэквивалентной лексики) или недостаточной языковой компетенцией в Я1 (напр., приветствия на Я1 в речи на Я2), т. е. дефицитом языковых ресурсов, являются ПК, но не транслингвальностью.

Как уже говорилось, только немотивированные, бессознательные или, наоборот, сознательные, целенаправленные случаи ПК могут, на наш взгляд, считаться подлинно транслингвальными стратегиями. Вот пример «автоматического», бессознательного ПК: «Тут можешь сесть в ресторан **рандомно** и у тебя за соседним столом будут сидеть русские, в пабе будут русские, то есть чувствовать *homesick* — нету здесь». (К., 28, Великобритания). В этой фразе английское вкрапление *homesick* представляет собой форму без аффикса матричного языка — *bare form* (Myers-Scotton 2006). Среди зафиксированных случаев ПК *bare forms* («голые формы») используются гораздо чаще, чем слова типа «рандомно», где английская корневая морфема снабжается аффиксом матричного языка — русским наречным суффиксом -о. Использование «голых форм», не нарушающих грамматику кодовых переключений, норматив-

⁷ Условные обозначения в языковых примерах: курсив — этнический язык (Я1), стандартный шрифт — русский язык (Я2), подчеркивание — английский, немецкий языки (Я3-п), жирный шрифт — транслингвальные формы.

⁸ Дэгэл — бурятский национальный костюм, по крою напоминающий халат; гутал — бурятская национальная обувь с загнутыми вверх носками (примеч. Э. Хилхановой).

⁹ Здесь и далее переводы с Я1 и Я3-п Хилхановой Э. В.

ность и «чистоту» матричного (русского) языка примечательно в контексте нашего исследования (подробнее см. об этом далее).

Сознательное, игровое ПК представляет собой фраза из бурятских социальных сетей «А ты **хамагуист**? :)», где обыгрывается популярное бурятское выражение “хама үгы” ‘все равно, без разницы’. Присоединение продуктивного русского суффикса -ист образует транслингвальный окказионализм со значением ‘человек, которому все равно’. Морфосинтаксическую основу фразы «А ты **хамагуист**?» предоставляет русский язык, являясь, как и в предыдущем примере, матричным языком. Приведенный выше пример «*Мин сине яратам* а приходи к воротам» также представляет собой языковое творчество с интерсентенциальным ПК, где фраза на татарском языке рифмуется с фразой на русском и является частью частушки «*Мин сине яратам, приходи к воротам. Не придешь к воротам — все равно яратам*».

В целом, наши данные подтвердили, что для мигрантов первого поколения из бывшего Советского Союза русский язык играет роль коллективного объединителя иммигрантского сообщества, и его прагматическая ценность аналогична той, которой он обладал в СССР. Несмотря на гетерогенность речевых практик и языковых компетенций изученной группы мигрантов, большинство, однако, демонстрирует «чистую», грамматически правильную и не смешанную русскую речь и остается в преимущественно молингвальном русскоязычном модусе как онлайн, так и офлайн даже в «этнических» социальных сетях и при общении с соотечественниками той же этничности. Мы полагаем, что это обусловлено во многом языковыми идеологиями, о которых и пойдет речь далее.

Языковые идеологии как любые ментальные образования представляют собой сложность для исследователя ввиду их неявной представленности в речи и неосознаваемости для самих участников. Например, в следующем фрагменте интервью информантка говорит о своем переключении кодов между русским и немецким языками и оценивает свое ПК как недостаток: «А в целом если брать, я чувствую себя свободнее, когда на русском, потому что я лучше могу сформулировать свои фразы и выразиться точнее. То, что переключаюсь — это печально» (Е., ж., 26 лет, Германия).

Нам представляется, что в этой оценке манифестировано разделяемое многими россиянами нормативное представление о чистоте языка. Пуризм и прескриптивные языковые идеологии очень характерны для языковой культуры российского общества. Как пишет К. Пишлөгер, «Хотя языковой пуризм или “прескриптивизм” не ограничивается Россией, Россия принадлежит к “стандартной языковой культуре” [...], в которой [...] существует мнение, что одна разновидность языка имеет изначально более высокую ценность, чем другие, и что это должно быть навязано всему речевому сообществу [...]». Такая позиция особенно верна в отношении русского языка, но эти идеи и стандарты переносятся филологами и носителями удмуртского и других миноритарных языков в России на их родной язык (языки)» (Pischlöger, 2016: 112). К. Пишлөгер также пишет о том, что эти прескриптивные и пуристические установки обусловили почти исключительный научный интерес к стандартизованному современному литературному языку (Pischlöger, 2016: 114). Добавим, что в советское время научного интереса удостоивались только «высокие» сферы, такие как язык художественной литературы, а «низкие» сферы, такие как язык «желтой» прессы, разговорный язык, обценная лексика и т. п., стали объектами лингвистических исследований начиная только с последних десятилетий XX века.

Во многом такие нормативные языковые установки берут свое начало в российской школе, где доминирует нормативный аспект языка, модус долженствования, предписания, а также «орфографоцентризм» — важнейшая черта российского лингвистического мышления (Голев, 2002). «Стремление к ‘воздержанию от ошибок’, доведенное у нас до какого-то абсолюта, становится тормозом развития речи, должного приводить к свободному, творческому выражению мысли (достаточно вспомнить советы опытных учителей и репетиторов своим

подопечным — избегать фраз, в безошибочном написании которых они не уверены» (Голев, 2002: 190).

Поэтому не удивительно, пожалуй, что транслингвальная свобода, творческое обращение с языками, по определению нарушающее их правильность и «чистоту», не распространено в массовом языковом сознании советских и постсоветских граждан. Конечно, это утверждение не абсолютно, и лингвокреативное обращение с русским языком — частое явление как среди профессионалов, так и людей, чья работа не связана с языками. Однако для очень большого количества людей, особенно образованных, правильность абсолютизируется, догматизируется, сакрализуется (Голев, 2002: 184). Этим объясняются и многочисленные дебаты о «порче» русского языка под влиянием английского, которые также свидетельствуют о том, что языковой пуризм является одной из распространенных языковых идеологий в России.

Схожие результаты были получены в исследовании П. Ключниковой (2016), объектом изучения которой стали русскоговорящие мигранты на северо-западе Англии. Автор пишет, что, несмотря на ее первоначальные предположения, в ходе полевой работы она обнаружила очень мало свидетельств каких-либо «людических» инициатив среди исследуемой группы, по крайней мере, с использованием лингвистических ресурсов английского и русского языков. Ключникова объясняет редкость случаев языковой игры среди русскоязычных мигрантов несколькими причинами, включая их малочисленность, нерегулярные контакты и общую неподготовленность к творческим экспериментам. Однако в качестве одного из краеугольных камней поддержания таких языковых практик автор называет набор установок по отношению к языку (языкам) и нормативное языковое поведение самих двуязычных носителей (Kliuchnikova, 2016: 277). Наиболее влиятельной языковой установкой, по мнению Ключниковой, является восхищение носителей русского языка высокостандартизированной, «классической» литературной нормой русского языка, которая доминирует над любым стремлением исследовать двуязычные границы. Чувство принадлежности к «русскоязычному континууму» благодаря общим нормам и практикам оставляет мало места для двуязычных маневров на периферии. Редкие контрпримеры иллюстрируют эту точку зрения, создавая слабый контраст с более широкой творческой пассивностью и инертностью (там же: 271).

Первое поколение мигрантов, родившихся и выросших в Советском Союзе и прошедших через унифицированную русскоязычную систему образования и культурно-языковую ассимиляцию, несет в себе и воспроизводит в своих жизненных практиках статус русского языка и культуры в СССР. Очень во многом эти практики подпадают под определение габитуса, в частности в том, что они не только объективно гомогенизированы (в плане всеобщей унификации государственной идеологии и языковой политики в советское время), но и представляют собой субъективно интериоризованную систему структур, общих схем восприятия, представления и действия (Бурдые, 1998). Как и подобает габитусу, он самовоспроизводится во всем, включая и воспитание детей. Вот, например, отрывок из интервью одной из бурятских информанток: «В Голландии, в Бельгии много живут. Это в основном буряточки, которые вышли замуж именно здесь, за европейцев. А мы-то с Х (называет имя мужа — Э. Х.) оба приехали из России. <...> У них-то проблема еще сложнее была привлечь детей к бурятской культуре. *К русской хотя бы культуре, не говоря там о бурятской* (выделено мною — Э. Х.). <...> Дети до сих пор в обиде, что я их не обучила <бурятскому языку>. Я говорю: *вы бы хоть рады были тому, что русский знаете и читаете* (выделено мною — Э. Х.), потому что многие дети, которые приехали в этом возрасте в Германию среди русских немцев и русских евреев, они ни читать, ни писать не умеют, потому что сразу пошли в немецкую школу, и всё. *Это потому что мы родители академики*¹⁰, мы их обучили сами. Но и конечно роди-

¹⁰ Слово «академик» представляет собой транслитерированную немецкую лексему *Akademiker*, имеющую значение 'человек с высшим (университетским) образованием'.

тели мужа (выделено мною — Э. Х.), потому что у них библиотека была, папа читал, в «Что? Где? Когда?» он все ответы давал, всегда выигрывал, и для них это была просто трагедия, что мы уехали. <...> Но Пушкина они любят. И Пушкина, потому что деда нам давал несколько томов сразу, да, на каникулы приедете, я буду им читать. Или вы не уедете, я их не отпущу в Германию. Поэтому это задание было именно родителям, чтобы именно их учить русскому языку» (Д., ж., 56 лет, Германия).

В этом отрывке прямо или косвенно отражен ряд представлений об эритажном языке и культуре, довольно типичных для хорошо образованных постсоветских мигрантов. Мы наблюдаем здесь и пиетет перед русской (классической) литературой и культурой, и осознание ее ценности и необходимости дальнейшей передачи, и знакомый каждому советскому человеку культ Пушкина¹¹. Упоминающаяся здесь трудность передачи этнической культуры и языка (в данном случае бурятского) также обусловлена габитусом в том плане, что привычные жизненные практики еще в родной стране протекали в русскоязычном пространстве, а габитус «как приобретенная система порождающих схем делает возможным свободное продуцирование любых мыслей, восприятий и действий, вписанных в границы, свойственные особым условиям производства данного габитуса и только им» (Бурдые, 1998: 46–47).

5. Результаты и обсуждение

В данном исследовании были рассмотрены речевые практики хорошо образованной полиэтнической и многоязычной группы мигрантов из бывшего СССР в Западной Европе с точки зрения транслингвальности. Анализ интервью, данных этнографического наблюдения и языка мигрантских социальных сетей выявил мало транслингвальных стратегий и практик; фактически вместо транслингвальности был сделан как осознанный, так и неосознанный выбор в пользу русского языка. Тому, конечно, много причин: внешних, внутренних и собственно лингвистических. Среди внешних можно назвать малую численность, нерегулярные контакты и рассредоточенное проживание русскоязычных мигрантов, включая бурят, казахов и якутов. Лингвистические причины, в первую очередь недостаточная языковая компетенция в Я1, также важны. Но наряду с ними, основной причиной замены транслингвальности языковой ассимиляцией является то, что мигранты первого поколения из стран бывшего СССР — продукты советской языковой политики. Поэтому они, помимо «экспорта» своего лингвистического репертуара, экспортируют и сформировавшиеся в родной стране взаимоотношения между Я1 и Я2. Как и в стране исхода, так и за рубежом Я2 удовлетворяет потребность во взаимопонимании, являясь «языком межнационального общения» полиэтнической группы мигрантов из бывшего СССР. Другими словами, в плане языка «всё уже случилось» еще в родной стране, и для первого поколения мигрантов мало что изменилось и за рубежом. Тем не менее, некоторые изменения в плане освобождения от языковых предрассудков, гордости за свой этнический язык и культуру и усиление интереса к ним, желание «вернуть» себе Я1 отмечаются многими информантами; некоторыми предпринимаются и действия по освоению Я1.

Распространенность в массовом сознании советских людей и нынешних россиян идеологии языкового пуризма и «идеологии одноязычия», т. е. русского монолингвизма, является одной из причин нежелания или отсутствия потребности переходить границы языков и создавать гибридные формы. Речевые практики постсоветских мигрантов, сложившиеся под влиянием вышеописанных языковых идеологий, входят в противоречие с тем, что обычно лежит в основе транслингвальных практик, когда даже дефицит языковых ресурсов в каком-либо из языков не препятствует свободному перемещению говорящего между языками и

¹¹ Об официальном культе Пушкина и создании «ключевой культурной идеологемы Пушкин» прекрасно сказано в (Гусейнов, 2004).

культурами. Транслингвальность предполагает определенную внутреннюю свободу выражения без привычки к неупотреблению или даже подсознательному блокированию какой-либо части языкового репертуара говорящего, что является следствием габитуса — глубоко затаенных, неосознаваемых, «впечатанных» привычек, наследуемых из советского опыта жизни.

Конечно, бывает и наоборот: транслингвальность может быть подвижна и прямо противоположными мотивами: осознание (языкового) неравенства и протест против него побуждают человека к провокации, агрессии, созданию искусственных «языков», как это показано в известной в Германии книге Ф. Займоглы «Kanak Sprak», где личность «сконструирована в новом идиоме, способном “приютить” нестабильные идентичности до достижения равенства» (Nürrauf, 2004: 18). При отсутствии таких протестных мотивов человек, особенно прошедший все уровни русскоязычной системы образования, автоматически репродуцирует усвоенные в молодом возрасте моноязычные паттерны «чистого» говорения на более престижном и более привычном языке, где он/она к тому же обладает наибольшей языковой компетенцией.

Контроль сознания, запрещающий делать ошибки, нормативное лингвистическое поведение связаны и с тем, что все высокообразованные мигранты выросли на классической русской литературе и впитали в себя ценности русской «стандартной языковой культуры». Таким образом, общий культурный уровень человека также не способствует нелитературному, ненормативному, провокационному обращению с языками.

В заключение необходимо отметить, что, ограниченные форматом статьи, мы рассмотрели только часть причин, обуславливающих языковые практики мигрантов из данного региона. Хотелось бы надеяться, что результаты данного исследования смогут внести вклад в дискуссию о транслингвальности, показывая, как языковые идеологии, являющиеся частью более крупных государственных идеологий, могут служить барьером транслингвальности.

Литература:

- Бертагаев Т. А.** К вопросу о взаимовлиянии языков (о монголизмах и двуязычии) // Взаимодействие и взаимобогащение языков народов СССР. М.: Наука, 1969.
- Бурдые П.** Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Том 1, № 2. С. 44–59.
- Голев Н. Д.** Современная ментально-языковая ситуация в аспекте взаимоотношения ее лингвистического и лингводидактического аспектов // Голев Н. Д. (ред.). Естественная письменная русская речь: исследовательский и образовательный аспекты. Теория и практика современной письменной речи: материалы конф. Барнаул: Изд-во Алт. гос. университета, 2002. С.178–192.
- Гусейнов Г. Ч.** Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х. М.: Три квадрата, 2004.
- Гучинова Э.-Б.** Улица Kalininsk road. История, культура и идентичности калмыцкой общины США. С.-Петербург: Алетей, 2004.
- Кирилина А. В.** Контакт языков в немецком языковом пространстве // Вестник Московской международной академии. 2011. 2. С. 36–45.
- Прошина З. Г.** Транслингвизм и его прикладное значение. RUDN Journal of Language Education and Translingual Practices. 2017. 14 (2). С. 155–170.
- Хилханова Э. В., Хилханов Д. Л.** Феномен этнического самоопределения в социально-философском аспекте (на примере бурятской интеллектуальной миграции в Западную Европу) // Вестник МГПУ. Серия «Философские науки». 2021. № 4 (40). С. 20–36. DOI: 10.25688/2078-9238.2021.40.4.02.
- Хилханова Э. В.** Факторы языкового сдвига и сохранения миноритарных языков: дискурсный и социолингвистический анализ (на примере языковой ситуации в этнической Бурятии). Дис. ... д-ра филол. наук. Барнаул: Алтайский государственный университет, 2009.
- Хилханова Э. В.** Интернет и миноритарные языки России: символическое присутствие или инструмент ревитализации? (на примере бурятского языка) // Монголоведение. 2019; 19 (4): 967–988. <https://doi.org/10.22162/2500-1523-2019-4-967-988>.

- Blackledge A., Creese A.** Translanguaging as Cultural and Cosmopolitan Competence. IALIC 2016 Keynote presentation. Book of Abstracts IALIC 2016 Barcelona. 2016. Barcelona, 25–27 November 2016. P. 2.
- Canagarajah S.** Codemeshing in Academic Writing: Identifying Teachable Strategies of Translanguaging // *Modern Language Journal*. 2011. 95. P. 401–417.
- Gal S., Woolard K.** Constructing Languages and Publics: Authority and Representation. *Pragmatics*. 1995. Vol. 5. Iss. 2. P. 129–138.
- García O.** Education, multilingualism and translanguaging in the 21st century // *Multilingual Education for Social Justice: Globalising the Local*. Edited by A. Mohanty Minati Panda, R. Phillipson, T. Skutnabb-Kangas. New Delhi: Orient Blackswan (former Orient Longman), 2009. P. 128–145.
- Gumperz J. J.** Discourse strategies. New York: Cambridge University Press, 1982.
- Halim N. S., Maros M.** The Functions of Code-switching in Facebook Interactions // *Procedia — Social and Behavioral Sciences*. 2014. 118. P. 126–133. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.02.017.
- Hüppauf B.** Globalization — Threats and Opportunities // Edited by A. Gardt, B. Hüppauf. *Globalization and the future of German*. Berlin, Mouton de Gruyter, 2004. P. 3–25.
- Khilkhanova E.** Language ideologies and multilingual practices of post-soviet migrants in Western Europe from a translanguaging perspective // *Balkanica et Slavica. Studi linguistici | Studies in linguistics*. 2021. Vol. 1, no. 1. P. 01–30. DOI: 10.30687/BES/0/2021/01/000.
- Kliuchnikova P.** *Linguistic Biographies & Communities of Language of Russian Speakers in Great Britain* [PhD Dissertation]. Durham: Durham University, 2016. URL: <http://etheses.dur.ac.uk/11374>.
- Kroskrity P. V.** Regimenting Languages: Language Ideological Perspectives. Edited by P. V. Kroskrity. *Regimes of Language: Ideologies, Politics, and Identities*. Santa Fe: School of American Research Press, 2000. P. 1–34.
- Lee J. W.** Transnational linguistic landscapes and the transgression of metadiscursive regimes of language. *Critical Inquiry in Language Studies*. (2014). Vol. 11. № 1. Pp. 50–74.
- MacSwan J.** A Multilingual Perspective on Translanguaging // *American Educational Research Journal*. 2017. 54 (1). P. 167–201. <https://doi.org/10.3102/0002831216683935>.
- Moustaoui Srhir A., Prego Vázquez G., Zas Varela L.** Translingual Practices and Reconstruction of Identities in Maghrebi Students in Galicia // *Languages*. 2019. 4, 3 (63). <https://doi.org/10.3390/languages4030063>.
- Myers-Scotton C.** Duelling Languages. Grammatical Structure in Code-Switching. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Myers-Scotton C.** *Multiple voices: an introduction to bilingualism*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
- Pennycook A.** Translingual English // Edited by F. Sharifian and M. Clyne. *Australian Review of Applied Linguistics, International Forum on English as an International Language, special forum issue*. 2008. Vol. 32. No. 3. P. 30.1–30.9.
- Pischlöger C.** Udmurt on Social Network Sites: A Comparison with the Welsh Case // Edited by R. Toivanen, J. Saarikivi. *Linguistic Genocide Or Superdiversity? New and Old Language Diversities*. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters, 2016. Vol. 14. P. 108–132.
- Wei L.** Translanguaging as a Practical Theory of Language // *Applied Linguistics*. 2018. Vol. 39. Issue 1, February. P. 9–30. <https://doi.org/10.1093/applin/amx039>
- Woolard K.** We Don't Speak Catalan Because We Are Marginalized: Ethnic and Class Connotations of Language in Barcelona // Edited by R. K. Blot. *Language and Social Identity*. Westport, CT: Praeger Publishers, 2003. P. 85–103.

Источники:

- Kalmyks in USA / Калмыки в США. Facebook group¹². URL: <https://www.facebook.com/groups/592230780861766>.
- sakhadiaspora.official. Instagram account. URL: <https://www.instagram.com/sakhadiaspora.official/>
- Sakha Diaspora community organization. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/search/top?q=sakha%20diaspora>
- Vstrechi v Evrope. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/groups/234021900027332>
- Buryat House, USA. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/groups/124380160944409>
- Buryat connection UK. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/groups/131338459318>
- Tatars in USA. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/groups/280824939305719>

¹² С 21 марта 2022 г. социальные сети Facebook и Instagram признаны в РФ частью экстремистской организации.

Хилханова Эржен Владимировна, доктор филологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языкознания РАН.

Пер. Большой Кисловский, д. 1, стр. 1, г. Москва, 125009.

E-mail: erzhen.khilkhanova@iling-ran.ru

Хилханов Доржи Львович, доктор социологических наук,
профессор кафедры философии и социальных наук.

**Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования г. Москвы
Московский городской педагогический университет.**

Проезд 2-й Сельскохозяйственный, д. 4, г. Москва, Россия, 129226.

E-mail: khilkhanovdl@mgpu.ru

Материал поступил в редакцию 2 апреля 2022 г.

E. V. Khilkhanova, D. L. Khilkhanov

LANGUAGE IDEOLOGIES IN SPEECH PRACTICES OF MULTILINGUAL POST-SOVIET MIGRANTS AS A BARRIER TO TRANSLANGUAGING

The main purpose of the article is to uncover and analyze language ideologies underpinning multilingual practices of non-Russian first-generation migrants from the former Soviet Union from a translanguaging perspective. The article uses data collected by the authors during a 3-month ethnographically-oriented field study in Western European countries (in-depth semi-structured interviews and participant observation) supplemented by sociolinguistic analysis of informal online communication. It was found that fluid, translanguaging practices are generally not characteristic for the majority of well-educated post-Soviet migrants, despite the presence of ethnic languages (L1), Russian (L2) and foreign languages (L3-n) in their linguistic repertoire. Instead, we observe predominantly Russian normative speech, lack of desire to cross language boundaries and create hybrid linguistic forms, at least between L1 and L2. The authors see the reasons for this in the Soviet language policy, which products the immigrants from the USSR are “exporting” the relationship between Russian and ethnic languages formed in their home country. The article examines some of the language ideologies and habits that serve as a barrier to translanguaging, namely the ideology of language purism and (Russian) monolingualism, as well as adherence to the “standard language culture”. The level of education is also associated with “pure” speaking in Russian — the more prestigious and more familiar language in which the respondents have the greatest linguistic competence. In general, the authors come to the conclusion that the speech behavior of this polyethnic and multilingual group of migrants described in the article is a consequence of a habitus — deeply hidden, unconscious, “imprinted” linguistic and cultural habits inherited from the Soviet experience and reproduced in life practices abroad.

Keywords: *translanguaging, code switching, language ideologies, multilingual post-Soviet migrants, linguistic purism, monolingual ideology, standard language culture.*

References:

- Bertagayev T. A.** K voprosu o vzaimovlijanii jazykov (o mongolizmah i dvujazychii) [About the Mutual Influence of Languages (on Mongolisms and Bilingualism)] // *Vzaimodejstvie i vzaimobogashhenie jazykov narodov SSSR* [Interaction and Mutual Enrichment of the Languages of the Peoples of the USSR]. Moscow: Nauka, 1969. P. 121–125.
- Blackledge A., Creese A.** Translanguaging as Cultural and Cosmopolitan Competence. IALIC 2016 Keynote presentation // *Book of Abstracts IALIC 2016 Barcelona* (Barcelona, 25–27 November 2016). P. 2.
- Bourdieu P.** Struktura, gabitus, praktika [Structure, habitus, practice] // *Zhurnal sociologii i social'noj antropologii* [Journal of Sociology and Social Anthropology]. 1998. Vol. 1, № 2. P. 44–59.

- Canagarajah S.** Codemeshing in Academic Writing: Identifying Teachable Strategies of Translanguaging // *Modern Language Journal*. 2011. # 95. P. 401–417.
- Gal S., Woolard, K.** Constructing Languages and Publics: Authority and Representation // *Pragmatics*. 1995. Vol. 5, Iss. 2. P. 129–138.
- García O.** Education, multilingualism and translanguaging in the 21st century // *Multilingual Education for Social Justice: Globalising the Local*. Edited by A. Mohanty Minati Panda, R. Phillipson, T. Skutnabb-Kangas. New Delhi: Orient Blackswan (former Orient Longman), 2009. P. 128–145.
- Golev N. D.** Sovremennaja mental'no-jazykovaja situacija v aspekte vzaimootnoshenija ee lingvisticheskogo i lingvodidakticheskogo aspektov [The Modern Mental and Linguistic Situation in the Aspect of the Relationship Between its Linguistic and Linguodidactic Aspects] // Golev N. D. (ed). *Estestvennaja pis'mennaja russkaja rech': issledovatel'skij i obrazovatel'nyj aspekty* [Natural Written Russian speech: Research and Educational Aspects]. Part. 2: Teorija i praktika sovremennoj pis'mennoj rechi: materialy konf. [Theory and Practice of Modern Written Speech: Conference Proceedings]. Barnaul: Izd-vo Alt. gos. universiteta, 2003. P. 178–192.
- Guchinova E.-B.** Ulitsa Kalmuck road. Istorija, kul'tura i identichnosti kalmyskoj obsh'iny SShA [The Street Kalmyck road. History, Culture and Identities in the Kalmyk Community of the USA]. St.-Petersburg: Aleteiya, 2004.
- Gumperz J. J.** *Discourse strategies*. New York: Cambridge University Press, 1982.
- Gusejnov G. Ch.** Sovetskie ideologemy v russkom diskurse 1990-kh [Soviet ideologems in the Russian Discourse of the 1990s]. M.: Tri kvadrata, 2004.
- Halim N. S., Maros M.** The Functions of Code-switching in Facebook Interactions // *Procedia — Social and Behavioral Sciences*. 2014. # 118. P. 126–133. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.02.017
- Hüppauf B.** Globalization — Threats and Opportunities // Edited by A. Gardt, B. Hüppauf. *Globalization and the future of German*. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004. P. 3–25.
- Khilkhanova E. V., Khilkhanov D. L.** The Phenomenon of Ethnic Self-determination in the Socio-philosophical Aspect (on the Example of Buryat Intellectual Migration to Western Europe) // *MCU Journal of Philosophical Sciences*. 2021. 4 (40). P. 20–36. <https://doi.org/10.25688/2078-9238.2021.40.4.02>
- Khilkhanova E. V.** *Faktory jazykovogo sdviga i sokhraneniya minoritarnykh jazykov: diskursnyy i sotsiolingvisticheskiy analiz (na primere jazykovoy situatsii v etnicheskoy Buryatii)* [Factors of Language Shift and Minority Languages Maintenance: Discourse and Sociolinguistic Analysis (on the Example of Language Situation in Ethnic Buryatia)]. Habil. thesis. Barnaul: Altaj State University, 2009.
- Khilkhanova E. V.** The Internet and Minority Languages of Russia: Symbolic Presence or a Revitalization Tool? (a Case Study of the Buryat Language). *Mongolian Studies*. 2019; 11 (4): 967–988. (In Russ.) <https://doi.org/10.22162/2500-1523-2019-4-967-988>.
- Khilkhanova E.** Language ideologies and multilingual practices of post-soviet migrants in Western Europe from a translanguaging perspective // *Balcania et Slavia. Studi linguistici | Studies in linguistics*. 2021. Vol. 1, no. 1. P. 01–30. DOI: 10.30687/BES/0/2021/01/000.
- Kirilina A. V.** Kontakt jazykov v nemeckom jazykovom prostranstve [Language Contacts in the German Language Space] // *Vestnik Moskovskoj mezhdunarodnoj akademii* [Bulletin of the Moscow International Academy]. 2011. 2. P. 36–45.
- Kliuchnikova P.** *Linguistic Biographies & Communities of Language of Russian Speakers in Great Britain* [PhD Dissertation]. Durham: Durham University, 2016. URL: <http://etheses.dur.ac.uk/11374>.
- Kroskrity P. V.** Regimenting Languages: Language Ideological Perspectives // Edited by P. V. Kroskrity. *Regimes of Language: Ideologies, Politics, and Identities*. Santa Fe: School of American Research Press. 2000. P. 1–34.
- Lee J. W.** Transnational linguistic landscapes and the transgression of metadiscursive regimes of language // *Critical Inquiry in Language Studies*. 2014. Vol. 11. № 1. P. 50–74.
- MacSwan J.** A Multilingual Perspective on Translanguaging // *American Educational Research Journal*. 2017. 54 (1). P. 167–201. <https://doi.org/10.3102/0002831216683935>.
- Moustaoui Shrir A., Prego Vázquez, G., Zas Varela, L.** Translingual Practices and Reconstruction of Identities in Maghrebi Students in Galicia // *Languages*. 2019. 4, 3 (63). <https://doi.org/10.3390/languages4030063>.
- Myers-Scotton C.** *Duelling Languages. Grammatical Structure in Code-Switching*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Pennycook A.** Translingual English // Edited by F. Sharifian and M. Clyne. *Australian Review of Applied Linguistics, International Forum on English as an International Language, special forum issue*. 2008. Vol. 32, No. 3. P. 30.1–30.9.
- Pischlöger C.** Udmurt on Social Network Sites: A Comparison with the Welsh Case // Edited by R. Toivanen, J. Saarikivi. *Linguistic Genocide Or Superdiversity? New and Old Language Diversities*. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters, 2016. Vol. 14. P. 108–132.

- Proshina Z. G.** Translingvizm i ego prikladnoe znachenie [Translingualism and its Application] // RUDN Journal of Language Education and Translingual Practices. 2017. 14(2). P. 155–170
- Wei L.** Translanguaging as a Practical Theory of Language // Applied Linguistics. 2018. Vol. 39, Issue 1, February. P. 9–30. <https://doi.org/10.1093/applin/amx039>.
- Woolard K.** We Don't Speak Catalan Because We Are Marginalized: Ethnic and Class Connotations of Language in Barcelona // Edited by R. K. Blot. Language and Social Identity. Westport, CT: Praeger Publishers, 2003. P. 85–103.

Sources:

Kalmyks in USA / Калмыки в США. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/groups/592230780861766>.
sakhadiaspora.official. Instagram account. URL: <https://www.instagram.com/sakhadiaspora.official/>
Sakha Diaspora community organization. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/search/top?q=sakha%20diaspora>
Vstrechi v Evrope. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/groups/234021900027332>
Buryat House, USA. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/groups/124380160944409>
Buryat connection UK. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/groups/131338459318>
Tatars in USA. Facebook group. URL: <https://www.facebook.com/groups/280824939305719>

Khilkhanova Erzhen Vladimirovna, doctor of science (philology), associate professor, leading research fellow.

RAS, Institute of Linguistics.

1 Bolshoi Kislovskij lane, build. 1, Moscow, Russia, 125009.

E-mail: erzhen.khilkhanova@iling-ran.ru

Khilkhanov Dorzhi Lvovich, doctor of science (sociology), professor of the department of philosophy and social sciences.

Moscow City University.

4 Second Agricultural passage, Moscow, Russia, 129226.

E-mail: khilkhanovdl@mgpu.ru

М. Д. Чертыкова

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СЧАСТЬЕ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ СИБИРИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ)

Статья посвящена выявлению и семантико-когнитивному описанию базовых лексем в тюркских языках Сибири, включённых в концептуальное пространство *счастье*. Выделенные рамки рассмотрения объекта исследования, именуемые как концептуальное пространство, мы понимаем как совокупность (или понятийное содержание) множества взаимосвязанных лингвокультурологических сущностей, представляющих собой определённую целостность в концептосфере языка и, в частности, в сознании языковой личности. Материалом для статьи послужили данные двуязычных словарей исследуемых языков, как понятийные составляющие концептуального пространства *счастье*. Выявлено, что большинство рассмотренных нами лексем, репрезентирующих концепт *счастье*, имеют монгольское происхождение: як.: *дьол* / тоф.: *чол* / сойот.: *чол*; тув.: *кежик*, *аас-кежик* / алт.: *кэжик* / шор.: *кешик*; хак.: *чыргал* / тоф.: *чыргал* / кирг.: *жыргал* / алт.: *жыргал* и др. Значимыми аспектами счастья являются успех / удача / везение, выражаемые также монгольскими заимствованиями: алт.: *мөр* / хак.: *мөрий*; благополучие, наслаждение: тув. *чыргал* / хак.: *чыргал*. Шорский, тофаларский и алтайский эквиваленты данной лексемы показывают семантическое изменение в сторону понятий «обилие пищи», «веселье», «пир», «угощение». Межъязыковые эквиваленты лексики анализируются с точки зрения этимологической трансформации семантики и выявляются их универсальные и отличительные фрагменты. Часто отсутствие *счастья* или *удачи* (тув.: *аас-кежик чок* «несчастливый»; хак.: *талаан чох* / *часка чох* «несчастливый»; алт.: *ырыс жок* «несчастный») заметно сближается с понятием *судьбы* (*участи*, *доли*). Концептуальное пространство *счастье* в сибирских тюркских языках, как и в других разноструктурных языках, представляет собой сложное и многослойное образование, не имеющее чётких границ.

Ключевые слова: *сибирские тюркские языки, монгольское заимствование, словарная дефиниция, счастье, концептуальное пространство, лексема.*

Введение

В современной этнолингвистике одним из актуальных направлений является концептология — исследование концептов как ценностных культурных доминант в языковом воплощении. Безусловно, концепт есть многомерное и сложное ментальное образование, отмеченное этнокультурной спецификой. Хотя на определение концепта у исследователей нет однозначного мнения, но приоритетным «измерением» данного понятия является описание словесных, ментальных, этнокультурных и образных составляющих коллективного этнического сознания. Структура концепта как представления о фрагменте окружающего мира формируется из общенациональных и индивидуальных компонентов — «образа, понятия и символа, где образ представляет психологическую основу знака, понятие отражает логические функции сознания, а символ — общекультурный компонент словесного знака» (Колесов, 2002: 42).

Один из ключевых концептов на материале разноструктурных языков — *счастье* — привлекает внимание исследователей в разных областях науки — психологии, философии, литературоведении и т. д. В лингвистике многие исследования выполнены на материале русского языка, например, монография С. Г. Воркачёва «Счастье как лингвокультурный концепт», посвящённая раскрытию способов выражения фелицитарной идеи в русском языке. Автор исследует понятийную, метафорически-образную и значимостную составляющие семантики концепта «счастье», описывает функционирование его семантического дублета «блаженство» в религиозном и поэтическом дискурсах, а также анализирует его паралин-

гвистические и социолингвистические свойства (Воркачёв, 2004). Ключевые в русской лингвокультуре концепты *счастье* и *наслаждение* и приближенные к ним по смыслу лексические единицы *радость* и *удовольствие*, а также их межъязыковые соответствия, репрезентирующие понятие счастья, получили подробное и добротное описание в статье Анны А. Зализняк «Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира» (Зализняк, 2005). Также на материале разнотипных языков проводились сравнительно-сопоставительные исследования с целью выявления универсальных и специфичных компонентов данного концепта (Бакирова, 2011; Ципинова, 2008; Сулейманова, 2010 и др.). Часто вопросы, касающиеся *счастья*, рассматриваются в рамках паремий, фольклорных и художественных произведений для выявления мировоззренческих, духовно-психологических, моральных и утилитарных ценностей (Русаков, 2000; Русакова, 2007; Карпова, 2015 и др.). Лексико-семантические и когнитивные соприкосновения в структуре концепта *счастье* таких понятий, как *удача*, *успех*, *судьба*, а также способы их реализации в тексте обсуждаются в работах Е. А. Цыпанова (Цыпанов, 2012); Г. И. Урбанович (Урбанович, 2007); В. Н. Соловар (Соловар, 2016), А. Д. Каксина (Каксин, 2020) и др. В сибирских тюркских языках по данной тематике, по нашим сведениям, пока имеются только две работы: одна из них выполнена на материале хакасского языка (Чертыкова, 2018). Проведённый семантико-когнитивный анализ концепта *часка* 'счастье' в хакасской языковой картине мира позволил автору сделать вывод о том, что в смысловом содержании данного концепта пересекаются такие жизненно важные категории как *судьба*, *везение*, *удача*, которые отражаются в его семантическом и контекстуальном представлении. В целом идея счастья как источника фелицитарного блага в хакасском мировоззрении имеет как универсальные, так и национально-специфические черты (Чертыкова, 2018: 46). В кандидатской диссертации А. А. Скрябиной применён комплексный подход к исследованию якутских концептов *дьол* 'счастье' — *сор* 'несчастье', в результате чего описан лексико-семантический уровень репрезентации данных концептов, установлена этимология и история развития содержания соответствующих лексем, проведён ассоциативный эксперимент, определены образные признаки данных концептов (Скрябина, 2020). Стоит отметить, что в тюркских языках Сибири лингвокультурологические и когнитивные ресурсы ключевых концептов, в том числе и концепта *счастье*, очень богаты и многослойны, что открывает перспективы для новых исследовательских возможностей.

Цель статьи — выявление и описание базовых лексем-конкретизаторов в тюркских языках Сибири, включённых в концептуальное пространство *счастье*. Применяемый в исследовании семантико-когнитивный подход предполагает рассмотрение содержания языковых единиц во взаимосвязи с их когнитивной и лингвокультурологической интерпретацией. Выделенные рамки рассмотрения объекта исследования, именуемые как концептуальное пространство, мы понимаем как совокупность (или понятийное содержание) множества взаимосвязанных лингвокультурологических сущностей, представляющих собой определённую целостность в концептосфере языка и, в частности, в сознании языковой личности. Материалом для статьи послужили данные двуязычных словарей исследуемых языков, как понятийные составляющие концептуального пространства *счастье*. Лексическая система сибирских тюркских языков имеет немало неразгаданных, а оттого и интересных в лингвокультурологическом и когнитивном плане концептуальных полей. Считаем, что данная тематика имеет хороший лингвистический потенциал и перспективу для будущих исследований.

Деривационно-понятийная структура русского концепта счастье

Как известно, в народном сознании суждение о *счастье* как о небесном даре, об удачливости и везении (т. е. благоприятном стечении обстоятельств), об успешности жизненного пути присутствует с древнейших времён и характеризуется как три ипостаси данного концепта: образное, понятийное и ценностное. Большой толковый словарь русского языка

(БТСРЯ) даёт такое толкование слову *счастье* — «... состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-л.; внешнее проявление этого чувства. Семейное с. Желаю счастья. С. народа. Стремление к счастью. С. созидания [...]; 2. Успех, удача. С. в игре в любви. Военное с. [...]; 3. Разг. участь, доля, судьба. Эта девушка — твоё с. Найти своё с. [...]; 4. В функции сказуемого. Хорошо, удачно. С. у кого есть дети. Какое с., что мы вместе! [...]; < К счастью; на счастье; по счастью; в знач. вводн. словосоч. Выражает удовлетворение по поводу чего-л. К счастью, дождь кончился [...]» (БТСРЯ, 2000: 1297). Как показывает словарная дефиниция, семантическая структура слова *счастье* в русском языке включает концептуальные пересечения таких категорий как «счастье», «удача», «судьба», «доля», «участь». Многослойность семантики общеславянской лексической единицы *счастье* (**sъčestьje*), исходящая от её когнитивного смыслового образования, связана «с древнеиндийскими корнями **su* — «хороший» + **cestь* — «часть», то есть «хороший удел» (ЭСРЯ-III, 1971: 816). По вопросу происхождения слова *счастье* с Максом Фасмером солидарен и Н. М. Шанский: «Счастье. Общеслав. Суф.- преф. Производное (с помощью приставки *съ-* в значении “хороший” (см. *сдоба*) и суф. (-*иј-*) от *часть* (через “юс” малый). Буквально — “хорошая часть, доля” См. *часть*» [<https://lexicography.online/etymology/shansky/c/счастье>]. Как видим, деривационно-понятийная структура слова *счастье* проявляется в его мутационной схематизации понятий «удача», «судьба», «доля», «участь». В человеческом подсознании эти понятия взаимосвязаны, т. к. в их основе лежит общность их расположения и соединение по линии жизни. Как пишет В. В. Колесов: «Счастье противоположно судьбе: счастье не судит, и оно не суждено. Счастье выпадает, его получают по случаю. Счастье, как определил его Даль в своём словаре, есть случайность, желанная неожиданность — талант, удача, успех» (Колесов, 2002: 100). Следует подчеркнуть, что подобная полиаспектность, широкая пересекаемость и/или взаимопроницаемость компонентов русского концепта *счастье* характерны и для других неродственных языков, например, для тюркских и финно-угорских (Цыпанов, 2012; Чертыкова, 2018 и др.). Сложная многогранная система концепта *счастье*, представляющая собой некое концептуальное пространство, и языковое воплощение его взаимодействующих компонентов отражаются в перцептивных возможностях языковой личности, поэтому заслуживают пристального внимания со стороны исследователей. Каждый фрагмент данного концептуального поля носителями языка осознаётся в контексте этнокультурных традиций и национального менталитета. В языковой репрезентации различные ипостаси *счастья* наполняются яркими ассоциативными образами, дополнительными понятийными признаками и коннотациями. Наиболее популярными из них в тюркском мировидении являются представления о *счастье*, как о блаженстве, успехе, удаче, даре и т. д. Тем самым *счастье* — есть многослойное ценностное образование, имеющее насыщенное образно-языковое выражение и окрашенное культурной спецификой.

Базовые выразители концепта счастье в тюркских языках Сибири

Соотнесение данного концепта с положительными состояниями (*судьба, участь, удача, везение, благополучие, благодать, доля* и т. д.) и эмоциями (*радость, веселье, блаженство* и т. д.) наблюдается в сибирских тюркских языках и определяется в их словарных дефинициях.

Монгольское заимствование, бытующее в як.: *дьол* счастье, удача || счастливый, удачливый; *булт дьоло* удача на охоте; *дьол кунэ* счастливый, удачливый день (ЯРС, 1972: 131); тоф.: *чол* [чолу ~чолы] счастье, удача (СТРиРТ, 2005: 118); сойот.: *чол~чол* [чолы~чолы] сущ. счастье, удача, фарт (СБРС, 2003: 140) репрезентирует не только семантику *счастья*, но и *удачи*. В этих языках частотность лексических соответствий *дьол / чол / чол* распространяется на их словообразовательные возможности, например, при присоединении к основе аффикса обладания образуются прилагательные: як.: *дьоллоох* счастливый; тоф.: *чоллуг* счастливый;

сойот.: *чоллыг* счастливый, удачливый. Также, в отличие от исконно тюркских обозначений *счастья* и *удачи* (*ырыс*, *талаан*), лексема *дьол* / *чол* / *чол* может принимать и глаголообразующий аффикс **-ла**: **дьоллон-** «становиться счастливым, достигать удачи; *үлэттэн дьолломмут* он нашёл счастье в труде» (ЯРС, 1972: 131); сойот.: **чолла-** «посчастливиться, подфартить» (СБРС, 2003: 140); более узкое специализированное значение даёт тоф.: **чолла-** «добыть (крупного зверя или соболя)» (СТРиРТ, 2005: 118). А. А. Скрябина в ходе лингвокультурологического анализа якутского концепта *дьол* 'счастье' выделила следующие его составляющие: «1) удача, благо; 2) искренняя удовлетворенность от исполнения желания, чувство довольства и радости; 3) благополучие, блаженство, фортуна; 4) доля; 5) светлое будущее; 6) лучшая участь; 7) мечта» (Скрябина, 2020: 132–133). Следовательно, обширная семантика и сопутствующие словообразовательные возможности доказывают включенность данного концепта в число базовых единиц концептосферы якутского языка.

В концептуальное пространство *счастье* включаются слова, выражающие *благо*, *добро*, *благодать*, *блаженство*, в условиях которого человек переживает удовольствие, наслаждение и радость, что является высшим уровнем счастья. В сибирских тюркских языках (кроме хакасского) полным выразителем этого чувства является *кежик* / *кәжик* / *кешик*, заимствованное с монгольского языка: тув.: *кежик* I 'дар, благо; добро, достояние, богатство'. Ср. алт. *кежик* 'дарованный, дар, благодать'; алт. диал., шор. *кәжик* 'дар, благодать; блаженство, счастье, милость' (РСл. II: 1184); кирг. *кешик* 'счастье, довольство'. Монголизм. Ср. п.-монг. *kešig* 'милость, благоволение (неба); благословение; счастье, благополучие; удача'; монг. *хишиг*, *хешиг* 'счастье, благополучие' (ЭСТувЯ-III, 2004: 134). Исходя из представленности *кежик* / *кәжик* / *кешик* в указанных языках, только в тувинском варианте не содержится компонент «счастье», но может восприниматься как таковое: «*кежик* 1) дар, благо; *төрөөн чурттуң чаагай кежиинге ажылдаар* трудиться на благо родины; *кежик четтирер* принимать дар, угощение; *оран кежиин* земные блага; 2) добро, достояние, богатство; *чоннуң кежиин камгалаңар* берегите народное добро» (ТувРС, 1968: 168). С тувинским *кежик* I почти совпадает семантика алтайского лексического соответствия «*кежик* II: 1) дар; *Кудайдын кежиги* дар Божий; 2) благо, благодать, блаженство; *јадын эмес*, — *кежик* не жизнь, а благодать; 3) счастье; ср. *ырыс*; 2. Дарованный; *Кежик бала өштүлөргө өлтүрткен* (АБ) Дарованное дитя было убито врагами» (АРС, 2018: 305). Авторы Этимологического словаря алтайских языков, помимо указанных значений, выделяют ещё значение: «{...}; 2. Часть мяса жертвенных животных, которую раздают людям: Mmong. *Kešig* (SH) 2; Wmong. *Kesig* (L 460); Kh. *Xišig*; Bур. *Xešeg*; Kalm. *Kišəg*; Dag. *Keši* (Тод. Даг. 150); Mongr. *Kəšəg* 1, 2 (SM 199)» (ЭСАЯ, 2003: 674).

В тувинском языке лексема *кежик*, благодаря наличию ассоциативных связей, соответственно, свободному активному употреблению, при присоединении аффикса обладания может вступать в категорию прилагательных (*кежиктиг*, *кежик-буянный*, *аас-кежиктиг*, *кежик-чолдуг* 'счастливый'), становится компонентом сложного слова (*аас-кежик*, *кежик-чол* 'счастье') и т. д. Когнитивная особенность тувинской лексемы *кежик* заключается в том, что она актуализирует, прежде всего, счастье, полученное бесплатно в результате счастливой случайности, везения, это дар, подарок, подношение и сохраняет мотивационную связь с монгольским *kešig*, который «характеризует удачу человека, получившего неожиданно для себя обильную еду и питьё, средства на безбедное существование» (ЭСТувЯ-I, 2015: 42). Этот дар, подарок может иметь и предметное значение: *Таңды кежиин тоорук, кат дайнамдаа чок, шутту дүшкен* (К. Ондар) — Никаких ягод, орехов, таёжного **добра** нет, все выпало. *Сеең берген кежиинң (хөйлеңиң) кайын адып каар мен* (М. Кенин-Лопсан) — Как же я забуду **добро** (рубашку), которое ты дала. *Магалык (магалыг) кежик боладыр (бо-ла-дыр) деп хоптак сеткил-биле (аңнын) тас колдуунче үш улаштыр кавындылаптым* (М. Өлчей-оол) — Вот это великолепная **удача** — сказав так, с ненасытным желанием стрельнул три раза под-

ряд в безшерстную (безволосую) подмышку зверя. *Чолум, кежиим — колхозумда* (С. Тамба) — [Моя] судьба и [моё] **добро** — в [моём] колхозе (ТСТувЯ-П, 2011: 107).¹

Успех / удача — это есть переживание субъектом высшей радости в результате каких-либо достижений, полученных посредством своих усилий и общественное признание этого достижения. Часто сопутствующим успеху аспектом *счастья* является *удача* — благоприятные обстоятельства, способствующие успеху. Эти две ипостаси *счастья* обычно содержатся в одном слове, подтверждением которому является тувинское *чедимче* «1) успех, удача; *чедимче чок* неудачный, безуспешный; 2) достаток» (ТувРС: 368). По свидетельству В. И. Рассадина, тувинская лексема *чедимче* образована от основы тюркского глагола *чит-* / *чет-* «достигать; хватать» и монгольского словообразовательного аффикса *-мче*, что является результатом влияния монгольского языка на морфологию тувинского языка (Рассадин, 1980: 61). В алтайском, шорском и хакасском языках значение «успех, достижение хороших результатов» также передаётся существительными, образованными от основы глагола *чит-* / *жет-* «достигать» и словообразовательного аффикса: хакал.: *чидиг* ‘успех; достижение’; алт.: *једимдер* ‘успех’; шор.: *чедиш* ‘успех’. Алтайская лексема *једимдер* синонимизируется с *мөр* «удача, успех; Бастыра ок-јаачыларга **мөр** күүнзейли (АЧ) Всем лучникам пожелаем **удачи**; ♦ Јенип алза — **мөри**, јендиртип ийзе — өлүми (Погов.) Если победит — его **удача**, если проиграет — его смерть» (АРС, 2018: 477). Надо сказать, что лексема *мөр* в алтайском языке является наиболее употребительной, о чём свидетельствуют и её словообразовательные мотивации: *мөрлү-* ‘успешный; преуспевающий’; *мөрөй* ‘соревнование; состязание; приз’, а также различные способы глагольного выражения: *мөрөй ал-* ‘выиграть пари, состязание’; *мөрөй алдыр-* ‘проиграть состязание, пари’; *мөрөйлөш-* ‘соревноваться, состязаться’ (АРС, 2015: 91).

Лексема *мөр*, кроме алтайского, употребляется и в хакасском и в киргизском языках в значении «победа в спортивном состязании; удовлетворение победой». Она имеет монгольское происхождение: «**mörüi** *халх. Мөрий, калм. мөрэ* пари, заклад; *бур. мүрысэ-* соревноваться» (ЭСМЯ-П, 2016: 178). Авторы Этимологического словаря монгольских языков происхождения этого слова связывают с **mörün** («← *монг.*) *Халх. Мөр(өн), бур. ал(э), даг. ал (муру)* плечо. ♦ *Ср. маньчж. Meyiren, эвк. Мирэ, ольч. Myipö* плечо (ЭСМЯ-П, 2016: 178). В хакасских фольклорных текстах *мөрй* имеет значение: «1) состязание (в силе, ловкости и меткости); ср. **арға-мөрй**; 2) победа; выигрыш; кемнің мөрйі полды? кто выиграл?; *мөрй — пісти* победа наша» (ХРС, 2006: 256). — *Пістің мөрйі полды, — тіп турадыр, — Чирнің ұстүнде ханнаң улуғ хан піс поларбыс* (А, 111) — Мы победили (букв. наша победа), — говорит, — Мы будем самыми великими ханами на этой земле. В современном хакасском языке *мөрй* используется как сложное слово в сочетании с лексемой *арға* ‘спина’: *арға-мөрй* ‘состязание (в силе и ловкости)’; *арға-мөрйге сығарға* ‘выйти на состязание (о богатырях)’» (ХРС, 2006: 74). Ассоциативная связь этого слова в этих языках, возможно, основана на представлении о традиционном виде спорта у кочевников — *күрес / хуреш* ‘борьба’, где задействованы такие части тела, как плечо и спина. Отметим также, в отличие от алтайского эквивалента *мөр* / *мөрөй*, семантика которого акцентирована на победном итоге состязания, хакасская цепочка однокоренных слов: *арға-мөрй* ‘состязание’, *мөрйлезерге* ‘состязаться в силе и ловкости’ (кроме *мөрй*) обозначает исключительно процесс состязания без указания конечного результата.

В сибирских тюркских и монгольских языках *счастье* и *успех* настолько семантически близкие и взаимопроникающие концепты, что порой бывает сложно разделить их понимание в контекстном употреблении. Но стоит заметить, что при трансформации понятия *счастья* в *удачу / успех / везение* семантический акцент перемещается от духовного состояния субъекта

¹ Автор выражает искреннюю благодарность к.ф.н. Н. Ч. Серээдар за перевод тувинских примеров на русский язык.

на внешние факторы. При этом содержание метафорических моделей передаёт *счастье* (по сути, *удачу* / *успех* / *везение*) не как переживание, а как благоприятное / неблагоприятное событие или стечение обстоятельств. Но в ментальном понимании они, несомненно, разные и самостоятельные концепты. Об этом свидетельствуют также их словарные дефиниции в русских толковых словарях: счастье — это «благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная жизнь без горя, смут, тревог, покой и удовольствие» (ТСЖВЯ-IV, 1980: 371); «чувство и состояние полного, высшего удовлетворения» (СРЯ, 1986: 680). *Удача* или *успех* определяется как «поспешение в чём-то, счастье, талант, желанный случай, исход дела» (ТСЖВЯ-IV, 1980: 471); «нужный или желанный исход дела» (СРЯ, 1986: 717). Как пишет В. А. Цыпанов: «Люди в обыденном плане понимают *счастье* как нечто постоянное, перманентное состояние, в то время как *удачу* как временное, даже моментальное, преходящее явление, бывающее от случая к случаю» (Цыпанов, 2012: 266). Не только в тюркских, но и в других разнотипных языках, замечены следующие закономерности:

а) лексемы, выражающие *счастье* и *успех* / *удачу*, являются равносильными синонимами в описании конкретных ситуаций, например, русск.: *Нам сегодня выпало (привалило) счастье* = *Нам сегодня выпала (привалила) удача*;

б) лексемы, обозначающие *счастье*, могут быть тождественны с понятием *успех* и *удача* в описании преходящих ситуаций, т. е. *счастье* отождествляется с *удачей*, например, алт.: *Така таан алганы — ырыска — Найти подкову — к счастью [к удаче]*.

Следующая лексема с обширной и многослойной структурой и, тоже монгольского происхождения, — это *чыргал* ‘наслаждение’ < монг. *jiryal* ‘счастье, наслаждение’ < монг. *jirya-* ‘наслаждаться’ (Рассадин, 1980: 38); **ЈІRҮA2-** [←*jirya- (см. под *jirbe-)] *Халх., бур. жарга-, калм. жирһ-, даг. Джарга-, орд. Джирга-* наслаждаться, блаженствовать, быть счастливым; ложиться почивать, засыпать; закатываться, гаснуть (о небесных светилах); {...} (ЭСМЯ-II, 2016: 78). Процесс изменения лексической семантики данного слова в тюркских языках обусловлен как лингвистическими, так и экстралингвистическими социальными факторами. В тувинском языке рассматриваемая лексема действует в первичном значении: *чыргал* 1) блаженство, благоденствие; 2) счастье (ТувРС, 1968: 396). Эта же лексема в аналогичном значении зафиксирована в киргизском языке: *жыргал* «удовольствие, наслаждение, услада, блаженство, благоденствие; *жамандын жыргалы* — уйку (погов. для бедняка (единственное) удовольствие — сон; *жыргал көр-* наслаждаться; *жыргал бер-* доставить удовольствие; *жыргал турмуш* радостная жизнь; ♦ *жыргалым* моя радость (так жена называет умершего мужа, оплакивая его)» (КРС-II, 1985: 283). Подобное соотношение языковых эквивалентов в сибирских тюркских и киргизском языках не случайно, об этом же пишет Н. Н. Широбокова: «Вопрос формирования киргизского языка остаётся не до конца ясным и в настоящее время, но участие в этом процессе народов Саяно-Алтая хорошо прослеживается на языковом материале» (Широбокова, 2015: 243). Данному вопросу посвящены работы многих лингвистов-типологов (Рассадин, 1978; Убрятова, 1985; Широбокова, 2015 и др.).

Также мы наблюдаем смысловые ассоциации восприятия слова *чыргал* / *чыргал* / *жыргал* / *йыргал* носителями отдельных близкородственных языков, которые существенно влияют на семантическую трансформацию слова. В тофаларском языке данное слово приобретает узкое значение, связанное с основной сферой жизнедеятельности тофаларов — охотой. Как известно, удача на охоте является источником обилия пищи в доме. В тофаларском видении мира данная смысловая цепочка *счастья* и *благоденствия* привела к её более узкому пониманию: тоф.: **чыргҕа** [**чыргҕаа**] «1) обилие пищи (гл. образом мясной); 2) эвф. богатая добыча (зверей на мясо)» (ТофРС, 2014: 454). Тофаларский вариант данного слова также отличается от остальных тем, что в своей основе имеет словообразовательный аффикс -г, в то время как во всех остальных мы имеем формант -л.

Семантическая структура алтайского *йыргал*, хакасского и шорского *чыргал* несколько отличается от рассмотренных их лексических эквивалентов: основанием для производности

и развития новых понятий в этих языках являются радость и ликование, источником которых является, скорее всего, обилие добытой на охоте пищи. Этот внеязыковой фактор, как один из взаимосвязанных моментов бесконечного многообразия реальной действительности, послужил причиной семантических изменений: алт.: *жыргал* «1) веселье, ликование, торжество, гулянье; *јакишы жыргал* хорошее веселье; Мында не жыргал, не ойын? (У. Садыков) — Что за веселье, что за игра здесь?; 2) пир, пиршество; Азыйгы андыш-кырыжын ундып, төрөөнис дежип, жыргал баштаган (С. Суразаков) — Забыв старые распри, говоря, что родственник, устроили пир» (АРС, 2018: 225); шор.: *чыргал* ‘пир, веселье’ (ШРиРШС, 1993: 66); хак.: *чыргал* I «1) удовольствие, наслаждение, блаженство; *чыргал көрерге* испытывать наслаждение, блаженство; веселье, ликование, пир, торжество; *чыргал идерге* устраивать торжество; *чыргалда чуртирга* жить в достатке; 3) угощение; *чыргал саларга* устраивать угощение; *тоозылбастаг той ползын, үзүлбестег чыргал ползын* фольк. пусть нескончаемой будет свадьба, пусть непрерывным будет угощение; 4) *перен.* поминание умершего, поминки, тризна; *чыргалы чаксы полды* угощение на поминках было хорошее; *◇ хоосха чыргалын чуртирга* жить припеваючи (букв. кошке в наслаждении жить)» (ХРС, 2006: 1024). Из последних семантических преобразований хакасского *чыргал* является обозначение базара, рынка, мотивированное обилием продуктов в данной местности. Общие семантические признаки тофаларского, алтайского, шорского и хакасского лексических эквивалентов «обилие пищи в результате удачной охоты» и «пиршество, гуляние на фоне обилия пищи» наиболее ярко реализуются в семантике алтайского фонетического варианта *жыргаиш* ‘веселье, гуляние, пиршество’; Менин шүүлтемле болзо, жыргаиш, күндүлеш жеткен (У. Садыков) — По моему мнению, пиршества, угощения достаточно (АРС, 2018: 225), а также шорских однокоренных лексемах разных частей речи: *чыргаллыг* ‘весёлый (пир)’ и *чыргат-* ‘угощать’ (ШРиРШС, 1993: 66). Как известно, при заимствовании слова часто трансформируется его семантика и внешняя оболочка. В случае с тофаларским *чыргаг*, алтайским *жыргал* / *жыргаиш*, хакасском и шорским *чыргал* мы наблюдаем специализированное (узкое) обозначение определённых аспектов *счастья*. Смысловая цепочка данного фелицитарного образования представлена таким образом: удача (на охоте) → радость → ликование → пир (обилие пищи) → угощение → счастье. Тем самым смена содержательных структур межъязыковых соответствий *чыргаг* / *чыргал* / *чыргал* / *жыргал* / *жыргал* в сибирских тюркских и киргизском языках не нарушает единства концептуального пространства *счастье*. Каждый лексико-семантический вариант (ЛСВ) их семантики представляет собой особую специфическую комбинацию языкового выражения данного концепта.

Многогранный семантический потенциал данной лексической единицы получает более конкретную реализацию и в других грамматических категориях, например, семантика глагольной формы отражает доминантные элементы всего словообразовательного гнезда, алт.: *жырга-* ‘веселиться, ликовать, торжествовать, пировать’ (АРС, 2015: 53); *жыргат-* понуд. от *жырга-* ‘устроить веселье, гуляние, пир’; *улусты жыргадар* ‘устроить гуляние для людей’ (АРС, 2018: 225); тоф.: *чырга* = [*чыргаар*] ‘наслаждаться обилием пищи, иметь большой запас продуктов (мясной пищи)’; *ол чылын бис чыргаан бис, дөрт аң өлүрген бис* ‘в тот год у нас было много мяса — мы добыли четырех изюбрей’ (ТофРС, 2014: 453); *жырга-* ‘наслаждаться, получать удовольствие, блаженствовать; благоденствовать’ (КРС-I: 283). Однако в хакасском языке глагол *чырга-* [*чыргирга*] «1) получать удовольствие, наслаждаться довольством, достатком; *чыргап чуртирга* жить в большом достатке; *чыргап одырарга* а) жить имея все в достатке; б) жить припеваючи; 2) угощаться, кормиться; *тогынмин даа чыргирга* не работая, есть сытно (обильно); 3) веселиться, ликовать, торжествовать; *чыргал чыргирга*» (ХРС, 2006: 1024) экспрессивен, с оттенком оценочности и неодобрения, и указывает на материальную обеспеченность, незаслуженное благополучие субъекта. *Иче* — *пабазының мойнында одырып, чыргапча* — Не работая, (букв. сидя на шее у родителей), [он] живёт припеваючи. *Кізі чуртында чыргап, харааң хызарча* — Живя (в благополучии) в чужом доме, с

жиру бесишься (букв. [твои] глаза краснеют). В алтайском же языке его эквивалентный глагол *жырга-* ‘веселиться, ликовать, торжествовать, пировать’ (АРС, 2015: 53) имеет стилистически нейтральное значение: *Јети жылга жыргажып отурдылар* — Семь лет вместе пировали.

Общетюркская лексема *ырыс* является наиболее частотным выражением *счастья* и, используется почти во всех сибирских тюркских языках, кроме тувинского и якутского, например,

шор.: *Иирде абырлан узунчаттыр, Ырыста ырызоқ тўжўп-кел* (Г. Косточаков) — Вечерами спокойно засыпает, счастливый, видя сны (букв. видя счастье в счастье). *Чок! Ырызын пирда тилебенча, \ Увы! Он счастья не ищет; Ол таиштабады — ырызын! \ И не от счастья бежит!* (Г. Косточаков);

хак.: *Син — минің ырызымзың* — Ты моё счастье. *Чўректер азах алтындагы чирге истілдіре тўкленче. Ырыс арагазына пас изірче* (Чкч, 180) — Сердца колотятся так, как слышны звуки от шагов. От вина **счастья** кружится голова;

алт.: Кижинин ырызы јаныс эмес деп јаандарыс айдыжатан (Д. Маскина) — Старик говорил, что у человека счастье не одно. В отличие от других тюркских языков, широкая словообразовательная мотивированность алтайской лексемы *ырыс* представлена глагольной формой, при прибавлении к основе *ырыс* глаголообразующего аффикса –та: *ырыста-* ‘искать счастья’.

Лексема *ырыс* также действует в ряде других тюркских языков, например, в киргизском, башкирском, татарском, например, каз.: *ырыс* ‘счастье; доля; благополучие’; *ырыс-береке* ‘счастье; удача’; *ырысты* ‘удачливый; счастливый’ (КазРС: 492). Как одно из основных обозначений *счастья*, лексема *ырыс* часто используется в благопожеланиях, например, хак.: *Сіреге ырыс алганчам* — Желаю вам счастья; алт.: *Слерге ырыс кўўнзеп турум* — [я] желаю вам счастья и др. Отметим, что подобные благопожелания возникли под влиянием русского языка и далеки от традиционных тюркских благопожеланий. Также русское влияние наблюдается, например, при передаче выражения *к счастью*, которое, по сути, имплицитно подразумевает понятие *удачи*. Данное выражение в сибирских тюркских языках передаётся путём синтаксической схемы «существительное + вспомогательный глагол **пол-** / **бол-** с деепричастным аффиксом -ып»: алт. *ырыс болуп*; тув. *аас-кежиин бооп*; хак. *оң опып* и др. В хакасском языке лексема *оң* ‘удача; везение’ не может употребляться самостоятельно, а только в сочетании с глаголом **пол-** ‘быть’: *оң полды* ‘повезло’, *оң полбады* ‘не повезло’, *оң ползын* ‘пусть повезёт; удача’: — *И-ик-кааа, оң полды! Алнындабын!* — *махтанча оолах* — И-ик-кааа (межд.), **повезло!** [Я] впереди всех! — хвастает мальчик. — *Чарир, Кодур-оол!* — *тидир*, — *Оң ползын сагаа!* (Хл, 63) — Ладно, Кодур-оол! — говорит. — Удачи тебе! (Пусть повезёт тебе!). Однако в отличие от хакасского **оң пол-** киргизская лексема *оң* представляет богатую семантическую структуру: *оң* {...} 2. Подходящий, соответствующий, удачный, благоприятный, благотворный; положительный; *иш оң* дела хороши; *ишиң оңбу?* Хороши ли твои дела?; *оң болор эле* было бы хорошо (если бы...); *замандын оңуна туш келип* благодаря благоприятному стечению обстоятельств; *жол оңунан!* Предстоит удача! Дело идет на лад! {...} (КРС-П, 1985: 70). Также употребляется и в глагольной форме: *оң-* П 1. Быть удачным, удачливым; наладиться; *колго түшкөн коёнду коё берген оңорбу?* Разве будет толк из того, кто выпускает из рук пойманного зайца?; *асты оңбо!* Чтоб тебе никогда не видать добра {...} (КРС-П, 1985: 70).

В хакасском языке с лексемой *оң* по идентичной схеме с вспомогательным глаголом **пол-** ‘быть’ синонимизируется лексема *талан*: «1) счастье, счастливая доля, судьба; *талан чох* несчастливый; 2) удача, везение; *талан тўсті* счастье выпало (повезло); *талан полбады* не повезло; ◇ *мал талан* животное-амулет (именно в нем якобы хранится благополучие скота); *талан тартып* к счастью; *постың талаанын кізее пирбечең* посл. свое счастье не отдают другим; *хорыхнасха талан полысча* погов. бесстрашному счастье помогает» (ХРС, 2006: 579). — *О-о, иди полза, піске дее хандыра талан полтыр, йа!* (Ка, 76) — О-о, если так, то нам крупно повезло, оказывается! Рассматриваемая лексема с пометой «устарелая» и «народно-

поэтическая» зафиксирована и в толковых словарях русского языка, например, *талан* «счастливая доля, судьба; успех, удача» (БТСРЯ, 2000: 1304). Она также используется в других тюркских языках, например, башк.: *талан* «уст. удача, счастливая доля; *талан прост.*; *таланы бар* ему везёт; *таланһыз булыу* быть невезучим, неудачливым» (БРС, 1996: 580); тат.: *талан* сущ.; редко счастье, удача, везение; *талант ялан-ялан ни талан?* (погов.) что за непрерывная удача? (*о сомнительных по происхождению удачах и находках*) (ТатРС, 2007: 303); як.: *талан* II удача, счастье, везение (*обычно в охоте*); *тарбах талан билкэбэ* (всё) решит удачливая рука (*говорится, когда что-л. делается на авось*) (ЯРС, 1972: 373).

Из-за звукового сходства лексема *талан* обычно идентифицируется как производная от *талант* «природная способность, одаренность». Михаил Александрович Володин *олғаннарнаң тоғынарға Худай пирген таланттың үзгертчи полған тирге чарир* (Хабар, 2018, 2 февраль, с. 15) — У Михаила Александровича Володина был учитель с талантом от Бога работать с детьми. Однако этимологическая история слова *талант*, первоначально обозначающего единицу веса, оказывается весьма интересной. Оно зафиксировано даже в греческом, латинском и древнерусском языках. Видимо, русичи употребляли данное слово в значении «кусоч металла» большого веса. «Позднее *талант* стал обозначать расчетную единицу веса денежного (золотого или серебряного) достоинства» (Романов, 2011: 107). Лексема же *талан* имеет исконно тюркское происхождение: «счастье, удача», «прибыль, находка» «...» Заимст. из тюрк., ср. чагат., тур. *talán* «добыча», казах. *talán* «счастье» (ЭСРЯ-IV, 1986–1987: 14). Предполагаем, что семантико-этимологическая цепочка «добыча → удача → прибыль» может исходить от общетюркской основы *тала-* / *талирга* «грабить, разрушать», что подтверждается наличием в некоторых тюркских языках лексемы в соответствующем значении, напр., кирг.: *талан* (ср. *талан*) «1) грабеж, разграбление; *талаанга түш-* быть разграбленным, ограбленным; *талаанга түшкөн мал* награбленный скот, награбленное имущество; *талан сал-* предать разграблению; *талан-чачын* или *талан-бүлүн* поток и разграбление» (КРС-II, 1985: 196). Эта же лексема присутствует и в монгольском языке: *талан* «грабёж»; *тала талан* «грабежи и убийства» (БАМРС, 2001: 583). В бурятском же языке *талан(г)* обозначает «счастье, удача» (БурРС-II, 2010: 224), а парное сочетание *хуби талан* обозначает «а) счастливая судьба, счастье; б) счастливый случай, удача» (БурРС-II, 2010: 458). Как видим, такая ситуация демонстрирует различные семантические эволюции лексем *талан* и *талант*, которых рациональнее всего рассматривать как разные лексемы (омонимы).

Отметим другую особенность репрезентации понятия счастье: отсутствие *счастья* или *удачи*, например, тув.: *аас-кежик чок* «несчастливый»; хак.: *таланы чох / часка чох* «несчастливый»; алт.: *ырыс жок* «несчастный» очень близко сближается с понятием *судьбы*. «Соотнесенность счастья с удачей, судьбой наделяет его такими качествами, как непредсказуемость и предопределенность одновременно» (Унарокова, Унарокова 2012: 245). Тем самым в концептуальное пространство *счастье* втягиваются лексемы с обозначением *судьбы*, *доли*, *участи*, например, хак.: *үлүс (-зі)* «1) доля, часть, пай, удел; {...}; 2) доля, наследство, приданное; {...}; 3) судьба; доля; счастье; *үлүс түсті магаа* мне выпало счастье; *үлүзім полтырох* оказывается, и [я] везучий (и мне повезло); {...}; □ *кізінің үлүзі пар ла поладыр* погов. у человека всегда бывает своя доля (удача); *улуз алыптың үлүзі үс поладыр* погов. у настоящего богатыря бывает три доли; *үлүс позы килчең ниме нимес* погов. счастье само не приходит; *чазаг кізінің үлүзін аттың албас* посл. пешего долю не поймёт конный» (ХРС, 2006: 752). Данная лексема характеризуется наличием тонкой грани между концептуальными классификаторами: *доля*, *участь*, *везение*, *удача*, *судьба*. По подобной же семантико-когнитивной модели данное слово действует в других тюркских языках, например, телеут.: *үлеш* «доля, надел, часть»; кирг.: *үлүш* I. «часть доля, следуемая кому-л.». «Аксиологические пересечения категорий «судьба», «удача», «доля», «счастье», «судьба» в семантической структуре одного

слова *ўлўс* обусловлены тесными связями и ментальной значимостью этих понятий в мировидении носителей языка (Чертыкова, 2018: 51).

Кроме рассмотренных здесь лексем, включённых в концептуальное пространство *счастье*, в сибирских тюркских языках имеются ещё лексемы, свойственные для одного конкретного языка, например, в хакасском языке наиболее общим выражением понятия *счастье* является заимствованное с русского языка *часка* «счастье; *часка көрерге* жить счастливо; *часка чох* несчастливый, несчастный» (ХРС, 2006: 952). *Сагысырастары, тогыстары пір. Алнынзар көрістері пірөк. Чох, ол часканы чар полар кізі табылбаадаг* (Т, 5) — [У них] заботы, работа одна. Взгляд в будущее тоже одно. Нет, этого **счастья** никто не сможет разбить. А. А. Скрябина в якутском языке кроме базовой лексемы *дьол* «счастье» приводит ряд синонимичных лексем, расположенных на периферии данного концепта: *соргу, туску, дьолуо, талан, өрөгөй, баарт, айхал, уруй, кэскил, ыра, дьаралык, сарбааһын* (Скрябина, 2020: 132). Метафорические ресурсы всех наименований концепта *счастье* очень богаты, и в силу необходимости придания ему конкретных лингвокультурологических характеристик требуют специального системного исследования.

Заключение

Проведенный в нашем исследовании семантико-когнитивный анализ словарных дефиниций лексем, составляющих концептуальное пространство *счастье* в сибирских тюркских языках, позволяет сделать следующие выводы:

1) содержание концепта *счастье* в сибирских тюркских языках, как и в других разноструктурных языках, представляет собой сложное и многослойное образование, не имеющее чётких границ. В смысловом содержании здесь пересекаются такие ценностные категории как *везение, благополучие, благодать, доля* и др., что также отражается в его семантическом представлении;

2) базовыми выразителями концепта *счастье* в сибирских тюркских языках являются в основном монгольские заимствования: *дьол / чол / чол* (як., тоф., сойот.); *кежик / кэжик / кешик* (тув., алт., шор. + кирг.); *чыргал / чыргал / жыргал / јыргал* (алт., хак., шор., тоф. + кирг.), а также общетюркские лексемы *ырыс* (все сибирские тюркские языки, кроме тувинского и якутского), *талан* и др. Являясь ретрансляторами ценностных культур и мировоззренческих установок сибирских тюркских этносов, данные лексемы позволяют увидеть концептуальную иерархию как синхронии, так и в диахронии;

3) сравнительный анализ способов вербализации лексем, причастных к понятийному содержанию *счастья* даёт возможность выявить её ментальную и национальную специфику и универсальные фрагменты.

4) в нашем исследовании проанализированы базовые лексемы — конкретизаторы, составляющие концепт *счастье*, этнокультурная специфика которых сосредоточена на семантике, связанной с набором житейских ценностных взглядов на природу и сущность счастья.

Список условных сокращений:

алт. — алтайский язык; башк. — башкирский язык; каз. — казахский язык; кирг. — киргизский язык; сойот. — сойотский язык; тат. — татарский язык; тоф. — тофаларский язык; тув. — тувинский язык; хак. — хакасский язык; шор. — шорский язык; як. — якутский язык.

Список библиографических источников:

Бакирова Г. А. Вербализация концепта «счастье» в татарском и английском языках: автореф. ... канд. филол. н. Казань. 2011.

- Зализняк Анна А.** Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира // Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. Сб. ст. М.: Языки славянской культуры. 2005. С. 153–175.
- Каксин А. Д.** Образ человека труда в рассказе Г. Д. Лазарева «Соренг тов» // Вестник угроведения. 2020. Т. 10. № 2. С. 245–253.
- Карпова Н. С.** Концепт «счастье» в чувашской лингвокультуре // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 2015. № 4. С. 41–45.
- Колесов В. В.** «Судьба» и «счастье» в русской ментальности // Серия «Мыслители». Размышления о философии на перекрёстке второго и третьего тысячелетий: К 75-летию профессора М. А. Корнеева. 2002. Выпуск 11. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. С. 98–106.
- Колесов В. В.** Философия русского слова. СПб.: ЮНА, 2002. 444 с.
- Рассадин В. И.** Монголо-бурятские заимствования в сибирских тюркских языках. М.: Издательство «Наука». 1980. 117 с.
- Рассадин В. И.** Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. М.: Наука, 1978. 288 с.
- Романов Д. А.** Бесталаный // Русская речь. 2011, № 6. С. 103–109.
- Русаков В. Г.** Концепт счастья в романах «Машенька» Набокова и «Вечер у Клэр» Газданова // Газданов и мировая культура. Калининград, 2000. С. 117–134.
- Русакова И. Б.** Концепты «счастье» — «несчастье» в лингвокультурном содержании русских пословиц: автореф. ... канд. филол. н.: 10.02.01 — русский язык. М., 2007. 22 с.
- Соловар В. Н.** Вербализация концепта «счастье, удача» в хантыйском языке (на фоне русского и татарского языков) // Вестник угроведения. 2016. № 3 (26). С. 77–85.
- Скрябина А. А.** Концепт дьол «счастье» — сор «несчастье» в якутской лингвокультуре: дисс. канд. филол. н. Специальность: 10.02.02. — Языки народов Российской Федерации (якутский язык). Якутск. 2020. 160 с.
- Сулейманова Д. Д.** Лексико-семантическое поле с ключевой лексемой «благополучие» в русском, татарском, английском и испанском языках (сегмент «внешние характеристики благополучия») // Вестник ТГГПУ, 2010. № 3 (21). С. 170–174.
- Убрятова Е. И.** Следы древних тюркского, уйгурского и киргизского языков в современных языках Сибири // Историческая грамматика якутского языка: Учебное пособие. Якутск: Изд-во Якутского государственного университета, 1985. С. 22–32.
- Унарокова Р. Б., Унарокова Г. Ш.** Лингвокультурный концепт «насып/счастье» в адыгейском языке // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2012. № 2. С. 244–247.
- Урбанович Г. И.** Генетическая характеристика лексико-семантического поля «судьба, счастье, удача» в русском языке: автореф. ... канд. филол. н. Специальность 10.02.01. — русский язык. М., 2007.
- Ципинова Л. Х.** Образная составляющая концепта «счастье» в русской, английской и кабардинской языковых картинах мира // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2008. № 3. С. 59–64.
- Цыпанов Е. А.** Счастье и удача в финно-угорских языках // Linguistica Uralica. XLVIII. 2012. № 4. С. 265–275.
- Чертыкова М. Д.** Концепт часка «счастье» как отражение фелицитарной парадигмы хакасского мировидения // Языки и фольклор коренных народов Сибири. Научный журнал (Новосибирск). 2018. Выпуск 35. С. 46–56.
- Широбокова Н. Н.** О смене классификационного типа (на материале тюркских языков Сибири) // Сибирский филологический журнал. 2015. № 4. С. 242–250.

Список лексикографических источников:

- АРС — Алтайско-русский словарь. Редколлегия: канд. филол. наук А. Э. Чумакаев (отв. ред.), канд. ист. наук Н. В. Екеев, канд. филол. наук А. Н. Майзина, К. К. Пиянтинова, Н. Н. Тыдыкова, канд. филол. наук Е. В. Тюнешева; БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова». Горно-Алтайск, 2018. 936 с.
- АРС-Балакина — Балакина О. Н., Дедеева В. С. Алтайско-русский словарь = Алтай — орус сөзлик. Горно-Алтайск: РОО «Лепта». 168 с.
- БАМРС — Большой академический монгольско-русский словарь в четырех томах. Под общ. ред. ак. АН Монголии А. Лувсандэндэва и доктора филол. наук, проф. Ц. Цэдэндамба. Отв. ред. доктор филол. наук, проф. Г. Ц. Пюрбеев. Ок. 70000 слов. М.: ACADEMIA. 2001. 2007 с.
- БРС — Башкирско-русский словарь: 32000 слов / Российская академия наук. Уфимский научный центр. Академия наук Республики Башкортостан; под ред. З. Г. Ураксина. М.: Дигора, Рус.яз., 1996. 884 с.

- БТСРЯ — Большой толковый словарь русского языка. Автор и руководитель проекта и главный редактор С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт. 2000. 1536 с.
- БурРС-I — Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М. Буряад-орон толи. Бурятско-русский словарь. В двух томах. Т. I. А–Н. Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография». 2010. 636 с.
- БурРС-II — Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М. Буряад-орон толи. Бурятско-русский словарь. В двух томах. Т. II. О–Я. Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография». 2010. 708 с.
- КазРС — Бектаев Калдыбай. Казахско-русский словарь. Электронный ресурс: <https://altaica.ru/LIBRARY/turks/Бектаев>
- КРС-II — Киргизско-русский словарь. В двух книгах около 40 тысяч слов. Составил профессор К. К. Юдахин. 2 книга: Л–Я. Фрунзе: Главная редакция Киргизской советской энциклопедии. 1985. 480 с.
- РТС — Русско-тувинский словарь: 32000 слов / М. Д. Биче-оол, А. К. Делгер-оол, А. Ч. Кунаа и др. Под ред. Д. А. Монгуша. Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». 2015. 664 с.
- СБРС — Рассадин В. И. Сойотско-бурятско-русский словарь. Отв. ред. И. Д. Бураев. Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография». 2003. 180 с.
- СРЯ — Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 57 000 слов. Издание 18, стереотипное. Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. М.: «Русский язык». 1986. 797 с.
- СТРИТ — Рассадин В. И. Словарь тофаларско-русский и русско-тофаларский: учебное пособие для учащихся средних школ. СПб.: «Издательство «Дрофа» Санкт-Петербург». 2005. 295 с.
- ТатРС — Татарско-русский словарь: в 2 т. Т.2 (М–Я). Казань: Магариф, 2007. 726 с.
- ТофРС — Рассадин В. И. Тофаларско-русский словарь: свыше 16 000 слов. Элиста: Калмыцкий государственный университет. 2014. 532 с.
- ТСТувЯ-II — Толковый словарь тувинского языка / Под ред. Д. А. Монгуша. Новосибирск: Наука, 2011. 798 с. (Т. II: К–С).
- ТСЖВЯ-IV — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах. Том IV. М.: Издательство «Русский язык». 1980. 683 с.
- ТувРС — Тувинско-русский словарь: около 22000 слов. Ред. Э. Р. Тенишев. М.: Советская энциклопедия, 1968. 648 с.
- ХРС — Хакасско-русский словарь. Авторы: О. П. Анжиганова, Н. А. Баскаков, М. И. Боргояков, А. И. Инкижекова-Грекул, Д. Ф. Патачакова, О. В. Субракова, П. Е. Белоглазов, З. Е. Каскаракова, А. С. Кызласов, Р. Д. Сунчугашев, М. Д. Чертыкова. Новосибирск: Наука, 2006. 1114 с.
- ЭСАЯ — Старостин С. А., Дыбо А. В., Мудрак О. А. Этимологический словарь алтайских языков (Etymological dictionary of the Altaic languages). Лейден. 2003. 1533 с. Электронный ресурс: http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/StarostinEtymologicalDictionaryOfAltaicTitlePageRu.htm
- ЭСМЯ-II — Санжеев Г. Д., Орловская М. Н., Шевернина З. В. Этимологический словарь монгольских языков: в 3 т. / Институт востоковедения РАН. Гл. ред. Г. Д. Санжеев, ред. Л. Р. Концевич, В. И. Рассадин, Я. Д. Леман. М.: ИВ РАН, 2016. Том II: G–P. 2016. 232 с.
- ЭСРЯ-III — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. III. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 2-е издание, стереотипное. М.: Прогресс, 1971. 827 с.
- ЭСРЯ-IV — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перев. с нем. яз. О. Н. Трубачева, с дополнениями. Под ред. и с предисловием проф. Б. А. Ларина. М.: Прогресс. Второе издание. 1986–1987. Т. IV. 576 с.
- ЭСТувЯ-I — Татаринцев Б. И. Этимологический словарь тувинского языка. Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». 2015. 400 с. (Т. I: А–Б), 2-е издание, дополненное.
- ЭСТувЯ-III — Татаринцев Б. И. Этимологический словарь тувинского языка. Том III: К–Л. Отв. ред. Д. А. Монгуш. Новосибирск: «Наука». 2004. 440 с.
- ШРиРШ — Курпешко-Таннагашева Н. Н., Апонькин Ф. Я. Шорско-русский и русско-шорский словарь. Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 149 с.
- ЯРС — Якутско-русский словарь. 25 300 слов. Под ред. П. А. Слепцова. М.: Изд-во «Советская энциклопедия». 1972. 568 с.

Чертыкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник.

**Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова.**

Пр. Ленина, д. 94, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017.

E-mail: chertikova@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 13 декабря 2021 г.

M. D. Chertykova

CONCEPTUAL SPACE HAPPINESS IN TURKIC LANGUAGES OF SIBERIA

The article is devoted to the identification and semantic-cognitive description of basic lexemes in the Turkic languages of Siberia, included in the conceptual space of happiness. The selected framework for considering the object of research, referred to as a conceptual space, we understand as a set (or conceptual content) of a set of interrelated linguistic and cultural entities, which represent a certain integrity in the conceptual sphere of the language and, in particular, in the consciousness of the linguistic personality. The material for the article was the data of bilingual dictionaries of the studied languages, as conceptual components of the conceptual space of happiness. It was revealed that most of the lexemes we have considered, representing the concept of happiness, are of Mongolian origin: yak: дьол / tof : чол / soyot : чол; tuv : кежик, аас-кежик / alt : кэжик / shor : кешик; hak : чырғал / tof : чырғал / kirg : жыргал / alt : жыргал etc. Significant aspects of happiness are success / luck / luck, also expressed in Mongolian borrowings: alt : мөп / hak : мөпий; well-being, pleasure: tuv. чырғал / hak : чырғал. Shor, Tofalar and Altai equivalents of this lexeme show a semantic change towards the concepts of “abundance of food”, “fun”, “feast”, “treat”. Interlanguage equivalents of vocabulary are analyzed from the point of view of the etymological transformation of semantics and their universal and distinctive fragments are revealed. Often the absence of happiness or good luck (tuv.: аас-кежик чок “unhappy”; hack: талаан чох / часка чох “unhappy”; alt : ырыс жок “unhappy”) is very close to the concept of fate (fate, share). The conceptual space of happiness in the Siberian Turkic languages, as well as in other languages of different structures, is a complex and multi-layered formation that has no clear boundaries.

Keywords: *siberian turkic languages, mongolian borrowing, dictionary definition, happiness, conceptual space, lexeme.*

References:

- Bakirova G. A.** Verbalizatsiya koncepta «schast'e» v tatarskom i anglijskom yazykah: avtoref. ... kand. filol. n. Kazan'. 2011.
- Chertykova M. D.** Koncept chaska «schast'e» kak otrazhenie felicitarnoj paradigmy hakasskogo mirovideniya // Yazyki i fol'klor korenyh narodov Sibiri. Nauchnyj zhurnal (Novosibirsk). 2018. Vypusk 35. S. 46–56.
- Cipinova L. H.** Obraznaya sostavlyayushchaya koncepta «schast'e» v russkoj, anglijskoj i kabardinskoj yazykovyh kartinah mira // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie. 2008. № 3. S. 59–64.
- Cypanov E. A.** Schast'e i udacha v finno-ugorskih yazykah // Linguistica Uralica. XLVIII. 2012. № 4. S. 265–275.
- Kaksin A. D.** Obraz cheloveka truda v rasskaze G.D.Lazareva «Soreng tov» // Vestnik ugrovedeniya. 2020. T.10. № 2. S. 245–253.
- Karpova N. S.** Koncept «schast'e» v chuvashskoj lingvokul'ture // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ya. Yakovleva. 2015. № 4. S. 41–45.
- Kolesov V. V.** «Sud'ba» i «schast'e» v russkoj mental'nosti // Seriya «Mysliteli». Razmyshleniya o filosofii na perekryostke vtorogo i tret'ego tysyacheletij: K 75-letiyu professora M.A.Korneeva. 2002. Vypusk 11. SPb.: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo. S. 98–106.
- Kolesov V. V.** Filosofiya russkogo slova. SPb.: YUNA, 2002. 444 s.
- Rassadin V. I.** Mongolo-buryatskie zaimstvovaniya v sibirskih tyurkskih yazykah. M.: Izdatel'stvo «Nauka». 1980. 117 s.
- Rassadin V. I.** Morfologiya tofalarskogo yazyka v sravnitel'nom osveshchenii. M.: Nauka, 1978. 288s.
- Romanov D. A.** Bestalannyj // Russkaya rech'. 2011, № 6. S. 103–109.
- Rusakov V. G.** Koncept schast'ya v romanah «Mashen'ka» Nabokova i «Veher u Kler» Gazdanova // Gazdanov i mirovaya kul'tura. Kaliningrad, 2000. S. 117–134.
- Rusakova I. B.** Koncepty «schast'e» — «neschast'e» v lingvokul'turnom sodержanii russkih poslovic: avtoref. ... kand. filol. n.: 10.02.01 — Russkij yazyk. M., 2007. 22 s.
- Shirobokova N. N.** O smene klassifikacionnogo tipa (na materiale tyurkskih. yazykov Sibiri) // Sibirskij filologicheskij zhurnal. 2015. № 4. S. 242–250.

- Skryabina A. A.** Koncept d'ol «schast'e» — sor «neschast'e» v yakutskoj lingvokul'ture: diss. kand. filol. n. Special'nost': 10.02.02. Yazyki narodov Rossijskoj Federacii (yakutskij yazyk). Yakutsk. 2020. 160 s.
- Solovar V. N.** Verbalizaciya koncepta «schast'e, udacha» v hantyjskom yazyke (na fone russkogo i tatarskogo yazykov) // Vestnik ugrovedeniya. 2016. № 3 (26). S. 77–85.
- Sulejmanova D. D.** Leksiko-semanticheskoe pole s klyuchevoj lekseмой «blagosostoyanie» v russkom, tatarskom, anglijskom i ispanskom yazykah (segment «vneshnie harakteristiki blagosostoyaniya») // Vestnik TGGPU, 2010. № 3 (21). S. 170–174.
- Ubryatova E. I.** Sledy drevnih tyurkskogo, ujugurskogo i kirgizskogo yazykov v sovremennyh yazykah Sibiri // Istoricheskaya grammatika yakutskogo yazyka: Uchebnoe posobie. Yakutsk: Izd-vo Yakutskogo gosudarstvennogo universiteta, 1985. S. 22–32.
- Unarokova R. B., Unarokova G. Sh.** Lingvokul'turnyj koncept «nasyp/schast'e» v adygejskom yazyke // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie. 2012. № 2. S. 244–247.
- Urbanovich G. I.** Geneticheskaya harakteristika leksiko-semanticheskogo polya «sud'ba, schast'e, udacha» v russkom yazyke: avtoref. ... kand. filol. n. Special'nost' 10.02.01. — Russkij yazyk. M., 2007.
- Zaliznyak A. A.** Schast'e i naslazhdenie v russkoj yazykovoj kartine mira // Zaliznyak A. A., Levontina I. B., Shmelev A. D. Klyuchevye idei russkoj yazykovoj kartiny mira. Sb. st. M.: Yazyki slavyanskoj kul'tury. 2005. S. 153–175.

Chertykova Maria Dmitrievna, doctor of science (philology), senior research fellow.

**Institute of Humanitarian Researches and Sayan-Altai Turkology
of Katanov Khakass State University.**

94 Lenina ave., Abakan, Russia, 655017.

E-mail: chertikova@yandex.ru

АНТРОПОЛОГИЯ

А. А. Бадмаев

ОБРАЗ БЕЛКИ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БУРЯТ¹

Актуальность темы обуславливается необходимостью сохранения нематериального культурного наследия народов России, в том числе знаний об их традиционной картине мира, куда входят и народные воззрения о дикой фауне.

В мифологических представлениях народов Евразии белка является распространенным зооморфным образом, что связано с широким ареалом ее обитания и утилитарным значением, которое она имела, являясь пушным зверем.

В бурятской этнографии данная тема ранее не рассматривалась. Целью работы является реконструкция комплекса народных воззрений бурят о белке с определением ее символики и выяснение представленности образа данного животного в их традиционной обрядности.

Источниками для исследования служат этнографо-фольклорные и лингвистические сведения, в особенности этнографические и фольклорные материалы, собранные Н. Н. Агапитовым, С. П. Балдаевым, Я. И. Линденау и др. Основной лингвистический материал получен из двухтомного словаря «Буряад-ород толи» (2010). Вспомогательный характер имеют полевые материалы автора.

Основным методом исследования избран структурно-семиотический метод, предусматривающий определение значений, в том числе белки. Методологической основой работы послужили труды А. К. Байбурина, П. Г. Богатырева, А. В. Гура и др.

Доказано, что белка была почитаемым диким животным у бурят. Выявлено, что образ этого зверька многозначен и характеризуется амбивалентностью коннотации.

Определено, что данное животное наделялось небесной, женской и продуцирующей символикой, и получило положительную коннотацию. Кроме того, выяснено, что в эпике бурят образу белки приписывали некоторую орнитоморфность. В то же время он получает и негативную коннотацию: с ним связывали мотив души врага культурного героя; он воспринимался как знак беды.

Образ белки прослеживается в семейной обрядности, в обрядах шаманов и охотников. В семейной обрядности с ним связаны фетиши (Эхэ Тоодэй, Хэрмэши-нойон и Булгаша-хатан и др.), наделяемые охранительной функцией. В ритуалах шамана он воспринимается как дух-помощник, посвященное духу-покровителю животное, также его шкура рассматривалась атрибутом шамана (эмблемой рода).

Ключевые слова: буряты, традиционное мировоззрение, дикая фауна, образ белки, фольклор, обрядность.

Введение

Актуальность изучения темы диктуется необходимостью сохранения нематериального культурного наследия, включающую в себя в том числе и знания о традиционной картине мира, куда вписаны народные воззрения о дикой фауне.

В традиционных представлениях народов Евразии белка является часто встречающимся зооморфным образом. Во многом это было связано с широким ареалом ее обитания и той практической пользой, которую она приносила, будучи пушным промысловым животным.

¹ Работа выполнена в рамках программы НИР проект № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–XXI вв. Исследования меняющейся роли традиционных культур, социальных институтов и экологических парадигм».

При этом в разных культурах ее образ получил неоднозначную оценку: У некоторых этнических групп белка имела высокий семиотический статус (например, у индусов), у других (в частности, у славянских народов и вепсов) — не считалась почитаемым животным.

В бурятской этнографии данная тема до сих пор не получила освещения. Работа нацелена на реконструкцию комплекса народных воззрений бурят о белке с определением ее символики и на выяснение представленности образа данного животного в их традиционной обрядности.

Источниковой базой исследования послужили этнографо-фольклорные и лингвистические сведения. Особенно следует выделить этнографические и фольклорные данные, собранные в свое время такими авторами, как Н. Н. Агапитов, С. П. Балдаев, Я. И. Линденау и др. Лексический материал представлен данными из ряда двуязычных словарей, главным образом из второго тома словаря «Буряад-оруд толи» (2010). Дополнительный характер имеют полевые материалы автора.

Основным методом исследования является структурно-семиотический метод, предусматривающий определение значений, в нашем случае белки. Методологической основой работы послужили труды А. К. Байбурина, П. Г. Богатырева, В. В. Иванова, А. В. Гура, И. Ю. Винокуровой и др.

Результаты и обсуждение результатов

Образ белки, точнее забайкальской белки (*Sciurus vulgaris fusconigrans* Dvigubsky), вошел в традиционное мировоззрение и обрядность бурят в первую очередь из-за того утилитарного значения, которое это дикое животное имело в жизни бурят.

В прошлом белка была одним из самых промысливаемых бурятами пушных зверьков. Ее мех использовался при шитье головных уборов, но главное, что он играл роль «мягкого золота» — обменивался на необходимые продукты и продавался русским и монгольским купцам и торговцам, отдавался в счет уплаты ясака в царскую казну.

Локальное распространение в лесных предгорьях Восточных Саян получил еще один вид белки — *олбо* ‘белка-летяга’, но в силу того, что он не имел промыслового значения, у бурят не сложился комплекс народных воззрений о нем.

Лесной зверек, как известно, питается семенами хвойных деревьев, кедровым орехом, а также плодами и грибами, такая его избирательность в употреблении преимущественно растительной пищи могла повлиять на возникновение у бурят представлений о некой «чистоте» животного. По этой причине беличье мясо не только отдавалось на промысле собакам, но и приносилось домой и употреблялось в кругу семьи охотника в отварном и жареном виде (ПМА). Скажем, в отличие от бурят, в традиции славян белка считалась нечистым животным, и ее мясо рассматривалось как несъедобное (Гура, 1997: 252–253).

В народной зоологической классификации бурят белка входила в группу диких зверей, именуемую *Үнэлиг ан гуроол* ‘Пушистые дикие звери’, в которую объединяли как мелких, так и крупных пушных животных Байкальского региона (хорька/колонка, горностая, соболя, лисицу и др.).

Бурятский термин, обозначающий белку, находит параллели в языках других монгольских народов, что свидетельствует о единой древнемонгольской основе этого названия зверька: *Хэрмэн* ‘белка’ (Буряад-оруд толи, 2010: С. 521); *хэрэм* (*хэрмэн*) ‘белка’ (Большой академический..., 2001–2002:1906); *кермн* ‘белка’ (Русско-калмыцкий..., 1964: 36); *кэрмэ(н)* ‘белка’ (Хамниганско-русский..., 2015: 194); *кэрэм* ‘белка’ (Краткий дагурско-русский ..., 2014: 100).

В языке бурят обнаруживается следующая половозрастная градация данного животного: *Хубуун хэрмэн* ‘бельчонок’; *эмэ хэрмэн* ‘белка-самка’; *эрэ хэрмэн* ‘белка-самец’.

Особенно показательны диалектные слова, определяющие бельчат осеннего помета: *шоноог* (адли) ‘букв. подобный волку, тунк. третий выводок бельчат’; *харза* ‘букв. полынья, третий выводок бельчат’. Семантика этих слов негативная: смысловое значение первого диалектизма связывается с негодностью таких бельчат (от *шоно* ‘волк, негодник’), а второго слова — увязывается с водой (полынью), что при характеристике животного обычно подчеркивает его физическую ущербность.

Интересно, что в некоторых иносказаниях белки в качестве эпитета используется слово *хуба* ‘янтарный’: для примера, *хуба харагшан* ‘букв. янтарный водянистый, линяющая белка (осенью)’; *хуба хэрмэн* ‘букв. янтарная белка, старая белка-самка’ (Буряад-ород толи..., 2010: 521). Очевидно, что буряты вкладывали в него свое отрицательное отношение к шкуркам таких белок. На белку, как и на других пушных животных, охотились зимой, когда у зверька был высокий, пушистый и крепкий мех. А во время осенней линьки беличий мех был редким и коротким, и поэтому не ценился. То же можно сказать и о шкурке старой белки, не отличавшейся качеством меха.

В лексике бурят нашли отражение некоторые биологические признаки этого грызуна. Прежде всего, в ней делается акцент на различие окраса меха спинки данного животного: *Улэ хэрмэн* ‘букв. серая белка’; *хара хэрмэн* ‘букв. черная белка, ангарская белка’. Вероятно, буряты средствами языка передают сезонные изменения беличьего меха: Зимой на спинке зверька волос темно-серого тона, с серо-черной рябью, а летом — мех черный или чернобурый. Кроме того, в природе Байкальского региона изредка встречаются белки с белой спинкой и грудкой — *сагаан хэрмэн* ‘белка-альбинос’. Другим маркером был цвет хвоста у белки, соответственно выделяли: *шара (хуул) хэрмэн* ‘белка с рыжим хвостом’; *хара хуултэй хэрмэн* ‘чернохвостая белка’.

Во фразеологии бурят некоторые признаки, присущие данному зверьку, переносятся на характеристику человека. Так, в отношении поджарого мужчины говорят: *Хэрмэн малгай* ‘букв. беличья шапка, перен. сухопарый’ или *хэрмэн маряатай* ‘поджарый как белка’. Заметим, что калмыки подчеркивали главную черту белки — ее ловкость: *Аратла эдл мектэ, кермилэ эдл навишун* пог. ‘Хитер как лиса, ловок как белка’ (Хальмг-орс толь, 1977: 296).

В бурятских загадках отмечаются особенности глаз грызуна и его способ перемещения преимущественно по кронам деревьев: *Монголһоо нааша мойлоохон, модон дээгуур гуйлоохэн* ‘Из Монголии сюда (пришедший) с черемуховыми глазами, по верхам деревьев бегающий’ (перевод наш — А. Б.) (Оньһон угэнууд ..., 1956: 21). Примечательно упоминание в загадке места исхода — Монголии, оно, несомненно, отражает факт миграции белок или их сезонную перекочевку на значительные расстояния, спорадически происходящие из-за нехватки кормовой базы.

Номинация белки встречается в ботанической лексике бурятского языка: беличьим хвостом именуют одну из традиционных зерновых культур: *Хэрмэн хуул* ‘букв. беличий хвост, бот. ячмень короткоостый’. Действительно, колос ячменя внешне напоминает длинный и пышный хвост этого животного.

В антропонимии бурят обнаруживается женское имя, омоничное названию белки — *Хэрмэн* (Митрошкина, 1987: 82). Кроме того, в бурятской топонимии фиксируется обозначение горных объектов и других природных объектов наименованием данного лесного зверька.

Перейдем к рассмотрению образа белки в мифологических представлениях бурят.

Прежде всего следует констатировать, что это дикое животное было редким персонажем в бурятском фольклоре, поэтому реконструкция его образа будет иметь фрагментарный характер.

По версии А. И. Манжигеева, данный зверек, наряду с соболем, мог быть тотемом древнебурятских племен XII–XIII вв. — булагачинов (*булагашан* ‘соболевщик’) и керемучинов (*хэрмэшин* ‘белковщик’) (1978: 92). В пользу этой версии исследователь приводит бытование у части предбайкальских бурят фетиша *Хэрмэши нойон*, *Булгаша хатан*. Однако сами

названия упомянутых выше племен указывают на их охотничью специализацию (на белку и соболя), а это обстоятельство не позволяет утверждать о существовании тотемных культов этих животных у древних бурят.

В шаманской поэзии белка связывается с некоторыми шаманскими родами, по Л. С. Дампиловой, за ее образом скрывается история шаманов и «кодируется негативное» (2005: 113). Речь идет о представителях Хурдутского и Онгоевского родов предбайкальских бурят — в их обращениях-призывах к духам-покровителям говорится:

*«Хурхуудай хорин хоер
Мираа хара боошуул
Хара хэрмэн залаатан,
Онгойн олон тумэн
Ородоһотой хара заарингууд
Сагаан хэрмэн залаатан...»*

Двадцать два хурхудтских
Родовитых черных шамана,
С привесками из черных белок,
Многое множество онгоевских
С чудесными силами черных заринов,
С кисточками из белых белок...»
(Балдаев, 2010: 27–28).

Из приведенного фрагмента можно вынести, что белка, как черная, так и белая (альбинос), рассматриваемая как дух-помощник черного шамана, принадлежит темной стороне неба, согласно бурятской мифологии, населенной черными небожителями-тэнгринами. Отсюда следует констатировать небесную символику данного грызуна. Вероятность этого зиждется на наблюдениях бурят за образом жизни белки. Прежде всего ими обращалось внимание на расположение убежищ животного, которыми являлись дупла, самодельные гнезда, а также брошенные гнезда врановых и ряда других птиц, устраиваемые на верхушках деревьев. Его «воздушное» нахождение трактовалось близостью этого лесного зверька к небу — Верхнему миру. Кроме того, на такие выводы их наталкивало перемещение белки главным образом по верхушкам деревьев (ПМА: С. О. Бильдуев). Примечательно, что, по представлениям ульчей, белка служит транспортом, наоборот, в Нижний мир — буни (Бурыкин, 2007: 267).

Выше уже упоминалось, что основным признаком данного грызуна является его ловкость. В бурятской эпике конь уподобляется белке (Бадмаев, 2020а: 38) и наделяется ее качествами — стройностью, тонкостью (Шаракшинова, 2000: 47) и рядом других: «Водит солового коня Зан по гальке — укрепляет копыта, водит по льду — округляет копыта, ... водит по просторам полей, чтобы обрел проворство и легкость белки ...» (Бурчина, 2007: 148).

В этой связи стоит отметить, что, по мифологическим воззрениям бурят, белка, подобно коню, имеет орнитоморфность образа, в частности, это передается в следующем отрывке:

*«Над вершиной деревьев
Они [конные богатыри], как две белки, мелькают,
Над вершинами гор
Они, как две птицы (выделено мною — А. Б.), взлетают»*
(Гэсэр, 1986: 33).

Вспомним, что птицы, по народным суждениям бурят, также ассоциировались с небом и некоторые из них исполняли роль посредника между мирами.

У бурятских охотников с белкой были связаны некоторые приметы, в которых она, в частности, предстает знаком приближающейся беды; так, верили, что «белка скулит — в тот день оставь промысел — худое случится» (Осокин, 1906: 224). Такое нетипичное поведение животного — издание звуков, отражающих тревожное психоэмоциональное состояние, — воспринималось как предупреждение промысловика. Боязнь остаться на охоте без добычи, беличьих шкурок, породило у бурят следующее представление: «Видеть во сне белку — плохо, не добудешь ее» (Полтараднев, 1929: 102).

Об отрицательной коннотации данного зверька у бурят свидетельствует, например, сказка «Баатар Сагаан хаан» (Богатырь Белый хан), в которой с белкой увязывается мотив души: «Душа Бухадайр-хана на юго-западной стороне на расстоянии трех лет между двумя одинаковыми осинами находится белка с белой мордой <...> Когда разорвал белку с белой мордой, Бухадайр-хан испустил дух» (Сказки бурят..., 1997: 29). В приведенном фрагменте фольклорного произведения этот грызун воплощает душу врага культурного героя.

Теперь выясним представленность образа белки в традиционной обрядности бурят.

Образ данного дикого животного был инкорпорирован в традиционную обрядность бурят и, в первую очередь, нашел воплощение в семейных фетишах-онгонах. Одно из описаний такого семейного пената дается в работе Я. И. Линденау: «Это изображение первых людей или с обеих сторон умерших родителей (со стороны мужа и жены). <...> Мать — это белка, к ней пришиты *Goli* (*голи* — вид китайского шелка — Авт.) и воткнуты перья ушастой совы, которую русские называют филином. Этих божков держат (в мешке из войлока) в юртах с южной стороны. Им приносят жертвы в месяце *Ulara* (*улар хара* ‘букв. месяц горной куропатки, сентябрь’ — А. Б.), и их приносит шаман на свадьбу» (1983: 147). Судя по относимому к тексту схематичному рисунку, к беличьей шкурке сверху пришивали войлочную человеческую личину с воткнутыми в нее двумя перьями филина (возможно, символизирующими беличьи уши), а снизу ее обертывали куском шелка — «халатом». На самой шкуре крепили два симметрично расположенных пера филина, вероятно, обозначавшие лапы-«крылья» фетиша. Этот онгон, известный как *Эхэ Тоодэй* ‘букв. Мать Бабушка, праматерь’, и воплощавший женскую линию предков семьи, очевидно, указывает на женскую символику образа белки. С другой стороны, неслучайно придание птичьих черт фетишу (воткнутые перья филина); как ранее мы выяснили, буряты особо подчеркивали орнитоморфность образа данного животного. Заметим, что буряты верили, что филин находится под покровительством «белых» небожителей и, в свою очередь, способен защитить маленьких детей от нечистой силы (Бадмаев, 2020б: 112). Показателен месяц, когда почитали этот онгон ‘изображение шаманского духа-гения’, — сентябрь, в старину на него выпадало празднование бурятского Нового года, порогового времени, ознаменованного рождением нового календарного цикла.

Можно найти ближайшую параллель данному онгону в культуре хакасов: у них в прошлом был распространен фетиш Хачай/Тиин тѣс ‘Беличий фетиш’, «олицетворявший дух пожилой женщины» и которому также придавали антропоморфный вид (Бурнаков, 2020: 117–118). Внешне Беличий фетиш отличался от бурятского аналога тем, что в нем использовалась беличья шкурка с хвостом, был оформлен такой элемент женского костюма, как шапочка, и пришивались выполненные из ткани подобия руки. Безусловно, бурятский онгон выглядит более архаично. Напомню, что Я. И. Линденау зафиксировал его у нижнеудинских (предбайкальских) бурят, земли которых в первой половине XVIII в. географически прилегали к территории этнического расселения хакасов, и поэтому между двумя народами не исключены были этнокультурные контакты.

Другой семейный фетиш в виде выделанной шкурки белки, наряду с мехом бурундука и горноста, содержался в специальном деревянном футляре на стене юрты (Зеленин, 1936: 150). Ему жертвовали молочную пищу, совершая обряд окропления его, и просили защиту и благополучие для семьи.

Третий онгон, связанный с образом белки, тоже представлял отдельную шкурку животного, которую подвешивали у свето-дымового отверстия юрты. Он воплощал духа-хозяина горы *Хэрмэн ула* 'Беличья гора' *Хэрмэши-нойон* 'Господин белковщик' и его супругу *Булгаша-хатан* 'Госпожа соболевица', очевидно, в именах этих мифических персонажей дается указание на основные объекты традиционной пушной охоты бурят — белку и соболя. Важно место расположения этого фетиша — свето-дымовое отверстие, которое, по представлениям бурят, в горизонтальной структуре внутреннего пространства жилища принадлежит Верхнему миру. Верили, что функцией мистических духов онгона является оказание покровительства новорожденным детям, что говорит об их продуцирующей символике, которая проецировалась и на образ белки, будто бы подвластной им. О данном фетише также сообщается следующее: «... шкуру обертывают цветными лентами; кровавых жертв им не делают, а обряд совершают курунгой и тарасуном (*хурэнгэ* 'простокваша'; *дарһан* 'молочная водка'. — А. Б.); о них говорится, что **они не ходят по росистой траве** (выделено мною — А. Б.) (*шудэртэ ного гэшхэ угэй*)» (Агапитов, 1883: 29). Исходя из состава преподносимой им жертвенной пищи, можно заключить, что упомянутых выше духов-хозяев относили к «белым духам-защитникам», представлявшим светлую часть неба, отсюда надо предполагать, что подчиненная им белка имела положительную коннотацию. Выделенная нами часть цитаты из работы Н. Н. Агапитова характеризует не только мифических владельцев белки, но и само животное: по народным суждениям бурят, оно редко бежит по земле.

Нельзя не отметить, что у хакасов и предбайкальских бурят жертвоприношение беличьим фетишам, помимо обрядов, совершаемых по случаю, было приурочено к наступлению Нового года (у бурят это выпадало на осень, у хакасов — на начало весны (Бурнаков, 2020: 119)). Кроме того, неслучайно месторасположение этих фетишей в пространстве традиционного жилища у обоих народов: хотя у бурят входное отверстие было направлено на юго-восток или юг, а у хакасов — на восток, данные семейные пенаты располагались строго на женской половине, в том числе у свето-дымового отверстия.

Образ данного грызуна включен также в обряды бурятских шаманов и охотников.

Буряты полагали, что белка подчинена не только отдельным духам-хозяевам местности, но духу-хозяину зверей *Ангай эжэн*, духу-хозяину охоты *Анда бара*, и духу-хозяину тайги *Баян Хангай* и др. Например, чтобы получить расположение *Анда бара*, охотники совершали ему обряд жертвоприношения домашним скотом (овцой или лошадей), номинируемый *Хэрмэнэй шарууһан* 'Беличье угощение'. А нижнеудинские буряты перед предстоящей охотой на белку проводили обряд жертвоприношения *Хунишуулхэ* 'Чадить' духам-покровителям посредством угощения домашнего огня маслом, молочным чаем и саламатом.

В шаманской обрядности бурят белка выступала в различных ипостасях.

Полагали, что духами-помощниками шамана, получившего первое посвящение, — *дуһаалгайн боо* 'капающий шаман' — являются заяц и белка (Зеленин, 1936: 390), которые якобы должны были защищать его. При достижении статуса шамана, владеющего конскими тростями (таким образом, как считали, имеющего в качестве транспорта восьминогих коней), на данные атрибуты вешали шкурки белки, хорька/колонка и горностая (Агапитов, 1883: 118), обозначавших его духов-помощников. Шаман же высокого звания обладал набором звериных шкур, называемый *Табан хушуута онгон* 'Онгон из пяти морд' (белка, соболь, горностай, хорек/колонок, заяц). Однако во время проведения коллективных обрядов жертвоприношения на вкопанную березку вывешивали беличий мех вместе с еще большим числом звериных шкур, все это называлось *Юһэн хушуута онгон* 'Онгон из девяти морд'.

Кроме этого, живая белка играла роль посвященного духу-хозяину земли *Гахай багша* 'Кабан учитель' животного (ПМА: Л. Б. Сотнич).

Наконец, как было сказано выше, беличья шкура определенного окраса (скорее хвост животного), прикрепленная к верху тульи головного убора, служила эмблемой представителей отдельных шаманских родов.

Выводы

Исследование показывает, что белка являлась почитаемым диким животным у бурят. В ходе анализа материала выявляется многозначный образ данного лесного грызуна. Определено, что белка характеризуется неоднозначностью коннотации.

В мифологических воззрениях и традиционной обрядности бурят лесной зверек наделяется небесной, женской и продуцирующей символикой, имеет положительную коннотацию. В эпике бурят прослеживается орнитоморфность образа белки. Между тем он получает и отрицательную коннотацию, увязываясь с мотивом души врага культурного героя, а также воспринимаясь как знак беды.

Образ белки был инкорпорирован в семейные обряды, обряды шаманов и охотников. В семейной обрядности он нашел воплощение в некоторых фетишах (Эхэ Тоодэй, Хэрмэши-нойон и Булгаша-хатан и др.). В шаманской обрядности бурят он выполнял функции духа-помощника шамана, его атрибута (эмблема рода), и посвященного духу-покровителю животного.

Список сокращений:

БНЦ СО РАН — Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.

ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

ИААЭ — Институт антропологии, археологии и этнографии АН СССР

Литература:

Агапитов Н. Н. Материалы для изучения шаманства в Сибири. Шаманство у бурят Иркутской губернии. Иркутск, 1883. 169 с.

Бадмаев А. А. Образ и символика коня в мифологических воззрениях и обрядности бурят // Гуманитарные науки в Сибири. 2020а. № 2. С. 33–39.

Бадмаев А. А. Традиционные представления бурят о птицах // Археология, этнография и антропология Евразии. 2020б. Т. 48, № 2. С. 106–113.

Балдаев С. П. Родословные предания и легенды бурят /отв. ред. А. И. Уланов. Ч. I. Изд. 2. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2009. 376 с.

Большой академический монгольско-русский словарь. М.: Academia, 2001–2002. 2198 с.

Бурнаков В. А. Фетиши — тёсы в традиционном мировоззрении хакасов (конец XIX — середина XX века). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. 188 с.

Бурчина Д. А. Героический эпос унгинских бурят: Указатель произведений и их вариантов. Новосибирск: Наука, 2007. 544 с.

Бурькин А. А. Вера в духов. Сколько душ у человека. СПб.: Азбука-классика; Петербургское Востоковедение, 2007. 320 с.

Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь. В 2 т. Улан-Удэ: Республиканская типография, 2010. Т. II. О–Я. 708 с.

Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. 912 с.

Гэсэр. Бурятский народный героический эпос. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1986. Т. II. 288 с.

Дампилова Л. С. Шаманские песнопения бурят: символика и поэтика. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. 248 с.

Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. Пережитки тотемизма в идеологии сибирских народов // Тр. ИААЭ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. Т. XIV: Этнографическая серия, вып. 3. 436 с.

Краткий дагурско-русский словарь. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2014. 236 с.

Линденау Я. И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII в.). Историко-этнографические материалы о народах Сибири и Северо-Востока. Магадан: Магаданское кн. изд-во, 1983. 176 с.

Манжигеев И. А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины: опыт атеистической интерпретации. М.: Наука, 1978. 126 с.

Митрошкина А. Г. Бурятская антропонимия. Новосибирск: Наука, 1987. 222 с.

Онъһон угэнууд, таабаринууд / сост. Д. Мадасон. Улан-Удэ: Бурят-монголой номой хэблэл, 1956. 40 с.

Осокин Г. М. На границе Монголии: Очерки и материалы к этнографии Юго-Западного Забайкалья. СПб.: тип. А. С. Суворина, 1906. 304 с.

Полтараднеев П. Пушной промысел в Тункинском районе: Процесс охоты на соболя // Жизнь Бурятии. 1929. № 1. С. 99–106.

Русско-калмыцкий словарь / под ред. И. К. Илишкина. М.: Советская энциклопедия, 1964. 803 с.

Сказки бурят Монголии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. 122 с.

Хальмг-орс толь. Калмыцко-русский словарь. М.: Русский язык, 1977. 768 с.

Хамниганско-русский словарь. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2015. 364 с.

Шаракшинова Н. О. Улигеры бурят. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. 153 с.

Бадмаев Андрей Андреевич, доктор исторических наук, старший научный сотрудник.

Институт археологии и этнографии СО РАН.

Пр. Академика Лаврентьева, д. 17, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630090.

E-mail: badmaevaa@ngs.ru

Материал поступил в редакцию 5 января 2022 г.

A. A. Badmaev

THE IMAGE OF A SQUIRREL IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE BURYATS

The relevance of the topic is determined by the need to preserve the intangible cultural heritage of the peoples of Russia, including knowledge about their traditional picture of the world, which includes folk views about wild fauna.

In the mythological representations of the peoples of Eurasia, the squirrel is a common zoomorphic image, which is associated with its wide range of habitat and the utilitarian meaning that it had as a fur-bearing animal.

In buryat ethnography, this topic has not been considered before. The aim of the work is to reconstruct the complex of buryat folk beliefs about the squirrel with the definition of its symbolism and to clarify the representation of the image of this animal in their traditional rituals.

The sources for the research are ethnographic-folklore and linguistic information, especially ethnographic and folklore materials collected by N. N. Agapitov, S. P. Baldaev, Ya. I. Lindenau, etc. The main linguistic material is obtained from the two-volume dictionary “Buryad-oroḍ toḗl” (2010). The author's field materials are of an auxiliary nature.

The main method of research is the structural-semiotic method, which provides for the determination of values, including squirrel. The methodological basis of the work was the works of A. K. Bayburin, P. G. Bogatyrev, A. V. Gura and others.

It is proved that the squirrel was a revered wild animal among the buryats. It is revealed that the image of this animal is ambiguous and characterized by ambivalence of connotation.

It was determined that this animal was endowed with heavenly, feminine and producing symbols, and received a positive connotation. In addition, it was found out that in the epic of the buryats, some ornithomorphism was attributed to the image of a squirrel. At the same time, he also receives a negative connotation: the motive of the soul of the enemy of the cultural hero was associated with him; he was perceived as a sign of trouble.

The image of the squirrel can be traced in family rituals, in the rituals of shamans and hunters. In family rituals, fetishes are associated with it (Ekhe Toodei, Khermeshi-noyon and Bulgasha-khatan, etc.), endowed with a protective function. In shaman rituals, he is perceived as an assistant spirit, an animal dedicated to the patron spirit, and his skin was also considered an attribute of the shaman (an emblem of the clan).

Keywords: *Buryats, traditional worldview, wild fauna, squirrel image, folklore, ritual.*

References:

Agapitov N. N. Materialy dlya izucheniya shamanstva v Sibiri. Shamanstvo u buryat Irkutskoi gubernii [Materials for the study of shamanism in Siberia. Shamanism among the buryats of Irkutsk province]. Irkutsk, 1883. 169 p.

- Badmaev A. A.** Obraz i simbolika konya v mifologicheskikh vozzreniyakh i obryadnosti buryat [The image and symbolism of the horse in the mythological views and rituals of the buryats] // *Gumanitarnye nauki v Sibiri* [Humanities in Siberia]. 2020a. № 2. P. 33–39.
- Badmaev A. A.** Traditsionnye predstavleniya buryat o ptitsakh [The traditional ideas of the buryats about birds] // *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii* [Archaeology, Ethnography and Anthropology of Eurasia]. 2020b. Vol. 48, № 2. P. 106–113.
- Baldaev S. P.** Rodoslovnye predaniya i legendy buryat [Pedigrees and legends of the Buryats]. Pt. I. Ulan-Ude: Buryat Univ. Press, 2009. 376 p.
- Bol'shoi akademicheskii mongol'sko-russkii slovar'* [Large Academic Mongolian-Russian Dictionary]. Moscow: Academia, 2001–2002. 2198 p.
- Burchina D. A.** Geroicheskii epos unginskikh buryat: Ukazatel' proizvedenii i ikh variantov [The heroic epic of the Unga buryats: An index of works and their variants]. Novosibirsk: Nauka, 2007. 544 p.
- Burnakov V. A.** Fetishi — tesy v traditsionnom mirovozzrenii khakasov (konets XIX — seredina XX veka) [Fetishes — tos in the traditional worldview of the khakass (end 19th — middle 20th century)]. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2020. 188 p.
- Buryaad-orod toli. Buryatsko-russkii slovar'* [Buryat-Russian dictionary]. Ulan-Ude: Respublikanskaya tip., 2010. Vol. II. 708 p.
- Burykin A. A.** Vera v dukhov. Skol'ko dush u cheloveka [Belief in spirits. How many souls does a person have]. St.-Petersburg: Azbuka-klassika; Peterburgskoe Vostokovedenie, 2007. 320 p.
- Dampilova L. S.** Shamanskii pesnopeniya buryat: simbolika i poetika [Shamanic chants of the buryats: symbolism and poetics]. Ulan-Ude: BSS SB RAS Publ., 2005. 248 p.
- Geser. Buryatskii narodnyi geroicheskii epos* [Geser. Buryat folk heroic epic]. Ulan-Ude: Buryat book Publ., 1986. Vol. II. 288 p.
- Gura A. V.** Simbolika zhivotnykh v slavyanskoi narodnoi traditsii [The symbolism of animals in slavic folk tradition]. Moscow: Indrik, 1997. 912 p.
- Khal'mg-ors tol'. Kalmytsko-russkii slovar'* [Kalmyk-Russian dictionary]. Moscow: Russkii yazyk, 1977. 768 p.
- Khamnigansko-russkii slovar'* [Hamnigan-Russian Dictionary]. Irkutsk: Ottisk, 2015. 364 p.
- Kratkii dagursko-russkii slovar'* [Short Dagur-Russian Dictionary]. Ulan-Ude: BSS SB RAS Publ., 2014. 236 p.
- Lindenau Ya. I.** Opisanie narodov Sibiri (pervaya polovina XVIII v.). Istoriko-etnograficheskie materialy o narodakh Sibiri i Severo-Vostoka [Description of the peoples of Siberia (the first half of the XVIII century). Historical and ethnographic materials about the peoples of Siberia and the Northeast]. Magadan: Magadan book Publ., 1983. 176 p.
- Manzhigeev I. A.** Buryatskie shamanisticheskie i doshamanisticheskie terminy: opyt ateisticheskoi interpretatsii [Buryat shamanistic and pre-shamanistic terms: the experience of atheistic interpretation]. Moscow: Nauka, 1978. 126 p.
- Mitroshkina A. G.** Buryatskaya antroponimiya [Buryat anthroponymy]. Novosibirsk: Nauka, 1987. 222 p.
- On'khon ugenud, taabarinud* [Proverbs, sayings, riddles]. Ulan-Ude, Buryat-Mongol book Publ., 1956, 40 p.
- Osokin G. M.** Na granitse Mongolii: Ocherki i materialy k etnografii Yugo-Zapadnogo Zabaikal'ya [On the border of Mongolia: Essays and materials for the ethnography of South-Western Transbaikalia]. St.-Petersburg: Suvorin Publ., 1906. 304 p.
- Poltaradnev P.** Pushnoi promysel v Tunkinskom raione: Protsess okhoty na sobolya [Fur fishing in the Tunka district: The process of hunting sable] // *Zhizn' Buryatii* [Life of Buryatia]. 1929. № 1. P. 99–106.
- Russko-kalmytskii slovar'* [Russian-Kalmyk dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1964. 803 p.
- Sharakshinova N. O.** Uligery buryat [Tales of the Buryats]. Ulan-Ude: BSS SB RAS Publ., 2000. 153 p.
- Skazki buryat Mongolii* [Tales of the buryats of Mongolia]. Ulan-Ude: BSS SB RAS Publ., 1997. 122 p.
- Zelenin D. K.** Kul't ongonov v Sibiri. Perezhitki totemizma v ideologii sibirskikh narodov [The cult of ongons in Siberia. Remnants of totemism in the ideology of the siberian peoples] // *Trudy instituta antropologii, arkheologii i etnografii AN SSSR* [Works of the Institute of Anthropology, Archeology and Ethnography of the USSR Academy of Sciences]. Moscow; Leningrad: USSR AS Publ., 1936. Vol. XIV: Ethnographic series, iss. 3. 436 p.

Badmaev Andrey Andreevich, doctor of science (history), senior research fellow.

RAS, Siberian branch, Institute of Archaeology and Ethnography.

17 Academician Lavrentiev ave., Novosibirsk, Russia, 630090.

E-mail: badmaevaa@ngs.ru

В. А. Бурнаков

КОНЬ И КОНСКАЯ УПРЯЖЬ В ОБРЯДНОСТИ ДЕТСКОГО ЦИКЛА ХАКАСОВ (КОНЕЦ XIX — СЕРЕДИНА XX ВЕКА)¹

Данная статья посвящена изучению роли коня и его снаряжения в традиционной обрядности хакасов, связанной с миром детства. Основанием для исследования послужили этнографические и фольклорные источники, среди которых важное место занимают сведения, собранные И. Г. Гmeliным, Н. Ф. Катановым, В. Я. Бутанаевым, Н. С. Тенешевым и другими исследователями. Фольклорные материалы — отрывки из героических сказаний (*алыптыг ныхмахтар*), используемые в работе, впервые представлены в авторском переводе на русском языке. В рассматриваемой статье вводятся в научный оборот и архивные этнографические материалы по обозначенной проблематике.

Проанализированы место коня и функции элементов конского снаряжения в детском обрядовом цикле хакасов. Благодаря тому, что это животное было задействовано во многих сакрализованных действиях, оно наделялось высоким семиотическим статусом. Сакральная функция коня определялась верой в его апотропеистические свойства. В связи с тем, что это животное являлось также символом плодородия, его образ и отдельные элементы его снаряжения широко использовались в обрядности, связанной с дородовым, родовым и постродовым детским циклами.

Ключевые слова: хакасы, традиционная культура, фольклор, мировоззрение, обрядность, конь, упряжь, мир детства, имянаречение.

Традиционная культура была и остается одним из ключевых направлений исследовательского поля этнографии. При этом значимое место отводится изучению ее мировоззренческой составляющей, включая обрядовую сферу. В ней существенное значение придается определению места и роли животных, в том числе и домашних, в традиционных представлениях и ритуальных практиках народов мира. В наши дни в связи со стремительными изменениями в жизни носителей традиционной культуры неизбежно идет процесс ее трансформации, ведущий к исчезновению отдельных пластов традиционного мировоззрения. Не стали исключением и хакасы. Указанное обстоятельство определяет актуальность нашего исследования.

Хакасы на протяжении многих веков ведут хозяйственную деятельность, включающую в себя разведение домашнего скота и птицы, земледелие, рыболовство, охоту и пр. Скотоводство у них всегда было и остается приоритетной отраслью хозяйства. Среди традиционных домашних животных — лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, хакасы наибольшее предпочтение отдавали первым из-за их полифункциональности, так как они являлись и ездовым животным, и источником сырья и пищи, и фигурировали в шаманской обрядности. Не менее значимая роль отводилась лошади в ритуалах жизненного цикла человека. На всех этапах человеческой жизни, начиная с рождения до свадьбы и заканчивая смертью, отмечается присутствие коня, несущее в себе особое семантическое значение, содержащее в себе архаические религиозно-мифологические представления.

В религиозно-мифологическом сознании хакасов конь и его образ тесно связаны с идеей плодородия и мужского начала. Некоторые из коней возводились в ранг священных существ — *ызых'ов*, посвященных различным божествам. Они воспринимались в качестве оберега и носителя *талан* — благополучия, счастья, удачи и богатства хозяина и его семьи, рода и т. д. Вместе с тем сакральными свойствами наделялись также отдельные части тела и

¹ Исследование проведено по проекту № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–XXI вв. Исследования меняющейся роли традиционных культур, социальных институтов и экологических парадигм»).

обычных хозяйских коней. Так, например, в народе широко бытовали убеждения о том, что конские тестикулы, как и соответствующие органы других животных, связанные с фертильной функцией, положительным образом влияют на физическое здоровье и половую потенцию мужчин, употребивших их в пищу. По распространенному мнению, их прием способствовал значительному увеличению деторождения. Как известно, получение тестикул происходит в период кастраций домашних животных. Данная норма обусловлена хозяйственными целями и издревле была распространена среди всех народов, занимающихся скотоводством (Миллер, 2009: 216).

Кастрация животных происходила обычно весной. Этот процесс проводился мужчинами. Тестикулы хакасы употребляли в пищу после особого ритуала. Отрезанные яички помещали в сосуд, наполненный молоком. Его накрывали белой тканью и помещали на алтарь. Сосуд там находился в течение трех суток. Согласно традиции это делалось для удержания в доме *талан* (благополучия, удачи и пр.), воплощением которого служили препарированные органы. На третий день праздновали «*чимкеен той*» — букв. ‘холощенный пир’. Сосуд вместе с содержимым изымался с алтаря. Тестикулы разрезали на мелкие части и варили в воде или молоке с солью, иногда жарили на сметане или масле. Затем устраивалось пиршество. По этикету приготовленное блюдо должны были испробовать все члены семьи, особенно его мужская половина (Кузнецова, Кулаков, 1898: 195; Бутанаев, 2003: 59). Вполне возможно, что истоки этого обряда восходят к архаичному фаллическому культу, который был присущ многим народам мира.

Конь фигурирует в распространенных у хакасов обрядах почитания каменных изваяний — *кӧзее*, *обаа*, *хуртуях*, олицетворявших далеких пращуров, а также различных духов и божеств. К ним обращались за помощью в разрешении всевозможных жизненных проблем, а также дарования удачи в бытовых и хозяйственных делах. Самой главной просьбой, с которой поклонялись этим изображениям, были просьбы о деторождении. Наиболее известным каменным изваянием с древних времен является *Улуг Хуртуях Тас* — ‘Великая каменная бабушка’, расположенная в аскизской степи близ *аал’а* Анхаков (Бурнаков, 2012: 335–344). Верующие, обращаясь к ней с просьбами и молитвами, подносили жертвенные дары в виде еды из мяса и молока, сакральных ленточек *чалама* и пр. По историко-этнографическим сведениям XVIII столетия в обрядах поклонения Хуртуях Тас обязательно был задействован конь. Перед молитвенным обращением к каменному божеству необходимо было трижды объехать на коне вокруг этой святыни. Известный историк С. В. Бахрушин, ссылаясь на этнографические материалы И. Г. Гмелина, по поводу этой ритуальной практики хакасов писал: «Приношению жертвы предшествовал обряд троекратного объезда верхом на лошади вокруг куртуяка; еще в XVIII в. даже принявшие христианство туземцы “так суеверят и ездят”, и вокруг почитаемых камней “видно, что верхом езжено и дорога протоптана”» (Бахрушин, 1959: 38–39). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что коню отводилась важная роль в обрядности, направленной на обеспечение плодородия. Очевидно, что образ этого животного выступал не просто в роли медиатора между человеком и божеством, воплощая собой быстроходного посланника просьб и молитв к высшей силе. В мировоззрении хакасов, как уже отмечалось, образ коня непосредственно связан с символикой плодородия, олицетворяя его мужской аспект. Так, по материалам В. Я. Бутанаева сакральный образ этого непарнокопытного и его полового органа ярко выражен и широко представлен в ритуале «*Хоча хан тайиш*» — ‘Почитание эротического божества Ходжа-хана’, проводимом с целью получения плодородия (Бутанаев, 2003: 202–204). Применительно к рассматриваемой ситуации объезд на коне вокруг священной каменной матроны в религиозно-мифологическом сознании народа, вероятно, мог символизировать собой акт воссоединения двух начал — мужского и женского, что способствовало усилению животворящей силы и как результат — являло людям искомое чадородие.

С конем, его образом и атрибутами его упряжи в мировоззрении хакасов связано много запретов и табу. Например, существовал строгий запрет на соприкосновение беременной женщины с предметами конской упряжи. Известно, что забеременевшая женщина наделялась особым семиотическим статусом, т. к. являлась обладательницей и носительницей двух жизней — собственной и своего ребенка. Поэтому в народе ее иносказательно называли: «*iki postyg*» — ‘имеющая два тела’, «*iki sōōktig*» — ‘имеющая две кости’, «*iki xatтыg*» — ‘двуслойная’ и др. (Бутанаев, 2011: 92). Из-за соответствующего положения на нее налагался целый ряд норм и запретов, целью которых было обеспечить благоприятное течение ее беременности. Строгое табу налагалось на посещение определенных мест, в частности тех, которые ассоциировались со смертью и болезнями, например, кладбища, заброшенного жилища или дома, где находился покойник и пр. Имелись ограничения в хозяйственной деятельности и коммуникативных связях, а также присутствовали некоторые пищевые запреты. В основе обозначенных предписаний лежали мировоззренческие представления, обусловленные верой в контактную и имитативную магию и пр. По мнению верующих, отступление от указанных норм и правил могло нанести непоправимый вред как самой женщине, так и находящемуся в ее утробе ребенку. Одним из принципиальных ограничений был запрет касаться конского снаряжения, а тем более перешагивать через него (Бутанаев, 1996: 132).

В традиционных представлениях хакасов конская упряжь, особенно уздечка, отождествлялась с жизненной силой и душой мужчины — хозяина этого животного. Данное поверье нашло отражение в приметах сна. Согласно им, когда беременная женщина во сне получала или приобретала конскую узду или сбрую, то это определенно предвещало рождение мальчика (АМАЭ, ф. 5, оп. 6, д. 18: 13). Добавим и то, что конь, явившийся женщине в процессе ее сновидения, в народе устойчиво ассоциировался с образом души мужчины (Бурнаков, 2006: 178). Исходя из чего обозначенное конское снаряжение было строго табуировано для посторонних лиц, а также для женщин. Верили, что оно бдительно оберегалось духами-защитниками мужчины, именуемыми «*tiğirleri*» — ‘букв. небесные божества / небожители’. Поэтому в повседневной жизни контакт будущей матери с этим сакральным изделием был крайне нежелателен. Полагали, что в противном случае он мог повлечь за собой серьезные негативные последствия для нее и ребенка. Вместе с тем, встречались и некоторые исключения из этого правила. В народной медицине в экстренных случаях все же допускалось использование элементов конской упряжи как магического средства. К таким неординарным ситуациям относились риски для жизни и здоровья женщины и ее ребенка, обусловленные процессом деторождения.

Во время трудных и затяжных родов хакасы использовали всевозможные магические манипуляции, направленные на то, чтобы ускорить и облегчить данный биологический акт. Так, например, повитуха (*инейчи*) кидала на роженицу конские поводья (*тин*) либо стегала ее по пояснице серебряным чересседельником (*татор*) или подхвостником (*хосхын*). После чего она трижды бросала соответствующие предметы между ног рожавшей женщины (Бутанаев, 2011: 99). Очевидно, что указанные конские снасти в сознании верующих могли ассоциироваться с образом скачущего коня, который своей сакральной энергией помогал женщине быстрее разрешиться от бремени. Не исключено, что и сам младенец в определенной мере мог отождествляться с всадником, перемещающимся из потустороннего пространства в земной мир. Об этом косвенно может свидетельствовать распространенное магическое заклинание «*кōс-кōс / кюс-кюс*» — ‘перекочевывай / переселяйся’ (Хакаско-русский, 2006: 207). Его обычно произносила повитуха для того, чтобы ускорить процесс выхода ребенка из материнской утробы, например: «Кюс-кюс! Нужно перекочевывать в солнечный мир!» (Бутанаев, 2011: 99).

Появление на свет здорового младенца было значимым и радостным событием в жизни каждой семьи и рода. В его честь устраивался специальный праздник *пала тойы* — ‘букв. пиршество ребенка’. При этом он отмечался не сразу, а в определенный срок. Он во многом

зависел от того, как скоро окрепнет ребенок и восстановится после родов его мать. Обычно данное мероприятие проводилось по истечению полутора-трех месяцев после рождения. Оно имело большое значение, т. к. было связано с первым этапом социализации ребенка.

Важным моментом праздника *пала тойы* был процесс дарения родственниками и иными близкими людьми подарков младенцу. Ключевыми и широко распространенными дарами были домашние животные (Катанов, 1897: 57). Живой подарок для ребенка обладал не только глубоким символическим значением, но и в своей основе имел определенную прагматическую направленность. Подаренный скот в будущем составлял важную часть его собственного хозяйства и гарантировал успешное вступление во взрослую жизнь. К числу наиболее ценных даров, как в материальном, так и в знаковом плане относились жеребята и взрослые лошади. Согласно соционормативной практике хакасов за получение столь крупного подарка со временем требовался равноценный отдарок — *харо*. Данная обязанность возлагалась непосредственно на самого ребенка, которую он должен был исполнить, когда становился взрослым (Бутанаев, 2011: 114).

Ключевым моментом в празднике *пала тойы* было имянаречение младенца. Оно являлось одним из начальных этапов его социализации. Обретя имя, он не только получал человеческое достоинство, но и становился членом общества и наделялся определенными правами. Поэтому указанный процесс имел ярко выраженный ритуализированный характер. Верили в то, что имя предопределяет судьбу и жизненный путь его носителя. В этой связи вызывают глубокий интерес неопубликованные архивные этнографические материалы собирателя-краеведа Н. С. Тенешева, в которых обнаруживаются оригинальные сведения по рассматриваемой теме. Приведем их: «Выбор имени ребенку в сагайских и шорских семьях был серьезным вопросом и имел своей целью: 1) найти новорожденному счастливое имя, обеспечивающее или создающее ему счастливую богатую жизнь до самой старости. Имя, дающее человеку много скота и хлеба, хорошую жену или мужа, много детей и радости; 2) найти ребенку счастливое имя, обеспечивающее ему долговечную, здоровую и благополучную жизнь; 3) найти ребенку имя, дающее ему ум и находчивость. В выборе имени ребенку особенно были заинтересованы богатые, которым нужно было найти счастливое и удачное имя своему ребенку для обеспечения ему счастливой, богатой жизни и популярности в обществе» (АМАЭ, ф. 5, оп. 6, д. 18: 25).

В сознании верующих сам процесс имянаречения отождествляется со священнодействием, предопределяющим судьбу младенца. Сакральный акт всегда проходил в торжественной обстановке. Согласно традиции человек, прежде чем дать младенцу имя, должен был сам очиститься и освятить свои уста. С этой целью он вставал лицом на восток, умывался и прополаскивал свой рот молоком или чистой родниковой водой. Затем обращался к духам-покровителям и окроплял аракой очаг, двери и дымовое отверстие. После чего садился на белый войлок, постеленный на почетном месте, и провозглашал имя (Бутанаев, 2011: 270).

В культуре хакасов антропонимом могло стать любое слово из их языка. При его выборе важным было правильно соблюсти сочетание символического значения имени и жизненных обстоятельств, в которых пребывала семья этого ребенка. При благоприятных и стабильных условиях жизни родителей и их детей новорожденного стремились назвать красивым и ярким именем. Как уже отмечалось, правильно подобранное имя способствовало процветанию его счастливой и успешной жизни в будущем. Вместе с тем в ситуации, когда деторождение в семье сопровождалось высокой детской смертностью, из суеверных соображений нарекали не всегда благозвучными, а порой даже и несуразными именами-оберегами. В качестве антропонима довольно часто присваивали названия определенных птиц и животных. Среди подобных имен нередко встречались такие, которые были напрямую связаны с образом коня, например: *Асхыр* — ‘жеребец’, *Ахтай* — ‘белый жеребенок’, *Харатай* — ‘черный жеребенок’, *Хулатай* — ‘саврасый жеребенок’, *Алатай* — ‘пестрый жеребенок’, *Көктай* — ‘сивый жеребенок’, *Хулун* — ‘жеребенок’, *Чабага* — ‘годовалый жеребенок’,

Көрбе — ‘жеребенок, рожденный осенью’, *Тораат* — ‘Гнедой конь’, *Хараат* — ‘черный конь’, *Хулаат* — ‘саврасый конь’, *Адо* — ‘табун лошадей (пожелание быть богатым)’, *Чорга* — ‘иноходец’ и др. (Бутанаев, 2011: 266–328). Соответствующие наименования, как полагали, были одними из сильнейших апотропейных имен, обладающих ярко выраженной символикой жизненной животной силы. По обычаю за удачно подобранное имя состоятельные родители обычно преподносили такому человеку один из самых высших и ценных подарков — коня, а также одежду (Там же: 270).

Имянаречение всегда сопровождалось произнесением *алгыс’а* — благопожелания. В народе и в наши дни бытует убежденность в том, что оно обладает мощной сакральной силой, способной глубоко воздействовать как на самого человека, так и на все его окружение. Поэтому полагают, что многочисленные *алгыс’ы*, произнесенные на *пала тойы* оказывали благотворное воздействие на судьбу и жизнь не только ребенка, но и всей его родни. Верили, что в процессе благопожеланий адресат получал еще и благословление предков. Указанная традиция в детальной точности была запечатлена в эпических произведениях. В героических сказаниях совершенно не случайно человек, нарекавший имя герою, не просто его благословлял, но еще и перечислял и восхвалял его предков, родителей, братьев и сестер, а также масть его персонального верхового коня (Субракова, 2007: 60). Следует отметить и еще один важный момент, на который обратил внимание В. Я. Бутанаев: «Имя человека и конь в тюркских языках носят идентичное звучание “ат”, ибо в эпической жизни богатырь неразрывно связан со своим конем» (2008: 124). Приведем соответствующие соционормативные установки, отраженные в эпическом творчестве:

«Хан Хыс, арыг сугнаң
Ахсын чайып,
Хыс паланы алнына турғызып,
Аар адын адап тур,
Хоор солазын хыгыр тур:
— Хара хула асхыр
Адалыг поларзың,
Хара хула пии
Ічеліг поларзың,
Хомай сырайлыг Хыс Хан
Чачалыг поларзың.
Ада, ічедең дее пірге сыхпаза,
Ада, ічедең пірге сыххан осхас,

Хан Мирген абаалыг поларзың;
Тоғыс хулас сынныг
Хара хула аттыг Ай Хучын
Адың-солаң ползын.
Энніге пастырбин чөр,
Иргектіге сиртетпин чөр.

Өкісті көрзең,
Істің ачып чөрзін,
Чабысты көрзең,
Чарның ачып чөрзін.
Өкіс хулунны ат өскір чөр,
Өкіс олғанни ир өскір чөр!»

(Ай Хуучын, 1958: 345. Перевод наш. — В. Б.);

‘Хан Хыс, чистой водой
Рот [свой] ополоснув,
Девочку перед [собой] поставив [и],
Дорогое имя [её] называет,
Красивое прозвище сообщает:
— Темно-саврасого жеребца
Отцом, [имеющая, ты] будешь,
Темно-саврасую кобылу
Матерью, [имеющая, ты] будешь,
Страшноликую Хыс Хан [богатырку]
Старшей сестрой [имеющая, ты] будешь.
[Хоть и] не рождены [вы от] одних отца и матери,
[Однако, словно] рождены [вы от] одних
отца и матери,
Дядю Хан Миргена, [имеющая, ты] будешь;
[Ездящая] на девятисаженном
Темно-саврасом коне Ай Хуучын
[Твое] имя-прозвище будет [теперь].
Плечистому [недругу] не поддаваясь, [всегда] ходи,
Мужественному [врагу], шелкать
[себя никогда не] позволяй.
[Когда] сироту [ты] увидишь,
[Пусть] сердце [твое к нему] сострадает,
[Когда] маленького [ты] узришь,
От [всей] души сочувствуй [ему],
Сироту-жеребенка конем взрасти,
Сироту-ребенка мужчиной воспитаи!’

«Ханнаң хызыл чигірен аттың, Хан Мирген адалың, Ах сарааттың Ай Арығ ічеліг	‘[Скачущего на] краснее крови рыжем коне Богатыря] Хан Миргена отцом [своим имеющая], [Ездящую на] светло-желтом коне [красавицу] Ай Арығ [своей] Матерью [имеющую]
Хара тораатха мўніп чўрчең Хан Чібек син поларзың. Чайалғаның пўзік ползың, Чазын, синің узах ползың. Чалғыс кізее чағбан паарлығ пол,	Темно-гнедого коня оседлав, скачущая Хан Чибек ты будешь [теперь называться]. Природа [твоя пусть] высокой будет, Годы [жизни твои пусть] долгими будут. [К] одинокому человеку [с] добрым сердцем (букв. печению) будь,
Ќкіс кізее нымзах паарлығ пол.	[К] осиротевшему человеку [с] мягким сердцем (букв. печению) будь.
Тутхан холны позытпас,	Удерживаемая [тобой] рука не освободится [да будет так],
Палғаан пааң систінмес	[А] связанные [тобой] верёвки не развяжутся [да будет так]
Алып поларзың, туңмам» (Хан Орба, 1989: 123. Перевод наш. — В. Б.).	Богатыркой [ты] будешь сестрица младшая [моя]’

В хакасском фольклоре встречается сюжет, когда юному богатырю / богатырке называет имя не человек, а непосредственно сам конь — вожак табуна. В рамках традиции он же и определяет герою его верхового коня и дает свое благословление. Приведем соответствующий отрывок из сказания: «Привели жеребца-богатыря. Тот подумал немного и начал: “Ну, коль, отказываются старцы, я назову тебе богатырское имя. Пусть твоё имя будет Алтын Чюс на бело-буланом коне, дорога твоя спереди да открытой пусть будет, дорога твоя сзади да закрытой пусть будет”» (Серый жеребец, 2013: 86). Данный пример, запечатленный в устном народном творчестве, может свидетельствовать о том, что конь осознавался хакасами не просто в качестве существа очень близкого к человеку, он воспринимался еще и как равный ему, в том числе и по интеллекту. Более того, в некоторых произведениях встречаются сведения, указывающие на тотемистические корни представлений об этом животном. Так, например, в уже цитированном героическом сказании «Ай Хуучын» жеребец и кобыла являются кровными родителями главной героини. Богатырка Ай Хуучын имеет человеческое обличие и обладает непревзойденной силой и отвагой, доставшимися ей от родителей (Ай Хуучын, 1958: 345).

В религиозно-мифологическом сознании, как уже было сказано, отдельные части тела коня наделяются сверхъестественными свойствами. В их число обычно входит и конский волос. Он находил широкое применение в быту, в том числе и в народной магии. Его часто использовали при изготовлении различных семейно-родовых фетишей — *төс’ов* (Бурнаков, 2020). Хакасы нередко применяли его в качестве апотропея для детей. Для защиты от злых сил конский волос нередко привязывали к колыбели (Костров, 1852: 52).

Одним из значимых обрядов детского цикла у хакасов было «разрезание пут» (*тузах / тузамах кизерге*). Он проводился тогда, когда малыш делал первые самостоятельные шаги. Полагали, что указанный ритуал способствовал не только быстрому обретению навыков ходьбы на двух ногах, но и был направлен на устранение всевозможных препятствий в судьбе ребенка, что, по мнению верующих, позволяло ему в будущем уверенно идти по жизни. Сам обряд заключался в следующем. Кто-то из взрослых, обычно дедушка или бабушка, брал нож (для мальчика) или ножницы (для девочки) и перед младенцем на земле рисовал крест. После чего трижды имитировал разрезание воображаемых пут между его ножками и три раза бросал туда же нож / ножницы и произносил благопожелание — *алгыс* (Бутанаев, 1996: 141). Описание данного ритуала приведено не случайно. Как известно, в традиционном

хозяйстве хакасов, как и других народов, путы в виде веревок, кожаных ремней или металлических цепей чаще использовались для стягивания ног лошади. Это делалось для того, чтобы ограничить свободу ее передвижений, чтобы она, как быстроходное животное не смогла далеко уйти от дома или с пастбища. В этой связи имеются основания полагать, что в обряде «разрезание пут» образ ребенка ассоциировался непосредственно с конем или жеребенком, которого отпускали на свободный выпас.

В традиционной культуре хакасов непосредственное знакомство и контакт детей с конем происходил в самом раннем периоде их жизни. Изначально их тренировали к езде на коне вместе со старшими родственниками. На первых порах они находились под бдительной опекой и сидели в седле перед взрослым. А когда подрастали и уже осваивались в верховой езде, то обычно сидели за спиной старших. Самостоятельно садиться в седло и ездить на коне дети начинали с пяти-шести лет, а в семь-восемь лет они начинали пасти скот (Бутанаев, 1996: 142). Обучение самостоятельной езде верхом на коне и умение правильно его снаряжать являлись одним из последующих этапов социализации ребенка. С момента его успешного прохождения круг его прав и обязанностей в обществе значительно расширился. Он в большей мере включался в хозяйственную деятельность своей семьи и общины. Поэтому совершенно не случайно то, что в устном народном творчестве один их этапов взросления ребенка напрямую связывается с его готовностью к самостоятельной верховой езде на коне. Так, например, в хакасском фольклоре героиня отмечает степень зрелости своего младшего брата следующим образным выражением: «Пришло время тебе садиться на коня, пришло время тебе самому подтягивать стремя!» (Катанов, 1907: 295).

Таким образом, представленный материал позволяет сделать вывод о том, что в культуре хакасов конь занимает одно из центральных мест в мифоритуальном процессе, связанном с плодородием и продолжением жизни человека. В обрядах детского цикла образы коня и его упряжи, наделяясь сакральными признаками, были включены в мировоззренческие и обрядовые компоненты, связанные с дородовым и постродовым этапами, а также с периодами социализации ребенка. Ритуальные действия, имеющие отношение к миру детства, были направлены на зачатие, благоприятное течение беременности, благополучные роды, сохранение здоровья и жизни младенца и его матери, гармоничное включение ребенка в социум и создание благоприятных условий для его жизнедеятельности и становления как личности. Отдельные элементы конской упряжи, воспринимаясь в качестве предметов, обладающих сверхъестественными качествами, широко применялись в родильной обрядности. Конь являлся наиболее значимым и ценным подарком в празднике «*пала тойы*». Образ этого непарнокопытного широко представлен в антропонимах. В традиционных представлениях хакасов он характеризовался, как имя-оберег.

Использование коня в ритуалах, направленных на усиление плодородия и в апотропеистической магии подтверждает вывод о высоком семиотическом статусе коня в культуре хакасов.

Литература:

- Ай Хуучын // Алтын Арыҕ. Алыптыҕ ныхам (Богатырские сказания) (на хак. яз.). Абакан: Хак. кн. изд-во, 1958. С. 318–420.
- Архив Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера). Ф. 5. Оп. 6. Д. 18 «Тенешев Н. С. Религиозные обряды и обычаи сагайцев и шорцев, связанные с рождением и воспитанием детей». 12 мая 1954 г. 30 л.
- Бахрушин С. В.** Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. IV. 259 с.
- Бурнаков В. А.** Духи Среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. 197 с.
- Бурнаков В. А.** Каменное изваяние Улуг Хуртуях Тас в сакральном пространстве хакасов // Проблемы истории, филологии, культуры, 2012. № 3 (37). С. 335–344.

- Бурнаков В. А.** Фетиши-тёсы в традиционном мировоззрении хакасов (конец XIX — середина XX века). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. 188 с.
- Бутанаев В. Я.** Традиционная культура и быт хакасов. Пособие для учителей. Абакан: Хак. кн. изд-во, 1996. 224 с.
- Бутанаев В. Я.** Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан: Изд-во ХГУ, 2003. 260 с.
- Бутанаев В. Я., Бутанаева И. И.** Мир хонгорского (хакасского) фольклора. Абакан: Изд-во ХГУ, 2008. 376 с.
- Бутанаев В. Я.** Особенности культуры и быта тюрков Саяно-Алтая. Астана: Кантана Пресс, 2011. 440 с.
- Катанов Н. Ф.** Отчет о поездке, совершенной с 15 мая по 1 сент. 1896 г. в Минусинский округ Енисейской губернии. Казань: Типо-Литография Импер-го Казанского Ун-та, 1897. 104 с.
- Катанов Н. Ф.** Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов: (Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. В. Радловым). СПб., 1907. Т. 9. 640 с.
- Костров Н. А.** Качинские татары. Казань, 1852. 66 с.
- Кузнецова А. А., Кулаков П. Е.** Минусинские и ачинские инородцы. Красноярск: Тип. Енис. губ. упр-я, 1898. 298 с.
- Миллер Г. Ф.** Описание сибирских народов. М.: Памятники исторической мысли, 2009. 456 с.
- Серый жеребец богатырь // Сказания и легенды хакасов. Абакан: Дом литераторов Хакасии, 2013. С. 81–100.
- Субракова О. В.** Язык хакасского героического эпоса. Абакан: Хак. кн. изд-во, 2007. 164 с.
- Хакасско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2006. 1114 с.
- Хан Орба. Богатырское сказание, записанное от С. И. Шулбаева. Абакан: Хак. издат, 1989. 208 с.

Бурнаков Венарий Алексеевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник.

Институт археологии и этнографии СО РАН.

Пр. Академика Лаврентьева, д. 17, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630090.

E-mail: venariy@ngs.ru

Материал поступил в редакцию 7 февраля 2022 г.

V. A. Burnakov

HORSE AND HORSE HARNESS IN THE RITUAL OF THE KHAKASS CHILDREN'S CYCLE (LATE XIX — MID XX CENTURY)

The purpose of the article is to determine the function of the horse and horse harness in the representations and rituals of the Khakas associated with the children's cycle.

The chronological framework of the work covers the late XIX — mid XX centuries. The choice of such time limits is determined by the state of the source base on the research topic. Ethnographic and folklore materials collected by both pre-revolutionary and modern researchers: I. G. Gmelin, N. F. Katanov, V. Ya. Butanaev, N. S. Teneshev, etc. served as a source base. Folklore materials — excerpts from heroic tales (alyptyg nymakhtar) used in this work presented for the first time in the author's translation in Russian. In the article under consideration, archival ethnographic materials on the indicated problems are also introduced into scientific circulation. Leading in the research is the principle of historicism, when any cultural phenomenon is considered in development and taking into account a specific situation. The research methodology is based on historical and ethnographic methods: remnants (relic) and semantic analysis.

As a result of the analysis, the following conclusions can be drawn: 1) in the traditional culture of the Khakass, the horse and its image occupied an important place. This pet was included in the ritual associated with the children's cycle; 2) In the religious and mythological consciousness of the people, the image of a horse was steadily associated with the idea of vitality and fertility; 3) Not only the image of this ungulate and some parts of its body were endowed with magical protective properties; 4) The sacralization of the horse contributed to the fact that its image in its various manifestations was widely represented in the rituals associated with prenatal, birth and postnatal childhood cycles. An important place in this process was given to individual elements of horse equipment; 5) The horse performed a significant function in the socialization of the child, including in such stages as naming and mastering riding skills.

Keywords: *Khakas, traditional culture, folklore, worldview, ritual, horse, harness, the world of childhood, naming.*

References:

- Ai Khuuchyn [Ai Khuuchyn]. *Altyn Aryg. Alyptyg nymakh (Bogatyrskie skazaniya)* [Altyn Aryg. Heroic Legend]. Abakan: Khak. book. Publ., 1958. Pp. 318–420 (In Khakass).
- Arkhir Muzeya antropologii i etnografii im. Petra Velikogo RAN (Kunstkamera) [Archive of the Museum of Anthropology and Ethnography. Peter the Great of the Russian Academy of Sciences (Kunstkamera)]. F. 5. Op. 6. D. 18 «Teneshev N. S. Religioznye obriady i obychai sagaitsev i shortsev, svyazannye s rozhdeniem i vospitaniem detei» [Fund 5. Inventory 6. File 18 «Teneshev N. S. Religious rites and customs of the Sagais and Shors associated with the birth and upbringing of children»], 12 May 1954. 30 p. (In Khakass, in Russian).
- Bakhrushin S. V.** Nauchnye trudy [Scientific works]. Moscow: Academy of Sciences of the USSR Publ., 1959, vol. 4, 259 p. (In Russian).
- Burnakov V. A.** Dukhi Srednego mira v traditsionnom mirovozzrenii khakasov [The spirits of the Middle world in the traditional worldview of the Khakas people]. Novosibirsk, 2006, IAET SO RAN Publ., 197 p. (In Russian).
- Burnakov V. A.** Kamennoe izvayanie Ulug Khurtuiakh Tas v sakral'nom prostranstve khakasov [Stone statue Ulug Khurtuyakh Tas in the sacred space of the Khakasses]. *Problemy istorii, filologii, kul'tury* [Problems of History, Philology, Culture], 2012, vol. 3 (37). Pp. 335–344. (In Russian).
- Burnakov V. A.** Fetishi-tesy v traditsionnom mirovozzrenii khakasov (konets XIX — seredina XX veka) [Fetishes-tes in the traditional Khakass worldview (late 19th — mid 20th centuries)]. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2020, 188 p. (In Russian).
- Butanaev V. Ya.** Traditsionnaya kul'tura i byt khakasov. Posobie dlya uchitelei [Traditional culture and life of the Khakass. A guide for teachers]. Abakan: Khak. book. Publ., 1996, 224 p. (In Russian).
- Butanaev V. Ya.** Burkhanizm tiurkov Sayano-Altai [Burkhanism of the Sayan-Altaï Turks]. Abakan: KhSU Publ., 2003. 260 p. (In Russian).
- Butanaev V. Ya., Butanaeva I. I.** Mir khongorskogo fol'klora [The world of Khongor (Khakass) folklore]. Abakan: KhSU Publ., 2008, 376 p. (In Russian).
- Butanaev V. Ya.** Osobennosti kul'tury i byta tyurkov Saiano-Altai [Features of the culture and life of the Turks of Sayan-Altaï]. Astana: Kantana Press, 2011. 440 p. (In Russian).
- Katanov N. F.** Otchet o poezdke, sovershennoi s 15 maya po 1 sentebrya 1896 g. v Minusinskii okrug Enisseiskoi gubernii [Report on the trip, which took place from May 15 to September 1. 1896 in the Minusinsk district of the Yenisei province]. Kazan', Tipo-Litografiya Imperatorskogo Kazanskogo Universiteta Publ., 1897, 104 p. (In Russian).
- Katanov N. F.** Narechiya uryankhaitsev (soiotov), abakanskikh tatar i karagasov: (Obraztsy narodnoi literatury tyurkskikh plemen, izdannye V.V. Radlovym) [Adverbs of Uriyanghai (Soyots), Abakan Tatars and Karagas: (Samples of folk literature of Turkic tribes, published by V. V. Radlov)]. St. Petersburg: Imp. Akademiya nauk Publ., 1907, vol. 9, 640 p. (In Russian).
- Kostrov N. A.** Kachinskie tatary [Kachin Tatars]. Kazan', Gub. Pravl. Publ., 1852, 66 p. (In Russian).
- Kuznetsova A. A., Kulakov P. E.** Minusinskie i achinskie inorodtsy [Minusinsk and Achinsk natives]. Krasnoïarsk: Enis. gub. upr-ia Publ., 1898. 298 p. (In Russian).
- Miller G. F.** Opisanie sibirskikh narodov [Description of the Siberian peoples]. Moscow, Monuments of historical thought Publ., 2009. 456 p. (In Russian).
- Seryi zherebets bogatyr' [Gray stallion hero]. *Skazaniya i legendy khakasov* [Tales and legends of the Khakass]. Abakan: House of Writers of Khakassia Publ., 2013. Pp. 81–100. (In Russian).
- Subrakova O. V.** Iazyk khakasskogo geroicheskogo eposa [The language of the Khakass heroic epic]. Abakan: Khakas. book Publ., 2007. — 184 p. (In Russian).
- Khakassko-russkii slovar' [Khakass-Russian Dictionary]. Novosibirsk, Nauka Publ., 2006, 1114 p. (In Khakass, in Russian).
- Khan Orba. Bogatyrskoe skazanie, zapisannoe ot S. I. Shulbaeva [Khan Orba. Heroic legend, recorded from S. I. Shulbaev]. Abakan: Khak. Publ., 1989. 208 p. (In Khakass).

Burnakov Venary Alekseevich, candidate of historical sciences, senior research fellow.

RAS, Siberian branch, Institute of Archaeology and Ethnography.

17 Academician Lavrentiev ave., Novosibirsk, Russia, 630090.

E-mail: venariy@ngs.ru

Л. М. Готовцева

ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ ЯКУТОВ

Анализ слов-наименований якутской одежды и ее деталей (компонентов) обнаруживает наличие своеобразного лексического пласта, происхождение которого требует уточнения с точки зрения их источника и адаптации в принимающем языке. Данный тезис обуславливает постановку задачи: определить, какие из этих лексем являются заимствованиями. Анализ заимствований названий одежды осуществлен с помощью лексикографических словарей и представляет собой начальный этап исследования в данном направлении.

Состав заимствованной лексики разнообразен, что позволяет рассмотреть его как отдельные лексико-семантические группы, которые охватывают такие виды одежды, как головной убор, верхняя одежда, нательная одежда (штаны), обувь, детали одежды.

Данные слова-наименования обращают на себя внимание тем, что они обнаруживаются и в материалах эпического текста — олонхо, что обуславливает дальнейшее изучение обозначенной проблемы в аспекте выявления межэтнических контактов.

Исследуемая лексика заимствований-номинаций одежды тесным образом связана с историческими и социальными изменениями в жизни северян, особенностями природно-климатических условий проживания, их материальной культуры.

Выявлено, что большинство заимствованных лексем вошли в состав якутских говоров, в основном сохраняя свою фонетическую и морфологическую структуру.

В настоящее время некоторая часть рассмотренных слов-наименований предметов одежды устаревает, уходят в прошлое сами предметы одежды и с ними вместе забываются слова-номинации. Поэтому необходимо продолжать изучение накопленного языкового и фактологического материалов, содержащих богатую информацию о процессах изменения языка и истории народов Севера.

Ключевые слова: якутский язык, традиционная одежда, лексика, заимствование, виды одежды, детали одежды.

1. Введение

Одежда северян становится в последнее время объектом пристального внимания и изучения со стороны специалистов разных направлений в силу ее малоизученности и ограниченности доступа, так как единичные экземпляры предметов одежды хранятся в частных коллекциях, в музеях других стран, городов и т. д. Сегодня наметилась тенденция рассматривать одежду не только в контексте моды, но и как аккумулирующий время и пространство феномен культуры этноса. В противном случае возникает угроза утраты генетической связи, заложенной в памяти предметов и элементов одежды как способа самоидентификации носителя данной одежды, т. е. этнокультуры.

Целью данной статьи является попытка установления предполагаемых истоков слов-наименований названий одежды, вошедших в лексикон якутского языка из других языков в качестве заимствований.

Данные слова-наименования обращают на себя внимание тем, что они обнаруживаются и в материалах эпического текста — олонхо, что обуславливает осмысление их исконности в контексте межэтнических контактов. Смысловая и пространственно-временная интерпретация реалий, связанных с описываемыми деталями или функциями национальной одежды якутов, основывается на закономерностях функционирования разных этнокультур, которые не препятствовали вхождению некоторых слов в качестве наименований предметов/деталей одежды в течение длительного исторического развития самого народа, а также взаимовлияния этносов, проживающих на одной или смежной территории.

Изучению этнокультурных параллелей, выявляемых или предполагаемых в якутской народной одежде, посвящена работа С. И. Петровой (2013: 294–299). Автор указывает, что в языческих верованиях якутов, бурят, алтайцев, монголов многие исследователи находят единство основ, отразивших общие ранне- и средневековые этнокультурные истоки. Их параллели существуют и в их материальной культуре, охватывая и некоторые виды одежды. В подтверждение данного тезиса автор приводит довольно интересные факты, которые свидетельствуют о том, что якуты в древности являлись кочевыми, скотоводческими племенами, пришедшими на территорию нынешней Якутии, и отражают их преемственную связь со многими этнокультурными установками тюрко-монгольских кочевников.

В дальнейшем происходило приспособление якутов к новым суровым природно-климатическим условиям проживания, что продиктовало иные подходы к изготовлению материала, фасонам, пошиву и функциональной дифференциации национальной одежды.

Рассмотрению названия одежды и обуви как отдельных лексико-семантических групп на материале тоболо-иртышского диалекта сибирских татар, башкирского и монгольских языков посвящена работа Алишиной Х. Ч., Трофимовой С. М., Усмановой М. Г. Авторы данного исследования считают, что изучение лексики традиционной одежды представляет научную значимость с позиции истории языка, и предлагают расценивать его как один из источников изучения этнической истории народа и его культуры, языка, связей с другими народами.

2. Виды одежды

1) Верхняя одежда.

Сон — общее наименование женской и мужской теплой верхней одежды (пальто), надеваемой поверх платья, пиджака; например, женское или мужское пальто из сукна, меха или ровдуги (БТСЯЯ, 2010: 521). *Соннорун этэн, — дьэ кэргэни кытта илии тутуһан баран, Торуойуолаах ураһаттан табыстылар.* Н. Павлов. ‘Торой и его сыновья, надев пальто, на прощание пожали руку хозяевам и вышли из ураса (летнее жилище якутов)’ (здесь и далее переводы выполнены авторами статьи).

Данное слово является общетюркским и зафиксировано в древнетюркских письменных памятниках: **тон** ‘платье, одежда’ (ДС, 1969: 574]), **дон** ‘платье’ (ДС, 1969:55), **тон** ‘одежда’. Оно отмечено также и в орхоно-енисейских памятниках: **тон**, **дон** в значении ‘одежда’. В словаре Л. Будагова данная лексема выражает значение ‘одежда, шуба, обувь’ (Будагов, 1960: 759), с пометкой *осм., крым.-тат. дон, тон* ‘платье, штаны’.

Лексема функционирует с различными семантическими значениями и в современных тюркских языках: *азерб. дон* ‘кафтан, платье’, *тур. дон* ‘одежда’, *турк. дон* ‘халат’, *ног. тон*, *тат. тун*, *кирг. тон* ‘тулуп’, *хак. тон* ‘шуба’. В диалектах турецкого языка термин **дон** имеет значение ‘лёгкая ткань, покрывало’. А. М. Щербак реконструировал архетип **дон** в форме **тон** со значением ‘халат, одежда’ (Щербак, 1966: 29). Одним из значений слова **дон** в тюркских языках было ‘исподнее платье, штаны’. Такое значение до сих пор сохранилось в гагаузском и турецком языках. У гагаузов словом **дон** называют и нательное бельё и брюки.

Сон ‘шуба’ М. Ряснен сравнивает с *эвенк. сун* ‘кафтан’ (Räsänen, 1969: 427). В «Эвенкийско-русском словаре» лексема **сун** подается как ‘пальто’ (1958: 196) и как ‘кафтан’ (там же: 177). Некоторые лингвисты сравнивают с *алт. тон* 1. ‘шуба, тулуп’; 2. ‘костюм шамана’.

По фасону и крою встречаются разные виды ‘сон’, преимущественно, в значении шубы. Например, **бууктаах сон** по «Толковому словарю якутского языка», это ‘зимняя шуба с широкой меховой опушкой по бортам и подолу’ (ТСЯЯ, 2005: 594), **бууттаах сон** ‘женская зимняя шуба якутки (в XIX в. — в талию, верх суконный, полы и подол обшивались широкой меховой полосой)’ (ТСЯЯ, 2005: 608). У Э. К. Пекарского **бууктаах сон** определяется как ‘женская меховая одежда (шуба), обшитая по краям, в виде опушки, каким-нибудь доро-

гим мехом' (Пекарский, 2008: стб. 538–539). Существует мнение, что значение лексемы **бууттаах** произошло от русской меры пуд — буут 'мера веса, равная 16 кг.', имеется в виду общий вес шубы вместе со всеми украшениями (Гаврильева, 1998: 69). С нашей точки зрения, мотивационным признаком номинации данного вида одежды является форма (рукава на плечах имеют буфы). С. И. Петрова находит параллели между якутской шубой **бууктаах сон** и хакасской свадебной шубой **идектиг тон** из сукна с отделками из дорогих цветных шелковых или жаккардовых материалов, и с верхней женской одеждой некоторых этнических групп народностей Алтая и Тибета (Петрова, 2013: 294–299).

Оноолоох сон 'пальто из сукна с разрезом сзади'. Ср. монг. **оноо** 'разрез подола (пальто), прорезь' (БТСЯЯ, 2010: 296). *Үнсүүлээхтэр — оноолоох соннорун дьогдүүрдара тэрэһэн, самыылара сайбаһан турдулар*. Күннүк Уурастыырап. 'Подавшие жалобу [женщины] в пальто с расширяющимся книзу и разрезом сзади с торчащими буфами встали'.

По сезонному назначению выделяют **кытыылаах сон** 'женское летнее нарядное пальто из гаруса, атласа или шелка' (БТСЯЯ, 2008: 406). *Суоппуйа тиэтэйбит курдук кытыылаах сонуну ылан кэтэр, дьабака бэргэһэ уурунар*. Эрилик Эристиин. 'Софья торопливо надевает нарядное пальто и высокую меховую шапку'.

По месту ношения эксплицируют **таналай (таналайдаах) сон** 'старинная верхняя нарядная одежда якутской женщины, сшитая в основном из мехов с узором в виде зигзага'. Ср. *уйг., каракалп. танлай, узб. танглай, бур. тангалай* (БТСЯЯ, 2013: 2002). *Таналайдаах сонуну тигэллэригэр хара, күөх, манган эрэ обуруолары тутталлар*. Е. Аммосова. 'При пошиве таналайдаах сон используют только черный, голубой, белый бисер'.

Д. С. Дугаров отмечает сходство якутской безрукавки **кээлдьи таналай** с аналогичными у тюркоязычных народов Южной Сибири (Дугаров, 1991).

Подобного предположения придерживается и С. И. Петрова, которая считает, что виды одежды с короткими рукавами или без рукавов для автохтонных народов севера чужды, также разрезы сзади или с двух боковых сторон явно не северного происхождения. Таким образом, якутские безрукавки имеют косвенные этнографические и этнокультурные параллели с одеждами кочевников тюрко-монгольского происхождения (2013: 294–299).

Хопоо — «Диалектологический словарь якутского языка» содержит два пояснения: 1. короткая легкая доха, парка из оленьих шкур; 2. *долг.* мужская доха, парка из оленьих летних шкур. Ср. **көпөө, хоппоо, эвенк. купэ** 'мужская меховая шуба' (ДСЯЯ, 1976: 291). Как видно из указанных в словаре источников, слово имеет свои связи с языками северных народов, и оно означает легкую меховую доху (парку) из летних оленьих шкур, предназначенную для мужчин северо-восточной территории Якутии, где традиционной хозяйственной деятельностью является разведение оленей.

Дьөгүүр обонньор уола бастаах хопоотун кэппитинэн таһырдыа элэс гыммытын батыһа көрөн хаалла. Хотугу Сулус. 'Старик Егор посмотрел вслед сыну, который, надев парку с капюшом, выскочил на улицу'.

Куму — 'Кафтан шамана, шаманский плащ, ритуальная одежда шамана, надеваемая при камлании'. Ср. *казах. күмү* 'кафтан, подбитый овчиной', *эвенк. куми*, 'шаманский плащ' (БТСЯЯ, 2007: 477), в зависимости от кроя и длины данного специального одеяния шамана, его называют то «плащ», то «кафтан».

Н. К. Антонов *якут. куму* возводил к *монг. хумих* 'складывать, свертывать, завертывать, собирать, подбирать' (Антонов, 1971: 100). Н. А. Алексеев считает данное слово заимствованием от *эвенк. куми, кумуми* 'набросить на себя (одежду)' (Алексеев, 1975: 198). [Ойуун] *кутуруксуругар көмөлөһүннэрэн, кумутун кылыгыраппытын кэттэ*. И. Гоголев. 'Шаман, с помощью рядом стоящего проводника, стал с шумом надевать свой ритуальный плащ'.

К верхней одежде относится и лексема **хомуһуол** 'камзол, короткое пальто'. П. А. Слепцов считает слово хомуһуол ранним заимствованием из русского языка (Слепцов,

1964: 44). *Күннүк сиртэн Күндээрэн көстөр Күнкүлээки хомуһуолун Түгнэри бүрүнэн олорор*. Строптивный Кулун Куллуштуур. ‘Сидела, на себя накинув наизнанку вывернутый Вонючий камзол’.

2) Головной убор.

Для обобщенного названия головных уборов существует лексема **бэргэһэ**. Ср. др.-тюрк. *börük*, *börk* и монг. *börgesün* ‘покрывало, крышка’ (Сравнительно-историческая грамматика, 2001: 485). Разновидностей **бэргэһэ** много. **Дьабака бэргэһэ** ‘старинная якутская женская меховая (изнутри и снаружи) шапка с высоким верхом из сукна или другого материала’ (ТСЯЯ, 2005: 865). А. И. Гоголев связывает это слово с алтайским **джаважак** со значением ‘жеребенок, конь’ (Гоголев и др., 1994: 15); надевали такую шапку для обряда поклонения небесным духам. Как известно, якуты поклонялись коню-божеству — Күн Джесегей. Похожие шапки имелись и у других народов, например, у сибирских русских и назывались они чибак (чебак), которая по В. Далю толкуется как ‘женская меховая шапка’ (Даль, 1998). Ср. алт. **чабак** ‘высокая шапка’, тув. **чебак** ‘головной убор невесты’, хак. **чапык порик**.

Ынтака диал. ‘теплая шапка из оленьей шкуры, стягивающаяся по лицевой и шейной кромкам кожаными тесемками для плотного прилегания к голове’ (БТСЯЯ, 2017: 445). Эвенк. **интыка** ‘шапка из шкурки с головы оленя’. В якутском слове не наблюдается следование словарному значению эвенкийского интыка, т. е. это шапка, сшитая особым образом из оленьей шкуры, но не с головы оленя. Фасон шапки, отдельные ее детали призваны выполнять согревающую и защищающую от сильного студеного ветра и других неблагоприятных для ее носителя погодных условий Крайнего Севера.

Олохтоохтор таба ынтакаларын ыпсары баанан кэтэ сылдыаллар. Хотугу Сулус. ‘Местные ходят в привязанных плотно ынтака (оленьих теплых шапках)’.

Малахай диал. ‘зимняя шапка на меху с широкими наушниками, малахай’ (БТСЯЯ, 2009: 208–209). Ср. монг. **малагай**, калм. **махлэ**, тат., русск. **малахай**. В нижнеколымском и аллаиховском говорах эвенского языка функционирует лексема *малахай* ‘зимняя шапка из пыжика, украшенная вышивкой’, являющаяся заимствованием из чукотского языка.

Ийэтэ Чиэнэбэ улахан киһи буолтун аатыгар оһуордаах-дьарбаалаах, сизгэн хаймылаах күндү сабынньабы, үүдэһиннээх малахайы, үрүн таба үтүлүгү тигитэлээн биэрдэ. И. Данилов. ‘Мать в знак того, что она (Чиэнэ) стал уже взрослым, сшила дорогую шубу с узором, окаймленную мехом росوماхи, малахай с завязками и белые оленьи рукавицы’.

3) Штаны, брюки.

Мы полагаем, что лексема **ыстаан** ‘штаны’ древнетюркского происхождения. Ср. др.-тюрк. *išton* ‘подштанники’ из *ičton* ‘внутренняя одежда’ (Сравнительно-историческая грамматика..., 2001: 478). По мнению П. А. Слепцова, лексема **ыстаан** в якутский язык заимствована из русского языка (Слепцов, 1964: 44). Названия видов штанов зависели от материала изготовления — *тирии ыстаан* ‘штаны из ровдуги, лосины’, *торбос ыстаан* ‘телячьи штаны’, назначения *хаар ыстаана* ‘широкие штаны, надеваемые поверх обычных штанов’.

Сутуруо ‘предмет традиционной одежды северных народов из меха или замши, покрывающий ноги от бедра до ступни, привязываемый ремешками (**сургунах**), к натазникам (**сыалдыа**) или к ремню, наколенник’ (БТСЯЯ, 2012: 195). Ср. якут. **сото** ‘голень’, **yota** ‘бедро’ (Clauson Gerard, 1972), эвенк. **оторо**, **хоторо**, русск. диал. **сутиры** ‘ноговицы’. Встречаются такие разновидности этого предмета одежды: *сарыы сутуруо* ‘летние ноговицы’, *тирии сутуруо* ‘зимние ноговицы’, *симэхтээх сутуруо* ‘узорчатые наколенники, надеваемые женихом при приводе невесты в дом’, *тобук сутуруо* ‘наколенник’, *уллук сутуруо* ‘короткие ноговицы’.

Мааны дьон сутуруону бөрө тыһынан онороллор. ‘У состоятельных людей наколенники шьются из волчьих лапок’. Матабатын хаһан-хаһан, онтон киис таһааран, итии сыалдыа,

куобах тириитинэн сутуруу, кээнчэ тигитэлээбитэ. Далан. ‘Долго рывшись в матаба (мешке из рыбьей кожи), достала шкуру соболя, сшила теплые сыалдыа (короткие штаны), а из меха зайца — сутуруу (наколенники), кээнчэ (теплые чулки)’.

4) Обувь.

Этэрбэс ‘обувь из кожи, похожая на сапоги, торбаса’ (БТСЯЯ, 2018: 402). Легкая, практичная, теплая обувь была незаменимой в суровых северных условиях. Как пишет П. А. Слепцов, русские охотно заимствовали якутские этэрбэсы, и русским языком было заимствовано это слово в форме «торбаза». В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова слово имеет иное написание ‘торбаса’, при этом ударение имеет два варианта позиции: на первом слоге ‘торбас и на втором слоге тор’бас (СРЯ, 1983: 714). Толкование значения данного слова можно дополнить указанием на то, что это теплая обувь не только из оленьих шкур, но из выделанной кобыльей или коровьей кожи, содранной с голеней. Зимние торбаса шьются мехом наружу, либо мехом внутрь, а летние торбаса шьют из мягкой дымленной кожи.

Олооччу ‘кожаные торбаса с короткими голенищами’ (БТСЯЯ, 2010: 263). *Ср. бур. олообшо* ‘лапоть’, *эвенк. олочи* ‘летняя обувь из ровдуги’. Летняя обувь у большинства групп эвенов называлась *олочик* (от *оло* ‘брести по воде’) и шилась из оленьей ровдуги. Вполне вероятно, что впоследствии данное слово стало выражать летнюю обувь, сшитую мехом внутрь, модификация которой продиктована холодными климатическими условиями, например, сайынны түнэ этэрбэс ‘короткие торбаса, сшитые мехом внутрь’. *Эмээхсин окко олорон хаппыт олооччутун кэттэ* И. Гоголев. ‘Старуха, сидя на траве, надела засохшие торбаса (олооччу)’.

Куруму (устунан этэрбэс) ‘высокие торбаса (выше колен)’ (БТСЯЯ, 2007: 534). *Ср. эвенк. курумуу, курму* ‘высокие унты, ноговицы’. В диалекте якутского языка отмечается значение ‘высокие болотные торбаса из кожи’ (ДСЯЯ, 1976:127). Имеются такие разновидности с указанием на материал изготовления: *тыс куруму* ‘торбаса из оленьих лап’, *түнэ куруму* ‘торбаса из лосиной ровдуги’, *тирии куруму* ‘непромокаемые торбаса, обрабатываемые рыбьим жиром. *Урдук остоох хара таба тыһа курумутун аллара ньыппарынна*. И. Данилов. ‘Он натянул вниз свои высокие торбаса (куруму) из темных оленьих лап’. И. Данилов.

В некоторых эвенских говорах зафиксировано наименование обуви *чари* ‘обувь (непромокаемая, обычно из нерпичьей кожи), бродни (используемые во время лова рыбы)’, возможно, заимствованное из якутского языка *сāры* ‘обувь (непромокаемая, из кожи с конского крупа)’.

2. Детали одежды

Бэлэпчи. 1. Вид защитной (*от холода*) одежды из меха; накладка на внешнюю (*тыльную*) часть кисти руки и на запястье (*обычно без пальцев*). *Маттаба тириитэ бэлэпчи*. ПЭК СЯЯ. ‘Бэлэпчи из меха водяной крысы’. 2. Кожаный нагрудник (*передник*), носимый охотниками, к которому подвешивается *холо* (дощечка-мерка для установления лука-самострела на определенной высоте. *Былыргы киһи эһэ бэлэпчитин курдук кэрэмэс бытыктаах*. ПЭК СЯЯ. ‘У древнего человека сивая борода с проседью как бэлэпчи из шкуры медведя’. 3. В старину: два набедренника из двух четырехугольных лоскутков красного или синего сукна или *какого-л.* меха, привязываемые зажиточными якутами к поясу поверх всего платья. *Эһэ бэлэпчи*. ПЭК СЯЯ. (ТСЯЯ, 2005: 858). *Монг. т. бэлхэвч*. Набрюшник.

Ученые отмечают, что бэлэпчи имеют этнокультурные параллели с киргизским и казахским **бельдемчи** также с бурятским набедренником **бэлэбшэ** (Петрова, 2013; Зыков, 1993; Сапалова, 2010; Бадмаева, 1987).

В традиционной одежде воротник отсутствовал вплоть до 1920-х гг. XX в.. Якуты наматывали на шею **моойторук** — длинное меховое боа (Носов, 2010: С. 63). **Моойторук** ‘меховой ошейник (шарф)’ (БТСЯЯ, 2009: 289). *Ср. уйг. бойунтурук* ‘ярмо для животных’

(УйгРС, 1968: 217); *тув.* **моюндуруй** ‘ворот (одежды), воротник’, **моюндурук** ‘шиворот’ (ТувРС, 1968: 77, 684); *кирг.* **моюнтурук** ‘ярмо, хомут’ (КиргРС, 1965: 533), *хак.* **мойдырых** ‘воротник’ (Абдина, 2009: 15).

В якутском языке принято различать следующие наименования мехового ошейника (шарфа) в зависимости от вида и части меха зверька: **хобо моойторук** ‘длинный меховой шарф из беличьих хвостов’, **киис моойторук** ‘соболиный шарф’, **куобах моойторук** ‘шарф из заячьей шкуры’.

Сыарбаа олорор киһи умса туттан сирэйин саарба моойторугар кистиин-киистиин, муоһаны былдьаста. Софрон Данилов. ‘Сидящий в санях человек наклонился, пряча лицо под соболиным шарфом, стал хвататься за вожжи’.

Саба ‘воротник’. *Ср. др.-тюрк. йаха, тат. яка, бур. заха* ‘ворот, воротник’), *эвен. дьяка* (БТСЯЯ, 2011:133). *Ырбаахы сабата.* ‘Воротник платья’. *Сон сабата.* ‘Воротник пальто’.

Оноо 1. ‘Разрез от подола сзади или по бокам кафтана, шубы у якутов’. 2. ‘Широкая вставка в складке на спине’. *Ср. монг.* оноо ‘разрез подола (*пальто*), прорезь; разрез сзади по бокам одежды, для расширения фалд одежды’ (БТСЯЯ, 2010: 295). Одежда (шуба, пальто, платье) может иметь разные виды такой детали, которые отличаются либо функционально, либо в зависимости от кроя одежды: **кокуора оноо** ‘горбообразный вырез’; **хаптабай оноо** ‘плоский разрез с двух боковых сторон’; **бүтэй оноо** ‘расширение фалд в виде байтовой складки’.

Иэннэрик 1. ‘Подтяжка, подмога; подтяжки’. *Ср. хак. инчик* ‘ремешки для подтягивания голенищ сапога, ремень (для брюк)’ (БТСЯЯ, 2010: 295). М. Ряснен сравнил с *тув. инчик* ‘ремешки для подтягивания голенищ сапог; ремень (для брюк)’ (Räsänen, 1969). Семантика почти идентична, а фонетическая сторона не вызывает особых сомнений. Хотя с другой стороны, по мнению Б. И. Татаринцева, *тув. инчик* из ряда анатомических терминов типа *уйг. йинийик* ‘тонкая кость голени’ (Татаринцев, 2002) (т. е. малоберцовая кость), *чагат. йинйүк* ‘голень’. Этимология слов неясна. Возможно, эти слова представляют собой уменьшительную форму на *-чик* от *ен* ~ *ин*. Таким образом, по мнению, В. Г. Попова, *якут. иэннэрик*, возможно, собственно якутское: **иэн** ‘нижняя часть спины от поясицы до ягодиц’ (схожа с семантикой ременной перевязи, к которой подвешиваются охотничьи припасы) + *-нэр* + *-(и)к* (отглагольно-именной аффикс якутского языка; образует имена результата действия) (ЭСЯЯ).

Манан ырбаахытын таһынан иэннэриктэммит. Хотугу Сулус. ‘Сверх белой рубашки натянул подтяжки’.

Намыаска ‘Повязка, предохраняющая от холода лоб, щеки и подбородок. *Русск. наушка*’ (БТСЯЯ, 2009: 451). Головной убор персонажа посыльного Сорук Боллур в эпосе «Строптивный Кулун Куллустуур» имеет детали в виде наушников **намыаска**: *Баттаба бэргэхэлээх, Кулгааба намыаскалаах* (стб. 6030). *В шапке он из шкурок с головы [жеребенка], В наушниках из шкурок с ушей [жеребенка]* (стб. 6030).

Резюмируя вышесказанное, можем заключить следующее. Не исключено, что отдельные наименования деталей якутской одежды сохранили элементы, имеющие истоки южного происхождения, а затем появились заимствования как результат территориальных и культурных контактов с этносами северных территорий. Так, некоторые зафиксированные лексические диалектизмы в якутском языке являются перенесенными из тунгусо-маньчжурских языков, в частности, из эвенского и эвенкийского языков.

Большинство заимствованных лексем вошли в состав якутских говоров, почти не подвергаясь адаптационным изменениям и не меняя своей фонетической и морфологической структуры, которые характерны для языка-источника.

Состав заимствованной лексики разнообразен, тематические группы в целом охватывают все виды одежды: головной убор, верхнюю одежду, нательную одежду, обувь, детали

одежды. Проникновение заимствований обусловлено разными факторами, например, длительными языковыми контактами с соседними народами на определенной территории (в данном случае — обширная территория Северо-Востока России).

В настоящее время некоторая часть рассмотренных нами слов-наименований предметов одежды устаревает, уходят в прошлое сами предметы одежды и с ними вместе забываются и слова. Поэтому необходимо продолжать изучение накопленного фактологического материала, содержащего богатую информацию о языковых процессах, происходящих в лексической системе якутского языка.

Условные сокращения:

азерб. — азербайджанский, алт. — алтайский, бур. — бурятский, диал. — диалект, долг. — долганский, др.тюрк. — древне-тюркский, казах. — казахский, калм. — калмыцкий, каракалп. — каракалпакский, кирг. — киргизский, крым.-тат. — крымско-татарский, монг. — монгольский, нов.-перс. — новоперсидский, ног. — ногойский, осм. — османский, русск. — русский, ср. — сравни, тат. — татарский, тув. — тувинский, тур. — турецкий, туркм. — туркменский, тюрк. — тюркский, узб. — узбекский, уйг. — уйгурский, хак. — хакасский, чагат. — чагатайский, эвенк. — эвенкийский, якут. — якутский.

Литература:

- Абдина Р. П.** Лексика традиционной одежды в диалектах хакасского языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2009. 20 с.
- Алексеев Н. А.** Традиционные религиозные верования якутов в XIX — нач. XX в. Новосибирск: Наука, 1975. 210 с.
- Алишина Х. Ч., Трофимова С. М., Усманова М. Г.** Названия одежды и обуви в тюрко-монгольских языках (на материале тоболо-иртышского диалекта сибирских татар, башкирского и монгольских языков) // Вестник Башкирского университета. 2019. Т. 24. № 3. С. 681–686.
- Антонов Н. К.** Материалы по исторической лексике якутского языка. Якутск, 1971. 143 с.
- Бадмаева Р. Д.** Бурятский народный костюм. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1987. 192 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. II. Новосибирск: Наука, 2005. 912 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. IV. Новосибирск: Наука, 2007. 672 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. V. Новосибирск: Наука, 2008. 616 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. VI. Новосибирск: Наука, 2009. 519 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. VII. Новосибирск: Наука, 2010. 519 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. VIII. Новосибирск: Наука, 2011. 572 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. IX. Новосибирск: Наука, 2012. 630 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. X. Новосибирск: Наука, 2013. 575 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. XIV. Новосибирск: Наука, 2017. 592 с.
- Большой толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Т. XV. Новосибирск: Наука, 2018. 576 с.
- Гаврильева Р. С.** Одежда народа саха конца XVII — середины XVIII века. Новосибирск: Наука, 1998. 144 с.
- Гоголев А. И.** Якуты. Историко-этнографический очерк // Культурное наследие народа саха. СПб., Якутск: Ленарт, 1994. С. 15.
- Диалектологический словарь якутского языка / Сост. Афанасьев П. С., Воронкин П. С., Алексеев М. П. М.: Наука, 1976. 392 с.

- Дугаров Д. С.** Исторические корни белого шаманства на материале обрядового фольклора бурят. М.: Наука, 1991. 300 с.
- Зыков Ф. М.** Якутское бэлэпчи и его этнографические параллели // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1993. С. 263–268.
- Киргизско-русский словарь / Сост. К. К. Юдахин. Москва: Советская Энциклопедия, 1965. 503 с.
- Носов М. М.** Одежда и украшения якутов XVII–XX вв. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2010. 94 с.
- Петрова С. И.** О некоторых этнокультурных параллелях якутской одежды // European Social Science Journal. 2013. № 10–2 (37). С. 294–299.
- Сапалова Д. У.** Якуты и киргизы: этнокультурные параллели и особенности: автореф. дис. ...истор. наук. Хабаровск, 2010. 27 с.
- Слепцов П. А.** Русские лексические заимствования в якутском языке. (Дореволюционный период). Якутск: Якут-книгоиздат, 1964. 196 с.
- Словарь русского языка / Сост. С. И. Ожегов. Под редакцией Н. Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1983. 816 с.
- Словарь якутского языка / Э. К. Пекарский. СПб.: Наука, 2008. Т. I. 3-е изд-е. 1280 стб.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика / Э. Р. Тенишев, Г. Ф. Благова, И. Г. Добродемов, А. В. Дыбо, И. В. Кормушин, Л. С. Левитская, О. А. Мудрак, К. М. Мусаев. М.: Наука. 2001. 822 с.
- Сравнительный словарь турецко-татарских наречий / Сост. Р. Д. Будагов. М.: Изд-во вост. лит., 1960. Т. II. 2-е изд. 415 с.
- Строптивый Кулун Куллустуур. Якутское олонхо / сказитель И. Г. Тимофеев-Теплоухов. Москва: Наука, 1985. 608 с.
- Толковый словарь живого великорусского языка / Сост. В. Даль. М.: Цитадель, 1998. Т. 4. 666 с.
- Тувинско-русский словарь / Сост. Х. С. Алдын-Оол., З. Б. Арагачи, Г. Ф. Бабушкин. Москва: Советская Энциклопедия, 1968. 646 с.
- Уйгурско-русский словарь / Сост. Э. Н. Наджип. М.: Советская Энциклопедия, 1968. 828 с.
- Щербак А. М.** О характере лексических взаимосвязей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков // Вопросы языкознания. М.: Российская академия наук, 1966. № 3. С. 29.
- Эвенкийско-русский словарь / Сост. Г. М. Василевич. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. 804 с.
- Этимологический словарь тувинского языка / Сост. Б. И. Татаринцев. Новосибирск: Наука, 2002. Том II. 375 с.
- Этимологический словарь якутского языка / Сост. В. Г. Попов. Якутск, Том II (рукопись).
- Räsänen M.** Versuch eines etymologischen Wörterbuchs des Türksprachen / M. Räsänen. Helsinki, 1969. 427 p.
- Clauson Gerard.** An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish / G. Clauson. Oxford: The Clarendon Press, 1972. 886 p.

Источники и принятые сокращения:

- БТСЯЯ** — Большой толковый словарь якутского языка / под общ. ред. П. А. Слепцова. Новосибирск: Наука, 2008. Т. V. 406 с.
- ДС** — Древнетюркский словарь / под ред. В. М. Наделяева, Д. М. Насилова, Э. Р. Тенишева, А. М. Щербака. Ленинград: Наука, 1969. 677 с.
- СРЯ** — Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1983. 816 с.
- ТСЯЯ** — Толковый словарь якутского языка / под редакцией П. А. Слепцова. Новосибирск: Наука, 2005. Т. II. 912 с.
- ЭСЯЯ** — Этимологический словарь якутского языка / В. Г. Попов. Якутск, Том II. (рукопись).

Готовцева Л. М., кандидат филологических наук, старший научный сотрудник.

**Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера
Якутского научного центра СО РАН.**

Ул. Петровского, д. 1, г. Якутск, республика Саха (Якутия), 677027.

E-mail: Lingot@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 30 декабря 2202 г.

L. M. Gotovtseva

BORROWED LEXIS OF THE TRADITIONAL YAKUT CLOTHING

The analysis of the words that denote Yakut clothing and its details (components) detects the presence of a peculiar lexical layer, the origin of which requires clarification from the point of view of their source and adaptation in the taken language. This thesis defines the formulation of the task to identify which of them were borrowed. The analysis of borrowings clothing names was carried out with the help of lexicographic dictionaries and represents the initial stage of research.

The composition of the borrowed vocabulary is various. This allows us to consider it as separate lexical and semantic groups that cover such kinds of clothing as headdress, outerwear, underwear (pants), shoes and clothing items.

These denominations attract attention because they are also found in the materials of the epic text-olonkho which creates the further study of this problem in the possibility of identifying interethnic contacts.

The studied vocabulary of borrowing-categories of clothing is closely related to the historical and social changes in the life of the northerners, the features of the natural and climatic conditions of living, their material culture.

It was revealed that the most of the borrowed lexemes were included in the Yakut dialects, mainly preserving their phonetic and morphological structure.

At the present time, some of the considered words of clothing items are becoming obsolete. The items of clothing themselves are becoming a thing of the past and with them the nominations are forgotten. Therefore, it is necessary to continue studying the accumulated linguistic and factual materials containing rich information about the processes of changing the language and history of the peoples of the North.

Keywords: *Yakut language, traditional clothing, vocabulary, adoption, types of clothing, clothing details, evens.*

References:

- Abdina R. P.** Leksika tradicionnoj odezhdy v dialektah hakasskogo yazyka: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [The vocabulary of traditional clothing in the dialects of the Khakass language:... candidate of Philological Sciences... candidate of Philological Sciences]. Novosibirsk, 2009. 20 p. (in Russian)
- Alekseev N. A.** Tradicionnye religioznye verovanija yakutov v XIX — nach. XX v. [Traditional religious beliefs of the Yakuts in the XIX — beg. XX century]. Novosibirsk: Nauka, 1975. 210 p. (in Russian)
- Alishina X. Ch., Trofimova S. M., Usmanova M. G.** Nazvaniya odezhdy i obuvi v tjurko-mongol'skih yazykah (na materiale tobolo-irtyshskogo dialekta sibirskih tatar, bashkirskogo i mongol'skih yazykov) [The names of clothes and shoes in the Turkic-Mongolian languages (based on the material of the Tobol-Irtysh dialect of the Siberian Tatars, Bashkir and Mongolian languages)] // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2019. T. 24. № 3. 681–686 p. (in Russian)
- Antonov N. K.** Materialy po istoricheskoj leksike yakutskogo yazyka [Materials on the historical vocabulary of the Yakut language]. Yakutsk, 1971. 143 p. (in Russian)
- Badmaev R. D.** Burjatskij narodnyj kostjum [Buryat folk costume]. Ulan-Ude: Buryat Book Publishing House, 1987. 192 p. (in Russian)
- Bolshoj tolkovyj slovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2005. Vol. II. (in Russian)
- Bolshoj tolkovyj slovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2007. Vol. IV. (in Russian)
- Bolshoj tolkovyj slovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2008. Vol. V. (in Russian)
- Bolshoj tolkovyslovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2009. Vol. VI. (in Russian)
- Bolshoj tolkovyslovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2010. Vol. VII. (in Russian)

- Bolshoj tolkovyj slovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2011. Vol. VIII. (in Russian)
- Bolshoj tolkovyj slovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2012. Vol. IX. (in Russian)
- Bolshoj tolkovyj slovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2013. Vol. X. (in Russian)
- Bolshoj tolkovyj slovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2017. Vol. XIV. (in Russian)
- Bolshoj tolkovyj slovar yakutskogo yazyka [Great explanatory dictionary of Yakut language] / Ed. by P. A. Sleptsov. Novosibirsk, Nauka, 2018. Vol. XV. (in Russian)
- Gavrilyeva R. S.** Odezhda naroda sakha kontsa XVII — serediny XVIII veka [Clothing of the Sakha people of the late XVII — mid XVIII century]. Novosibirsk: Nauka, 1998. 144 p. (in Russian)
- Gogolev A. I.** Yakuty. Istoriko-jetnograficheskij ocherk [Yakuts. Historical and ethnographic essay] // Cultural heritage of the Sakha people. Yakutsk: Lenart, 1994. 15 p. (in Russian)
- Dialektologicheskij slovar' yakutskogo yazyka [Dialectological dictionary of the Yakut language] / Afanasyev P. S., Voronkin P. S., Alekseev M. P. Moscow: Science, 1976. 392 p. (in Russian)
- Dugarov D. S.** Istoricheskie korni belogo shamanstva na materiale obrjadovogo fol'klora burjat [The historical roots of white shamanism on the material of ritual folklore are drilled]. Moscow: Nauka, 1991. 300 p. (in Russian)
- Zykov F. M.** Yakutskoe bjeljepchi i ego etnograficheskie paralleli [Yakutsk belepchi and its ethnographic parallels] // Ethnic History of the Peoples of Southern Siberia and Central Asia. Novosibirsk: Nauka, 1993. 263–268 p. (in Russian)
- Kirgizsko-russkij slovar' [Kyrgyz-Russian Dictionary] / K. K. Yudakhin. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1965. 503 p. (in Russian)
- Nosov M. M.** Odezhda i ukrasheniya yakutov XVII–XX vv. [Clothing and its decorations of Yakuts in XVII — XX centuries]. Yakutsk: YaNC SO RAN, 2010. 94 p. (in Russian)
- Petrova S. I.** O nekotoryh etnokul'turnyh paralleljah yakutskoj odezhdy [About some ethnocultural parallels of the Yakut clothes] // European Social Science Journal. 2013. No. 10–2 (37). 294–299 p. (in Russian)
- Sapalova D. U.** Yakuty i kyrgyzy: etnokul'turnye paralleli i osobennosti: avtoref. dis. ...istor. nauk [Yakuts and Kyrgyz: ethnocultural parallels and features]: author. dis. ... history. Science. Khabarovsk, 2010. 27 p. (in Russian)
- Sleptsov P. A.** Russkie leksicheskie zaimstvovaniya v yakutskom yazyke. (Dorevoljucionnyj period) [Russian lexical borrowings in the Yakut language. (Pre-revolutionary period)]. Yakutsk: Yakutknigoizdat, 1964. 196 p. (in Russian)
- Slovar russkogo jazyka [Dictionary of Russian language] / Sost. S. I. Ozhegov. Ed. by N. Ju. Shvedova. Moscow: Russkij yazyk, 1983. 816 p. (in Russian)
- Slovar yakutskogo yazyka [Dictionary of Yakut language] / E. K. Pekarsky. Leningrad, the USSR Academy of Sciences, 1959. Vol. I, 2nd ed. 1280 stb. (in Russian)
- Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika tjurkskih yazykov. Leksika [Comparative historical grammar of Turkic languages. Vocabulary] / E. R. Tenishev, G. F. Blagova, I. G. Dobrodemov, A. V. Dybo, I. V. Kormushin, L. S. Levitskaya, O. A. Mudrak, K. M. Musaev. Moscow: Science. 2001. 822 p. (in Russian)
- Sravnitel'nyj slovar' turecko-tatarskih narechij [Comparative dictionary of Turkish-Tatar dialects]. Moscow: Publishing house vost. lit., 1960. T. II. 2nd ed. 415 p. (in Russian)
- Stroptivij Kulun Kullustuur. Yakutskoje olonho [The obstinate Kulun Kulustuur. Yakut olonkho] / narrator I. G. Timofeev-Teploukhov. Moscow: Nauka, 1985. 608 p. (in Russian)
- Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka [Explanatory dictionary of living Great Russian language] / V. Dahl. Moscow: Citadel, 1998. T. 4. 666 p. (in Russian)
- Tuvinsko-russkij slovar' [Tuva-Russian Dictionary] / H.S. Aldyn-Ool., Z. B. Aragachi, G.F. Babushkin. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1968. 646 p. (in Russian)
- Evenkijsko-russkij slovar' [Evenki-Russian Dictionary] / G. M. Vasilevich. Moscow: State Publishing House of Foreign and National Dictionaries, 1958. 804 p. (in Russian)
- Ujgursko-russkij slovar' [Uyghur-Russian Dictionary] / E. N. Najip. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1968. 828 p. (in Russian)
- Etimologicheskij slovar' tuvinskogo yazyka [Etymological dictionary of the Tuvan language] / B. I. Tatarintsev. Novosibirsk: Nauka, 2002. Volume II. 375 p. (in Russian)
- Etimologicheskij slovar' yakutskogo yazyka [Etymological dictionary of the Yakut language] / V. G. Popov. Yakutsk. Volume II. (the manuscript) (in Russian)

Shcherbak A. M. O karaktere leksicheskikh vzaimosvjazej tjurkskich, mongol'skich n tunguso-man'chzhurskich yazykov [About the character of the lexical interconnections of Turkic, Mongolian and Tungus-Manchu languages] // Questions of linguistics. Moscow: Russian Academy of Sciences, 1966. № 3. 29 p. (in Russian)

Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs des Türksprachen / M. Räsänen. Helsinki, 1969. 427 p.

Clauson Gerard. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish / G. Clauson. Oxford: The Clarendon Press, 1972. 886 p.

Gotovtseva L. M., candidate of philology, senior research fellow.

RAS, Siberian branch, Yakut scientific center, Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Yakut Language Department.

1 Petrovsky st., Yakutsk, Russia, 677027.

E-mail: Lingot@rambler.ru

В. Р. Николаев

ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ КЕТОВ И ИНДЕЙЦЕВ НАВАХО: ОПЫТ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ

В статье проведен сравнительный анализ погребально-поминальной обрядности кетов (представителей енисейской языковой семьи) и индейцев навахо (представителей языковой семьи на-дене) с целью выявления в этих обрядах каких-либо культурных сходств и связей для сбора данных, позволяющих впоследствии анализировать характер самих этих связей. В результате автором статьи были получены выводы о том, что среди характеристик в погребально-поминальном обряде кетов и индейцев навахо есть как существенные (захоронения на лабазе и на дереве, объяснение смертности человека, ориентация умершего), так и менее существенные сходства. Некоторые элементы сходства в погребально-поминальных обрядах сравниваемых этносов позволяют (с большой осторожностью) оценить имеющиеся черты сходства как носящие характер культурно-генетических, что может стать неким дополнительным аргументом в пользу теории о родстве индейцев на-дене и енисейцев.

Ключевые слова: *кеты, навахо, погребально-поминальные обряды, похороны, дене-енисейская языковая семья.*

Более столетия изучается вопрос о происхождении аборигенов Северной Америки и, тем не менее, до настоящего времени он остается открытым. На данный момент ведущей гипотезой исследователей является «Теория короткой хронологии» или «Теория Берингова пролива», согласно которой группа людей (палеоиндейцы) перешла из Сибири на Аляску благодаря сухопутному перешейку, соединявшему Евразию и Северную Америку, вслед за мигрирующими животными. Берингийский перешеек существовал в период от 27 до 11–10 тыс. лет назад и, таким образом, перейти по нему люди могли только в этом интервале времени. Нижняя граница возможного перехода определяется учеными с помощью палеоклиматической и палеоботанической реконструкции — не раньше, чем 23 тыс. лет назад (то есть после пика оледенения, произошедшего 26 тыс. лет назад). О верхней границе судят по археологическим находкам на территории Америки, и они позволяют говорить о дате 14,8–14,7 тыс. лет назад (Маркина, 2019: 64–69).

Зарождение гипотезы «Берингийского перешейка» происходило в 1930-е годы и было связано с именами антрополога А. Хардлички и российского этнографа В. Богораза; в наши дни этим вопросом занимаются многие археологи и генетики — как отечественные, так и зарубежные (С. А. Васильев, Ю. Е. Берёзкин, А. Г. Козинцев, И. И. Пейрос, С. Б. Слободин, А. В. Табарев, Э. Виллерслев и другие.).

Детали этого исторического перехода до сих пор дебатировались в научной литературе, но само принятие этого факта дает основания для предположения, что потомки переселившихся народов частично остались на территории Евразии. Именно этот факт подтвердили недавно генетические исследования: были проанализированы данные по мужским Y-хромосомам у индейцев Америки и народов Сибири. Цель их исследования заключалась в поиске Y-хромосомных вариантов, которые могли быть как у коренных индейцев, так и у населения Евразии, т. е. проследить конкретные генетические ниточки, связывающие Сибирь и Америку. В итоге было установлено, что американские варианты относятся к ветвям двух гаплогрупп Y-хромосомы — Q1 и C2. Данные гаплогруппы в Сибири имеют несколько вариаций. Выяснилось, что от Сибири до Америки «добрались» немногие варианты. Так, из гаплогруппы C2 первоначально на территории Евразии возникло восемь ветвей; в Берингию мигрировали три, а Америки достигла одна. Из десяти ветвей гаплогруппы Q1 в Берингии оказались три, а на американском континенте — две. Причём время расхождения предковых

гаплогрупп палеоиндейцев и их сибирских родственных линий лежит в рамках от 17,2 до 14,3 тыс. лет назад (Маркина, 2019: 64–69).

Именно кеты являются в Сибири одними из основных носителей гаплогруппы Q1 (подробнее см.: «Последние кочевые охотники Сибири оказались потомками древних евразийцев», http://генофонд.рф/?page_id=7220, дата обращения 07.12.2021); а основным носителем этой гаплогруппы в Северной Америке является народ навахо (Haplogroup Q-M242 [электронный ресурс] URL: <https://surl.li/axiby>, дата обращения 07.12.2021). Установлено, что языковая семья на-дене, к которой относится народ навахо, был одним из тех, чьи предки (представители дюктайской культуры (Березкин, 2015: 122–134)) переселились на американский континент, поэтому есть вероятность, что некоторая часть их предков осталась в Азии.

Известный исследователь в США и России лингвист и специалист по языкам енисейской группы Э. Вайда написал статью «A Siberian link with Na-Dene languages» (2010), в которой на основе сравнения морфологии озвучил идею о гипотетически существующей дене-енисейской языковой семье. В следующей статье, посвященной этому вопросу «Dene-Yeniseian: Progress and Unanswered Questions» (2018) Э. Вайда скорректировал ориентировочные даты миграции енисейцев на североамериканский континент. Исследования языкового сходства двух народов были, однако, начаты и ранее — М. Рулен в статье «The origin of the Na-Dene» (1998) с первых строк развивает мысль об их вероятном родстве. Статья П. Флегонтова с проведенными генетическими исследованиями «Paleo-Eskimo genetic legacy across North America» (2017) своим содержанием также поддерживает идею существования дене-енисейской семьи. Вопрос потенциального существования освещаемой языковой семьи рассматривается также соавторством лингвистов С. К. Гураль, А. А. Ким-Малони, Г. Петровой в статье «Siberian-American Cognitive and Cultural Interface through Eco-Ethnic Lexicon» (2019). Также сравнительные антропологические материалы содержатся в статье А. Kim-Maloney «Comparison of a Pair of Ket and Diné (Navajo) Myth Motifs. Dene-Yeniseic Connection» (2010). Конечно, как и у любой теории, здесь имеют место быть и критики, мнение которых не стоит приуменьшать. Одним из таковых является Г. Старостин, который в своей публикации «Dene-Yeniseian: a critical assessment» (2012) развивает мысль о недостаточных обоснованиях проведенных лингвистических исследований для поддержания идеи о существовании дене-енисейской семьи. Тем не менее, обзор библиографии на эту тему показывает, что обсуждению генетических и языковых связей между народами Сибири и Америки уделяют значительное внимание. При этом нельзя сказать о сколько-либо заметных на данный момент антропологических (историко-этнографических) исследованиях сравнительного плана в этой области.

В этой связи для полного ответа на вопрос о родственности культур актуальными становятся исследования антропологической (этнографической) направленности, нацеленные на поиск информации не столько о языках коренных народов, сколько об элементах их материальной и нематериальной культуры, для выявления их возможного общего прошлого.

В частности, достаточно консервативным элементом любой культуры является погребально-поминальная обрядность. И, если допустить, что лингвистических и генетических исследований достаточно для утверждения о том, что изучаемые народы родственны, то есть смысл провести сравнительный анализ данного аспекта, поскольку велика вероятность найти существенные и несущественные элементы сходства.

Для выявления черт сходства в погребально-поминальной обрядности были взяты два этноса как представители двух языковых семей: из енисейской языковой семьи были взяты кеты, как единственный сохранившийся до настоящего времени этнос из этой языковой семьи; кроме того, немаловажную роль играет тот факт, что этнографам удалось собрать объёмные этнографические данные об этом народе. Из этносов, входящих в языковую семью на-дене (или иначе атапаскскую языковую семью) был взят народ навахо, поскольку о нём также накоплены значительные этнографические данные.

Целью представленной статьи является введение в научный оборот результатов проведенного сравнительного историко-этнографического исследования погребально-поминальной обрядности индейцев на-дене (навахо) и енисейцев (кетов) для выявления их этнокультурных и исторических связей в прошлом.

Источниками для данного исследования послужили выявленные достоверные фотоизображения элементов погребально-поминальной обрядности изучаемых народов, с последующим выявлением общих и особенных черт. По кетским обрядам были использованы фотографии (вид кетской могилы с вещами, схема кетской могилы в пне дерева, фотография могилы в пне), опубликованные Б. О. Долгих (Долгих, 1961: 104, 106, 107), фотография дангольсов (Традиционная культовая культура кетов [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhun>, дата обращения 15.05.2020). По этнографии навахо фотоматериалы с индейским захоронением на дереве Р. Шафелдта (Shufeldt, 1891: 307).

Также источниками материалов для выявления реалий погребально-поминальных обрядов кетов являются дескриптивные исследования В. И. Анучина «Очерк шаманства у енисейских остяков» (1914), Б. О. Долгих «О похоронном обряде кетов» (1961), Е. А. Алексеенко «Кеты. Историко-этнографические очерки» (1967), а также фольклорный сборник «Мифы, предания и сказки кетов» (2001). Источниками материалов по погребально-поминальной обрядности индейцев навахо явились работы R. W. Shufeldt «Mortuary customs of the Navajo Indians» (1891) и E. L. Jerrold «Changing Burial Practices of the Western Navajo: A Consideration of the Relationship between Attitudes and Behavior» (1978), а также видеointервью с индейцем группы на-дене (<http://surl.li/amhvi>, дата обращения 15.05.2020) и текст песни-молитвы индейцев группы на-дене «Путь красоты» (<http://surl.li/amhuu>, дата обращения 15.05.2020).

Для анализа материала была выработана структура его группировки, позволяющая вычленять сравнительные характеристики погребально-поминальных обрядов, состоящая из следующих аспектов: 1) представления о душе, 2) представления о мире мёртвых, 3) способы погребения, 4) предпохоронные действия и обряды, 5) день похорон, 6) послепохоронные мероприятия, 7) сведения о кладбищах.¹

Итак, по данным аспектам была собрана следующая информация.

1) Представление о душе

Кеты верили в парциальное устройство души, т. е. считали, что у каждого человека несколько душ, имеющих существенные различия по своим функциям, т. е. буквально несколько «категорий» души. По данным Е. А. Алексеенко, кеты делили душу на 7 категорий, из которых только о трех (*атпэд, ульвей и контроль*) имеются сведения. Аtpэд считалась у кетов главной душой, она незрима в течение дня, но могла появиться во сне в виде отсутствующего человека. Если кет видел атпэд во сне, это значило, что отсутствующий скоро вернется, и считалось добрым признаком долголетия. Ульвей можно было увидеть — им считалось отражение в воде и в зрачке человека, а также падающая от человека тень. Самым тяжелым для толкования считается категория контроль. Иногда она выступает как совокупность атпэда и ульвея. Совокупность всех душ кеты называли кедатпэд (Алексеенко, 1967: 196).

Информации про душу у индейцев навахо меньше, но всё же известно, что они считали, что душа состоит из двух частей, добрая и злая часть души. Кроме того, навахо считали, что душа человека покидала тело с последним выдохом (James, 2004: 200).

2) Представление о мире мертвых

У кетов представление о мире мертвых было в нескольких вариантах: как некая подземная страна, и как «северная страна», находящаяся в низовьях Енисея, иногда как «запад-

¹ Этот список не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим; скорее он включает лишь самые «заметные» особенности, в которых были найдены некоторые сходства. Разумеется, существуют и другие аспекты в погребально-поминальных обрядах у обоих народов, обладающие малым или вовсе никаким сходством, но здесь они рассматриваться не будут.

ная страна», земля, куда заходит Солнце, страна мрака. Это отражает ситуацию, что у кетов в их мировоззрении присутствовала как вертикальная картина мироустройства, поэтому были идеи именно о «нижнем» мире (по вертикали относительно некоего среднего и верхнего мира), так и горизонтальная — по которой мир мертвых находился в одной плоскости с миром живых, но где-то на севере или западе.

Северную и/или западную стороны связывали с местом обитания *Хоседам* — мифической Старухой — хозяйкой этого мира мертвых (к ней попадали души как умерших, так и больных людей) (Алексеев, 1967: 197). Душа ульвей, освободившись от Хоседам и остальных шести душ после смерти человека, «ходит, где хочет», пока снова не получит возможности жить, т. е. присутствует идея реинкарнации (пусть и не в ярко выраженном виде).

По данным В. И. Анучина, души умерших чаще всего первое время пребывают в подземном царстве, которое находится под поверхностью земли. Там нет ни света, ни звёзд, не водятся ни рыбы, ни животные, только «мамонты» (тела). Там нет света, и души ничем не занимаются. Только собираются у светящихся гнилушек и сидят. Когда через неопределенный срок кончается их пребывание под землей, они снова выходят на землю и поселяются в растениях и животных (Анучин, 1914: 12–13).

О структуре мироздания и месте в нём мира мёртвых у навахо данных нет, но есть следующая информация о загробном мире и отношении к смерти у навахо, изложенная в интервью, опубликованном на популярном канале, посвященном культуре навахо: они считают, что жизнь в смысле пути от первого появления и до полного исчезновения не заканчивается физической смертью. Для них земная жизнь является третьим миром (желтым), после которого следует мир четвертый (белый), который им представляется наилучшим. Таким образом, смерти они не боятся (<http://surl.li/amhvi>, дата обращения 15.05.2020). По представленной информации сложно определить, какую картину (горизонтальную или вертикальную) представляет их мировоззрение.

У индейцев навахо есть легенда о происхождении смерти. Согласно этой легенде, смерть появилась тогда, когда один индеец поместил шкуру в воду. По замыслу, если бы шкура не утонула, смерти бы не существовало, но этого не случилось, и смерть стала финальной частью жизни. Индейцы не смотрели на эту шкуру — они от нее отвернулись, а в это время койот бросил на шкуру несколько камней, которые и заставили шкуру погрузиться в воду. По рассуждениям койота, если бы смерти не существовало, однажды наступил бы момент, когда не осталось бы свободной от людей земли (Погребальные обычаи навахо [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhvv>, дата обращения 27.05.2021).

3) Способы погребения

Способы погребения у кетов представлены в трех вариантах:

1. Ингумация (наиболее распространенный). Кеты выкапывали яму (около 1,5 метров в глубину) и клали труп на спину на две широкие доски из расколотых кедровых стволов. Покрытием для могилы служили также тонкие стволы молодых кедров. Покойника обязательно направляли головой в восточную сторону, несмотря на то, что до погребения он был направлен головой в западную сторону (Алексеев, 1967: 199–204).

2. В пне срубленного дерева (так хоронили умерших грудных детей). Толстый ровный кедр срубали на высоте груди человека и пробивали нишу, в которую помещали ребенка, обязательно лицом к реке. Затем нишу закрывали отдельной частью пня и обвязывали ветками ольхи. Рядом с могилой подвешивали берестяную колыбель. Ребенка обязательно хоронил отец (Алексеев, 1967: 205–206). Однако известно о немногочисленных случаях захоронения и взрослых людей в стволе дерева (Долгих, 1961: 103–112).

3. Погребение на лабазе. В таком типе погребения соблюдалась ориентация головы покойника на восток. Самого умершего клали в ящик из несбитых досок, покрытых берестой. Этот способ захоронения практиковался во время похорон шамана, либо по заранее высказанному желанию (Алексеев, 1967: 208).

4. Известны случаи строительства погребальных сооружений и последующего сожжения. Такие конструкции у кетов назывались «бок кус» (кет.: «бок» — ‘огонь’, «кус» — ‘жилище’). Имеется информация о том, что такой вид погребения являлся коллективным (Петров, 1994: 41–42), и объясняется он тем, что из-за частых эпидемий не всегда хватало здоровых людей для проведения похорон по всем правилам (Алексеев, 1967: 204), однако количество усопших, погребаемых таким способом, неизвестно.

Обычай хоронить сородичей в земле и на лабазе упоминается и в самом фольклоре кетов. Существует миф о Есе — главном боге и его сыне, согласно которому Есь указал сыну рассказать людям о том, как успокоить скорбящих по усопшему людей: «пусть сделают лабаз высотой в семь саженей (почти 15 метров) и покойника на него положат. На седьмой день человек оживет». Однако сын бога снизошел с неба к людям и научил их хоронить людей по-другому — «Выкопайте яму в семь саженей, опустите туда человека», люди послушались сына Еся и сделали захоронение в яме, из-за чего души усопших не смогли потом найти свои тела и ожить. Есь разгневался на это и превратил своего сына в собаку. С тех пор люди стали смертными, а собаки живут у людей (Мифы, предания и сказки кетов, 2001: 74–75).

У навахо есть также, как минимум, три варианта погребения:

1. Тело умершего взрослого человека или ребенка уносят из помещения, где он умер, и просто переносят в ближайший каньон, где его без особых церемоний помещают в одну из пещер и замуровывают мелкими камешками и булыжниками. Такой вариант захоронений чаще всего проходит в сумерках (Shufeldt, 1891: 303–304).

2. Используется в случаях с тяжело больными людьми, у которых уже нет надежды на выздоровление. В таком случае человека отводят в уединенное место, недалеко от места их стоянки, и оставляют там. Стараются найти такие места, где больной будет защищен колючим кустарником от диких животных. После этого человека оставляют либо на произвол судьбы, либо подкармливают до самой смерти (Shufeldt, 1891: 304–305).

3. Захоронения на деревьях. Эта практика была чрезвычайно редкой. Индейцы оборачивают тело умершего в одеяло и относят на горизонтальную ветку дерева, расположив на большой высоте. Основа этого надземного захоронения сооружается из веток, которые и поддерживают тело в горизонтальном положении (Shufeldt, 1891: 305).

4) Предпохоронные действия и обряды

Кеты держали покойника в его жилище до трех дней, в это время его наряды переставляли передком на запад (к стране смерти), а его самого лучшим образом одевали и обмывали. Интересен тот факт, что распашную одежду покойника запаховали на правую сторону, в то время как живые люди должны запаховать одежду на левую сторону. Данный обычай объясняется тем, что по их представлениям в загробном мире жизнь происходит наоборот — одежда носится наизнанку (Алексеев, 1967: 198). Лицо покойника закрывали распущенными волосами (при жизни как женщины, так и мужчины носили длинные волосы) или закрывали платком. Поскольку кеты считали, что умершие могут представлять опасность для их рода, процесс подготовки к захоронению обязательно производился людьми из другого рода. Во время подготовки умершего располагали на левой стороне жилища и головой к двери, т. е. на западную сторону. До похорон ему все время ставили пищу, набивали трубку табаком (Алексеев, 1967: 198–199).

Навахо перед самой смертью человека переводят умирающего в отдельное место. Если же смерть настигала человека дома, его жилище впоследствии разрушают и сжигают. Знахарь и члены семьи остаются с умирающим до самого конца, и ближе к смерти рядом с человеком остаются только они. Именно ближайшие родственники, по представлениям навахо, наиболее уязвимы к воздействию злых духов. Подготовкой тела к погребению занимаются двое мужчин. Во время этого процесса они не носят никакой одежды, кроме мокасин (Погребальные обычаи навахо[электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhvv>, дата обращения

27.05.2021). По моим предположениям, они это делают, чтобы не выкидывать потом одежду из-за контакта со злым духом.

5) День похорон

Похороны у кетов происходили днем. Перед тем как вынести из дома покойника, дети прощались с ним — перешагивали через его ноги справа налево. Труп выносили через дверь ногами вперед. Дверь чума преграждали поставленной по диагонали палкой. Покойника проносили под ней, а живые перелезали через нее — так кеты разгораживали дорогу живых и мертвых. Затем палку разрубали. Примечательно, что во время переноски умершего человека к месту погребения людям запрещалось оглядываться назад. Перед могилой разжигали костер, который «кормили» так же, как и покойника в жилище, то есть клали в костер кусочки пищи, табак, чай. Считается, что огонь разжигали для того, чтобы умерший не приходил к живым. Копали могилу всегда с запада на восток, причем всеми приготовлениями (копание могилы, вытесывание досок) занимались обязательно представители другого рода (Алексеев, 1967: 198–199).

Индейцы навахо перед началом процесса размазывают пепел с костра по своему телу, считая, что это спасет их от духов *чинди*.

Есть четыре ключевых момента в подготовке к погребению:

1. Тело умершего тщательно моют и одевают. Считалось, что, если этого не сделать, дух человека вернется в мир живых и будет вредить.

2. Похороны проходят в кратчайшие сроки. Чаще всего хоронят человека уже на следующий день. Чтобы организовать такую скорость, двое других мужчин роют могилу. Эти четверо мужчин — единственные, кто присутствуют на захоронении. Такая скорость объясняется тем, что, по их представлениям, злой дух выходит из усопшего в самый момент смерти последнего.

3. Четкая организованность похоронной процессии. Вещи усопшего на лошади доставляет один из четырех мужчин. Двое других несут тело на плечах, а последний предупреждает всех по пути, что лучше держаться на расстоянии от этой процессии.

4. Большое внимание уделяется тому, чтобы после похорон ничего не осталось. Даже инструменты, используемые для рытья могил, уничтожаются (Погребальные обычаи навахо [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhvv>, дата обращения 27.05.2021).

6) Послепохоронные мероприятия

У кетов по окончании погребения последний уходящий человек должен был положить палку на тропинку, которая как бы преграждала путь обратно для умершего. Если последний уходящий принадлежал к другой экзогамной группе, то считалось, что он сам является преградой, и палку размещать было не обязательно. Вернувшись домой, все проходили обряд очищения — мыли руки, перешагивали через костер, окуривали себя жженой берестой. Только после этого участники погребения могли войти в жилище. Родственники умершего некоторое время носили самую старую одежду без украшений, а по прошествии нескольких дней переходили в другое жилище. Вдова длительный срок ходила с расплетенными волосами. В память об умершем устраивали угощение (Алексеев, 1967: 201).

Поминки рядом с могилой не устраивали. Разные локальные группы кетов по-разному относились к животным умершего: оленные кеты забивали личного оленя покойника и раздавали мясо и шкуру всем, кроме семьи умершего. На Курейке левую часть туши оленя отделяли, резали на 7 кусков и бросали в закат, куда, по их представлениям, уходит человек. Остатки туши раздавали, а голову подвешивали на кол перед могилой (Алексеев, 1967: 199).

Стоит отметить, что почти везде, где живут кеты, встречаются такие запретные места, или о них сохраняется память в топонимике. Кеты стараются не посещать места захоронений (Алексеев, 2001: 43).

В некоторых семьях у кетов хранились антропоморфные изображения родных, которые умерли либо «не своей смертью», либо отличились особо хорошим поведением при жизни. Такие изображения назывались *дангольс*. Их воспринимали как живых людей — заместителей умершего. Обычно дангольсы олицетворяли мужчин, очень редко изображались пожилые женщины (Алексеев, 1971: 272).

По верованиям индейцев навахо, жизнь движется по непрерывному циклу, смерть является естественным явлением. Считается, что явные проявления горя и плач прикрепляют дух человека к месту и могут прервать путешествие в загробный мир, поэтому публично и выразительно они не показывают горе. Навахо верят, что злой дух (*чинди*) причастен к каждой смерти, а потому стараются не обсуждать мертвых и не попадать в места, в которых кто-то умер. Что касается родственников, у них не наблюдалось проявлений скорби, но существовал особенный для этого народа обычай, заключающийся в растирании на лбу и под глазами смолы, полученной из ядовитого дерева (Погребальные обычаи навахо [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhvv>, дата обращения 27.05.2021).

7) Сведения о кладбищах

Места захоронений кетов располагались вблизи от реки (от 200 м до 1 км от берега) на возвышенных местах с хвойными деревьями. Больших кладбищ не существовало, встречались только захоронения на 3–5 могил, расположенных рядом друг с другом. Места для захоронений умерших выбирались не случайно — могилы должны находиться далеко от стойбищ, что, возможно, объясняется верой в перевоплощение души человека в медведя (Алексеев, 1967: 197–198).

Похороны шамана мало отличались от обычных похорон. Его увозили на кладбище и хоронили как обыкновенного человека, было лишь больше людей в похоронной процессии и иногда хоронили неподалеку от священного места (Алексеев, 1967: 201).

Что касается кладбищ (мест коллективных захоронений) у индейцев навахо, то в соответствии с перечисленными мною выше методами погребения и отсутствием упоминаний о групповых захоронениях, можно предположить, что таковых не существовало. Говоря о расстоянии от могил до поселений, учитывая их веру в злого духа (*чинди*), обитающего рядом с умершим, можно предположить, что оно было весьма большим.

Таким образом, в ходе проведенного сравнительного анализа были получены следующие выводы:

В представлениях енисейцев и индейцев на-дене, рассматриваемых через материал по погребально-поминальной обрядности народов кетов и навахо, схожими являются следующие моменты:

1. Одинаковое осознание души, состоящей из нескольких частей, причем и тот и другой народ верили, что некоторое время после смерти одна из душ остается на земле и причиняет вред живым.

2. Участниками погребального обряда было ограниченное число лиц, которые после погребения проходили обряд очищения.

3. Оба народа использовали надземные захоронения, причем высота погребального сооружения и у кетов, и у навахо была большой.

4. Очень высокую степень сходства демонстрирует факт использования захоронения на деревьях (в высоких пнях) для погребения детей.

5. Во время погребения голова усопшего у кетов и индейцев навахо была ориентирована на восток, а одет он был в свою лучшую и любимую одежду.

6. Мифологическое объяснение смертности человека: как кеты, так и индейцы навахо объясняют, что человек стал смертен из-за определенного действия других существ. Причем согласно представлениям кетов, существо, по чьей вине они стали смертными — сын бога Еся — стал собакой, имеющей определенные негативные коннотации. Индейцы навахо в

своей смертности также винят животное из семейства псовых — койота, возможно, тоже обладающего негативными коннотациями.

7. Сходным является сам факт отсутствия единого кладбища для «своего народа».

8. Отсутствие традиции регулярно посещать места захоронений.

9. Большую степень сходства демонстрирует традиция сжигать сооружения, в которых умер человек.

10. Кеты и навахо верили в охранительные свойства огня и его производных (дым, пепел) и использовали их, чтобы защититься от негативного влияния злых духов. Возможно, традиция сжигать сооружение, в котором умер человек, у обоих народов каким-то образом связана с верой в охранительные свойства огня.

Теперь подвергнем анализу сами выявленные черты сходства, разделим их на существенные (на наш взгляд) и незначительные. Среди перечисленных выше сходных характеристик существенными можно назвать:

— способы надземных захоронений: на лабазе (в основе которого горизонтальный по конструкции помост — у кетов, на горизонтальном основании у индейцев навахо);

— объяснение смертности человека (виноват некто, связанный с семейством псовых, из-за чьих умышленных действий человек стал смертным);

— ориентация умершего головой в восточном направлении;

— традиция сжигать сооружения, в которых умер человек;

— осознание души, состоящей из нескольких частей, и причинение живым существам вреда одной из частей души после смерти носителя;

— ограниченное число лиц, участвующих в погребальном обряде, которые потом проходили обряд очищения;

Перечисленные элементы сходства могут быть вызваны происхождением обоих народов из одной общности, потому что два из них относятся к мифологии и обычаям, составляющим невербальную сторону погребально-поминального обряда, формирующуюся в далеком прошлом. Обычай хоронить человека на лабазе больше проявляется у кетов, чем у индейцев навахо, что тоже можно объяснить их родством в прошлом — индейцы отделились от первоначальной общности и со временем приобрели свои способы погребения.

К элементам сходства, которые распространены достаточно широко, и их трудно напрямую объяснить близостью происхождения этих народов, относятся:

— восточная ориентация тела усопшего в могиле (т. е. головой на восток) и традиция наряжать усопшего в его лучшую и любимую одежду;

— вера в охранительную силу огня для живых от мира мёртвых и от злых духов, оберегание живых с помощью огня;

— отсутствие единого кладбища для своей общности;

— отсутствие традиции регулярно посещать места захоронений.

Не исключено, что некоторые выявленные мною сходства можно причислить к случайным совпадениям, но наличие одновременно нескольких редких сходжений в важных элементах культуры и мировоззрения в совокупности с результатами генетических и лингвистических исследований и с относительной географической близостью Сибири и Северной Америки дают основания предполагать, что совпадения могут быть чем-то большим, чем случайность.²

² Сравнительный анализ различных аспектов культуры палеоазиатских народов и индейцев Америки был апробирован автором в статье «Боевые татуировки и мужские причёски народа мдевокантонов из группы Сиу, чукчей и эвенков: сравнительный аспект» (см. Николаев, 2021), результаты которого подтвердили существование определенных сходжений в культуре этих этнических групп, а значит за этим, вполне допустимо, может стоять вероятное проникновение элементов культуры палеоазиатов в Северную Америку.

Проведенное исследование, вместе с другим исследованием енисейцев, палеоазиатов и индейцев, поможет собрать дополнительные аргументы для научного труда, содержащего сборник сравнительных аспектов, в том числе лингвистических и генетических, и имеющего целью детальное прояснение вопроса культурно-генетического родства этих народов.

Литература и источники:

- Алексеев Е. А.** Кеты. Историко-этнографические очерки. Л., 1967. 260 с.
- Анучин В. И.** Очерк шаманства у енисейских остяков. СПб., 1914. 90 с.
- Березкин Ю. Е.** Сибирский фольклор и происхождение на-дене // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. № 43 (1). С. 122–134.
- Васильев С. А., Берёзкин Ю. Е., Козинцев А. Г., Пейрос И. И., Слободин С. Б., Табарев А. В.** Заселение человеком Нового Света: опыт междисциплинарного исследования. СПб.: Нестор история, 2015.
- Долгих Б. О.** О похоронном обряде кетов // Советская археология. 1961. Т. 6. С. 103–112.
- Маркина Н.** Как люди заселяли Америку? // Наука и жизнь. Москва: Изд-во «Наука и жизнь», 2019. № 1. С. 64–69.
- Мифы, предания, сказки кетов / Составитель: Е. А. Алексеев. М., 2001. 344 с.
- Николаев В. Р.** Боевые татуировки и мужские прически народа мдевокантонов из группы Сиу, чукчей и эвенков: сравнительный аспект // Материалы LXI Российской (с международным участием) археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2021. С. 220–221
- Петров А. И.** Неолит и ранняя бронза // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1994. Т. 2. С. 41–42.
- Погребальные обычаи навахо [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhvv> (дата обращения 27.05.2021).
- Последние кочевые охотники Сибири оказались потомками древних евразийцев URL: http://генофонд.рф/?page_id=7220 (дата обращения 07.12.2021)
- Прогулка в красоте: молитва народа Навахо [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhuu> (дата обращения 15.05.2020)
- Традиционная культовая культура кетов [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhun> (дата обращения 15.05.2020) Changing Burial Practices of the Western Navajo: A Consideration of the Relationship between Attitudes and Behavior [электронный ресурс] // Jerrold E. L. URL: <https://www.jstor.org/stable/1184565?read-now=1&s> (дата обращения 15.05.2021)
- Alexandra Kim-Maloney.** Comparison of a Pair of Ket and Diné (Navajo) Myth Motifs. Dene-Yeniseic Connection. Anthropological Papers of the University of Alaska, New Series, Vol. 5 (1–2), 2010, С. 279–284.
- Flegontov P.** Paleo-Eskimo genetic legacy across North America [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/armwm>
- Gural S., Kim-Maloney A., Petrova G.** Siberian-American cognitive and cultural interface through eco-ethnic lexicon // Pragmatics & Cognition. 2019. Т. 26. №. 1. С. 39–60.
- Нарпогрупп Q-M242 [электронный ресурс] URL: <https://surl.li/axiby> (дата обращения 07.12.2021)
- James B. W.** Revenge of the Windigo: the construction of the mind and mental health of North American Aboriginal peoples. Toronto. 2004. 414 p.
- Life Does Not End Navajo Beliefs on After Life [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhvi> (дата обращения 15.05.2020)
- Raghavan et al. Upper Palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans // *Nature*. 2015. V. 505. P. 87–91
- Ruhlen M.** The origin of the Na-Dene // Proceedings of the National Academy of Sciences. 1998. Т. 95. №. 23. P. 13994–13996.
- Shufeldt R. W.** Mortuary customs of the Navajo Indians // The American Naturalist. 1891. Т. 25. №. 292. P. 303–306.
- Vajda E.** A Siberian link with Na-Dene languages // The Dene-Yeniseian connection. Alaska. 2010. P. 33–99.
- Starostin G.** Dene-Yeniseian: a critical assessment // Journal of Language Relationship, vol. 8, no. 1, 2012. [электронный ресурс] URL: <https://doi.org/10.31826/jlr-2012-080109>
- Vajda E.** A Siberian link with Na-Dene languages // The Dene-Yeniseian connection. Alaska. 2010. P. 33–99.
- Vajda E.** Dene-Yeniseian: Progress and unanswered questions // Diachronica. 2018. Т. 35. №. 2. С. 277–295.

Николаев Вячеслав Романович, магистрант.

Томский государственный педагогический университет, историко-филологический факультет, кафедра всеобщей истории, археологии и этнологии.

Ул. Киевская, д. 60, г. Томск, Томская область, 634061.

E-mail: nikass2602@mail.ru

Материал поступил в редакцию 9 марта 2022 г.

V. R. Nikolaev

FUNERAL RITES OF KET AND NAVAJO INDIANS: EXPERIENCE OF HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC COMPARISON

The study is carried out a comparative analysis of the memorial and funeral rites of the Indians of the Na-Dene (Navajo) group and the Yenisei (Kets). The purpose of this study is to conduct a comparative analysis of ethnographic material in order to identify any cultural similarities and parallels in the memorial and funeral rites of the Navajo Indians and Kets and to collect data that would allow to analyze the nature of these ties themselves afterwards. As a result, the author of the article reached the conclusions that among the characteristics in the funeral ritual of the Kets and Navajo Indians there are both principal (the burials in a warehouse and on a tree, an explanation of human mortality and the orientation of the deceased in an eastern direction) and insignificant similarities among the characteristics in the funeral rituals of the Kets and Navajo Indians. There are cultural ties in memorial and funeral rites that allow (with great caution) to evaluate the existing similarities as cultural and genetic, which may become an additional argument in favor of the theory of the Na-Dene Indians' and the Yenisei's kinship.

Keywords: *chum Kets, Navajo, funeral and memorial rites, burial, Dene-Yenisei language family.*

References:

- Alekseenko E. A.** Kety. Istoriko-etnograficheskiye ocherki [Kety. Historical and ethnographic essays]. Leningrad, 1967. 260 p.
- Alexandra Kim-Maloney.** Comparison of a Pair of Ket and Diné (Navajo) Myth Motifs. Dene-Yeniseic Connection. Anthropological Papers of the University of Alaska, New Series, Vol. 5 (1–2), 2010. P. 279–284.
- Anuchin V. I.** Ocherk shamanstva u eniseyskikh ostyakov [An essay on shamanism among the Yenisei Ostyaks] SPb., 1914. 90 p.
- Berezkin Y. E.** Sibirskiy folklore I proishozhdenie na-dene [Siberian folklore and na-dene origin] // Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2015. № 43(1). P. 122–134.
- Changing Burial Practices of the Western Navajo: A Consideration of the Relationship between Attitudes and Behavior // Jerrold E. L. URL: <https://www.jstor.org/stable/1184565?read-now=1&s> (дата обращения 15.05.2021)
- Dolgikh B. O.** O pokhoronnom obryade ketov [About the funeral rite of the Ketov] // Sovetskaya arkheologiya. 1961. T. 6. Pp. 103–112.
- Flegontov P.** Paleo-Eskimo genetic legacy across North America [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/armwm>
- Gural S., Kim-Maloney A., Petrova G.** Siberian-American cognitive and cultural interface through eco-ethnic lexicon // Pragmatics & Cognition. 2019. T. 26. №. 1. P. 39–60.
- Haplogroup Q-M242 URL: <https://surl.li/axiby> (дата обращения 07.12.2021)
- James B. W.** Revenge of the Windigo: the construction of the mind and mental health of North American Aboriginal peoples. Toronto. 2004. 414 p.
- Life Does Not End Navajo Beliefs on After Life [электронный ресурс] URL: <http://surl.li/amhvi> (дата обращения 15.05.2020)
- Markina N.** Kak lyudi zaselyali Ameriku? [How did people populate America?] // Nauka i zhizn'. Moskva: Izd-vo «Nauka i zhizn'», 2019. № 1. S. 64–69.
- Mify. predaniya. skazki ketov [Myths. legends. tales of the kets] / Sostavitel: E. A. Alekseyenko. M., 2001. 344 p.

Nikolaev V. R. Boyevyye tatuirovki i muzhskiye pricheski naroda mdevokantonov iz gruppy Siu. chukchey i evenkov: sravnitelnyy aspect [Combat tattoos and male hairstyles of the Mdevokantonovs from the Sioux, Chukchi and Evenks groups: a comparative aspect] // Materialy LKhl Rossiyskoy (s mezhdunarodnym uchastiyem) arkheologo-etnograficheskoy konferentsii studentov i molodykh uchenykh. Irkutsk: Izd-vo IGU. 2021. Pp. 220–221.

Petrov A. I. Neolit i rannyya bronza [Neolithic and Early Bronze] // Ocherki kulturogeneza narodov Zapadnoy Sibiri. Tomsk: Izd-vo TGU. 1994. T. 2. Pp. 41–42.

Pogrebalnyye obychai navakho [Navajo Burial Customs] URL: <http://surl.li/amhvv> (дата обращения 27.05.2021).

Poslednie kochevye ohotniki Sibiri okazalis' potomkami drevnih evraziyev [The last nomadic hunters of Siberia turned out to be the descendants of the ancient Eurasians] URL: http://генофонд.рф/?page_id=7220 (дата обращения 07.12.2021).

Progulka v krasote: molitva naroda Navakho [A Walk in Beauty: Prayer of the Navajo people] URL: <http://surl.li/amhuu> (дата обращения 15.05.2020).

Raghavan et al. Upper Palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans // Nature. 2015. V. 505. P. 87–91.

Ruhlen M. The origin of the Na-Dene // Proceedings of the National Academy of Sciences. 1998. T. 95. №. 23. P. 13994–13996.

Shufeldt R. W. Mortuary customs of the Navajo Indians // The American Naturalist. 1891. T. 25. №. 292. P. 303–306.

Starostin G. Dene-Yeniseian: a critical assessment // Journal of Language Relationship, vol. 8, no. 1, 2012. URL: <https://doi.org/10.31826/jlr-2012-080109> (дата обращения 15.05.2020).

Traditsionnaya kultovaya kultura ketov [The traditional cult culture of the Kets] URL :<http://surl.li/amhun> (дата обращения 15.05.2020).

Vajda E. Dene-Yeniseian: Progress and unanswered questions // Diachronica. 2018. T. 35. №. 2. P. 277–295.

Vajda E. A Siberian link with Na-Dene languages // The Dene-Yeniseian connection. Alaska. 2010. P. 33–99.

Vasiliev S. A., Berezkin U. E., Kozintcev A. G., Peiros I. I., Slobodin S. B., Tabarev A. V. Zaselenie chelovekom Novogo Sveta: opyt mezhdisciplinarnogo issledovaniya [Human settlement of the New World: an experience of interdisciplinary research]. SPb.: Nestor istoriya, 2015.

Nikolaev Vyacheslav Romanovich, master student.

Tomsk State Pedagogical University, Faculty of History and Philology, Department of General history, archeology and ethnology.

60 Kievskaya st., Tomsk, Russia, 634061.

E-mail: nikass2602@mail.ru

А. Е. Пискунова

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК КОНСТРУКТ ВОСПРИЯТИЯ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМЕРНОСТЬ НОВОКУЗНЕЦКА

Настоящая статья обращается к пониманию проблематики «человека в городе». Для городского человека фундаментальной оказывается смысловая интенциональность в отношении городского пространства — континуума сосуществования, коммуникаций, взаимодействий, отношений и потребностей. В исследовании предложена перспектива осмысления пространства города как ценностно-смысловой конструкции реальности, оформленной в процессе субъективного восприятия. Постановленная проблема предполагает аналитическую работу в рамках антропологического подхода к пониманию городской жизни. Интерпретация многообразия содержаний пространственных опытов горожан как ситуационно-смысловых согласуется с феноменолого-когнитивной трактовкой городского пространства и осуществляется в коммуникативно-семиотическом ключе.

Пространство города, переживаемое как антропологический феномен, становится соразмерным человеку через специфику конкретного предметного пространства и «городского воображаемого», ситуативного и фиксированного на городе сознания. В восприятии городского пространства свою релевантность обретают материальное измерение (создаваемая людьми материальная обстановка: транспортные системы, парки, здания, сооружения и прочее), социальное измерение (социальные интеракции и действия индивидов и групп, образ использования индивидами или группами части городского пространства и его воспроизводство), символическое измерение (то, как определенные знаки, символы, системы репрезентации, образы конструируют места). В целом, пространственный опыт горожанина задается смысловой дихотомией в разной степени «обжитых» и «необжитых» городских пространств, где на одном полюсе находятся часто посещаемые места, вписанные в обыденный порядок жизни, а на другом — редко или вовсе не посещаемые части города, текстура пространства которых отличается от повседневной, то есть физически, психологически, ментально не освоенные.

Делается вывод о том, что необходимость упорядочивания разрозненных ощущений и переживаний пространства города и формирования целостного образа города становится для горожанина задачей смыслового и аксиологического соотношения себя с конкретными местами, которое может быть понято через акцентуацию пространств повседневной жизнедеятельности, особенностей (социального) видения в городе и субъективных переживаний событийности городской жизни.

Ключевые слова: городское пространство, образ города, восприятие пространства, антропология города, повседневность, топология.

Сегодня большая часть населения мира живет в городах, и процессы урбанизации неизбежно будут — в плане географических и социокультурных пространств — расширяться и углубляться и дальше (Prato, Pardo, 2013). В современных условиях необходимо комплексное социально-гуманитарное осмысление этих процессов, которое сфокусировано как на глобальных, так и на локальных явлениях и эффектах. В рамках городских исследований (urban studies), междисциплинарного исследовательского поля высокой концептуальной и методологической разнородности, предложено понимание многообразия измерений экономических, политических, социокультурных аспектов городской жизни. Определяя актуальные направления аналитической работы в изучении города, нельзя не отметить две устойчивые тенденции исследований. Во-первых, становится востребованным индуцируемый пространственным поворотом (spatial turn) в социальных и гуманитарных дисциплинах (Бахманн-Медик, 2017: 338–393) анализ города, осуществляемый через призму *пространственности* (Сертакова, 2014). Во-вторых, в современных исследованиях города также отмечается смещение фокуса исследований с традиционного изучения его как историко-географического, политико-административного и экономического объекта на осмысление

тех феноменов, которые символически и ментально детерминируют городскую реальность (Гарнага, 2020). Наблюдается устойчивый культурный (символический) сдвиг, призванный продемонстрировать тесную связь культуры города, городского сообщества и городской среды (Федотова, 2020). Учитывая идейно-концептуальный контекст современных городских исследований, представляется актуальным изучение пространства города в его связи и взаимодействии со смысловыми, знаково-символическими структурами и коллективными представлениями.

В основу такого исследования с необходимостью должен быть положен антропологический подход, ориентированный на понимание «ключевых форм человеческого переживания города как сферы перманентной культурно-коммуникативной активности» (Аванесов, 2018: 14). Он позволяет осмыслить не только социальные аспекты структурирования совместной жизни горожан, но и акцентировать его культурные импликации. В данной перспективе город видится как устойчивый культурный конструкт, динамическая система смыслов, образов, ценностей, формирующая своеобразие *городского теста культуры* (Потанина, Голлобов, 2012), который может быть прочитан исследователем на основе продуктивного сближения семиотики и урбанистики в общем контексте антропологического знания.

Разработка антропологии городского пространства, учитывающей аспекты городской культуры, охватывает многочисленные процессы — социальное производство, социокультурное конструирование, (телесное) воплощение (embodiment) и дискурсивные практики (Low, 2014: 20–21). Такой подход нацеливает на анализ тех или иных аспектов *восприятия* городского пространства, которое интегрирует телесный опыт, семиотические процедуры, когнитивные конструкты, практики и структуры (вос)производства социальных отношений в процессе формирования пространственных представлений (Фень, 2012: 85–106). Городское пространство предстает как конструкт восприятия — обобщенный образ города и одновременно изменчивый конгломерат множественных образов мест города, сложившийся в сознании горожан в процессе означивания предметов и фрагментов городской реальности, который обусловлен как целями актуальной ситуации, так и предшествующим социокультурным и коммуникативным опытом. Возникающий образ города есть семантическая конструкция, культурно маркирующая пространство города, которая существует в виде слаборефлексируемых ментальных структур и отвечает системе intersубъективных значений и интрасубъективных смыслов городской картины мира (Пирогов, Петухов, 2017).

Основываясь на концептуальном видении, предложенном выше, данная работа стремится зафиксировать восприятие городской среды, выявив интерпретативные координатные сети конкретного города, благодаря которым его жители формируют опыт смысловой ориентации в городском пространстве. Решение поставленных задач осуществляется на основе анализа социокультурного пространства г. Новокузнецка (Кемеровская область — Кузбасс). В основу определения «человеческих размерностей» городского пространства положены 32 полуструктурированных интервью с жителями Новокузнецка, собранные автором в апреле–сентябре 2019 г. Применение качественной методологии позволяет сделать особый антропологический акцент на повседневной жизни в городе, охватывая социальную и культурную жизнь, которую люди ведут в городе, во всей ее сложности (Jaffe, Koning, 2016: 16). Предпринимая своего рода деконструкцию общего поля смысловых интерпретаций города, в данном исследовании городское пространство рассматривается *топологически*, как динамичная конфигурация различных пространственных опытов, имеющих качественную определённость благодаря структурирующим возможностям субъективного восприятия (Пирогов, 2010).

Топология повседневной среды горожанина

К пониманию пространства города как конструкта восприятия позволяет приблизиться изучение городской обыденности и повседневных практик горожан, поскольку именно по-

вседневность символически оформляет общий горизонт урбанистического со-бытия (Касаткина, 2011). Она задает социальный порядок, характеризующийся рутинностью, повторяемостью, опривычиванием, ориентируя жителей города на вписывание себя в урбанистическое пространство.

В первую очередь, город есть среда обитания — пространство существования человека, определяемое через потребности горожан, их трудовые будни и отдых, качество и уровень жизни. Поскольку именно за счет окружающей среды человек в жизненном процессе удовлетворяет свои потребности, город воспринимается через пространства потребления. Именно через посещение магазинов или потребительские практики осуществляется ориентация в городском пространстве и формируется пространственный опыт города: *«Вообще я гуляю мало, и все мои, так скажем, охваты своего района связаны с походами в магазин. Но магазины находятся достаточно близко к дому, и поэтому особой надобности дальше куда-то ходить и охватывать район нет»* (Ж, 21, учеба). (Здесь и далее — в кавычках курсивом приводятся цитаты из интервью; в скобках указаны социально-демографические характеристики информантов — пол, возраст и род деятельности соответственно)

Стремясь выявить социокультурное значение потребления в пространственных координатах города, примем в качестве тезиса, что любое экономическое взаимодействие предполагает нечто большее, чем просто обмен товара на деньги. Городские места потребления стимулируют процессы самоидентификации, становятся пространствами, где актуализируется проведение социальных границ и маркирования различий. На пространства потребления накладывается несколько сетей смыслов, приводящих к символической классификации мест. Их востребованность определяется следующим: «новое» место — появилось в обороте городской жизни достаточно недавно; насыщенность и разнообразие предоставляемых благ — более статусными оказываются места, где продаются не только различные товары первой необходимости, вроде еды, одежды и бытовой химии, но и имеются развлекательные площадки, кинотеатр; ценовой диапазон товаров — чем выше стоимость, тем менее символически доступными оказываются эти места торговли для посетителей. Особенно это касается торгово-развлекательных центров, таких коммуникативных площадок, которые символически предоставлены лишь для определенного контингента посетителей, условно маркируемого как «продвинутая молодежь». Эти пространства воспринимаются как культурно и социально гомогенные, и присутствие в них горожан, так или иначе не попадающих под доминирующий социальный тип потребителей, воспринимается как нарушение общественного порядка. При этом в восприятии некоторых горожан ТРЦ функционируют как типичные не-места, концептуальное понимание которых предложил М. Оже (Оже, 2017). Попадая в не-места, человек чувствует себя анонимным, обезличенным, у него не возникает конститутивной связи с частью пространства, а публичное выражение собственных запросов вызывает коммуникативные и психологические затруднения: *«Это (торговые центры. — А. П.) типа «Восток», «Новобайдаевка». Там есть продуктовые магазины, в которые ходят обычные люди — обычные, которые устали от своей работы; им лишь бы хлеб купить и уйти, они сильно на тебя не смотрят»* (Ж, 20, учеба).

Топологию среды обитания новокузнецанина образуют определяемые не только в евклидовых координатах части пространства, но и мобильности. Антропологи уже давно заинтересованы в понимании того, как различные социальные и культурные группы ориентируются в своей среде. Мобильность оказывается адекватным социальным явлением в контексте современных процессов урбанистического пространства: транспортные потоки, в первую очередь, безрельсовые (автомобиль, автобус), реорганизуют пространство города. Однако такое соединение мобильности и визуализации преобразует не только манеру зрительного восприятия субъекта, но и сам мир, на который направлен взор — появляется новый пространственный опыт как результат *транспортной медиации* (Кузнецов, 2016): *«Я очень часто езжу на автобусе, и для меня город выглядит как вот эта дорога от вуза до дома. И*

поэтому вокруг них я и строю ... то есть у меня нет города в ширь, потому что по-другому я не так часто езжу» (Ж. 21, учеба).

Протяженность районов города и связанная с этим необходимость постоянных движений между ними конструируют особые ментальные границы между частями города, где за точку отсчета и точку притяжения принимается условный «центр города», символическое оперирование которым актуализирует представления о «периферии». Они предполагают диапазон означающих, начиная от низкой активности жителей, слабой насыщенности видами деятельности и значимыми социальными институтами, до старых ветхих зданий, в том числе деревянных, общей серости, отсутствия ярких точек в ландшафте: «У нас **спальный район, туда люди приезжают спать**. Там люди, кроме того, что живут, питаются и просто спят, ничего не делают, а в центре какая-то вечная движуха, **какие-то мероприятия, там работает много людей и много каких-то бизнес-центров**» (Ж, 28, работа в коммерческой организации).

Именно перемещения, задаваемые при этом материальными, физическими данностями, такими как остановки общественного транспорта, проезжая часть, протяженность улиц, автобусные поездки, производят значение как в отношении пространства, так и в отношении некоторых городских общностей и человеческой деятельности: «Многие, кстати, кто ездят из Кузнецкого и Орджоникидзевского районов по этому мосту (Левый берег р. Томи. — А. П.) в город, а потом домой обратно, понимают этот мост как такой центр пересечения и центр всего. Он связывает два берега реки, на которых **спальные районы и деловые, где люди работают**. И они вынуждены каждый день по этой дороге ездить» (Ж, 33, работа в коммерческой организации).

В целом, потребление и мобильность выступают как структурные элементы современной среды обитания горожанина. Воспринимая городское пространство через определенные ситуации потребления и перемещения, жители попадают одновременно и в физические, и в значимые социокультурные обстоятельства.

Городское зрение как медиатор пространственного восприятия

Конститутивными для восприятия городского пространства оказываются не только физические реалии городской среды или их смысловые интерпретации, но и сам опыт видения. Осмысленное в конструктивистском ключе *видение* выступает разновидностью социального действия, когда акцент делается не на визуальном образе объекта как таковом, а на акте рассматривания как деятельности по интерпретации действительности. В условиях неоднородной социальной и семиотической насыщенности урбанистической среды видение непременно фрагментарно: опыт пространства города составляют многообразные конфигурации видимого и невидимого, смотра и незамечания (Самутина, 2014).

В первую очередь, видение определяет *городской визуальный опыт* — в зрительном восприятии города делаются акценты на выделяющихся, «крайних» объектах и территориях: «Сити Молл изначально — один из первых возникших современных торговых центров в городе. Он и остался в памяти, как **крупногабаритный торговый центр**» (М, 34, работа в коммерческой организации); «Собор, который построили недавно у нас в Орджоникидзевском районе. Я не помню, как он называется. Почему он? Ну, потому что он такой **яркий и его видно со всех сторон**» (М, 20, учеба).

Повседневное видение горожанина влечет за собой визуальную разметку пространства, где конкретные места, которые были вовлечены в семиотические процедуры субъективного придания смысла части пространства, были атрибутированы определенными визуальными знаками. В привычных маршрутах, связанных с прогулками или с ежедневными поездками от дома до работы/учебы, это могут быть остановки и крупные яркие здания: «**Спасо-Преображенский собор** — просто такая церковь, которая стоит практически на входе в

Кузнецкий район» (М, 33, работа в коммерческой организации). В некоторых случаях происходит предельное редуцирование пространственных смыслов, в результате которого место становится всего лишь «объемным» аналогом дорожного знака: *«Во время прогулок стела Дружбы народов была нам маяком, чтобы мы туда перешли, на нужную сторону дороги после кольца» (Ж, 27, работа в коммерческой организации).*

Кроме того, такие опорные точки становятся визуальными маркерами смысловых различий, когда некоторая часть территории города в ее материальной наполненности становится границей, преодоление которой предполагает иные ожидания или реализацию новых практик: *«Остановка Герцена, потому что там рядышком жила моя бабушка, и я уже на тот момент такая: “ой, Герцена, скоро мне выходить”» (Ж, 19, учеба).* Знаки внешних границ города также придают смысловую наполненность местам, акцентирующим пределы «вместимости» городской идентичности. Знаки пересечения городской черты Новокузнецка коннотативно увязаны с некоторым чувством города: *«Символом назову стелу Новокузнецкую, потому что это та граница, хотя это не территориальная граница, потому что Новокузнецк раньше-то начинается. Но это именно тот символ, тот знак, который обозначает, что именно сейчас всё — ты в Новокузнецке, ты в Новокузнецке, а не где-то там» (Ж, 42, работа в коммерческой организации); «Точка отсчета, центр города для меня — это вокзал, несмотря на то, что он как бы на периферии находится. Для меня это центр, потому что туда приезжают поезда и оттуда отправляются в другой город опять, именно все путешествия ты начинаешь от вокзала» (М, 38, работа в коммерческой организации).*

При этом взгляд горожанина имеет социокультурные и символические пределы. В социальном видении города его жителями обнаруживается повседневная «слепота» — снижение интенсивности и концентрации визуального опыта в повседневном взаимодействии с городским пространством, когда субъект не проблематизирует городскую среду обитания. Возникший в процессе жизнедеятельности образ города задает типичу восприятия и поведения, то есть придает опыту определенную форму всеобщности через интенциональный процесс унификации (типизации) предметов, выделяя одни в качестве значительных и не замечая другие как нечто второстепенное и лишённое значимости: *«Когда человек живет в городе столько лет и когда он ходит по этим улицам каждый день, если он специально не сфокусирует свое внимание на чем-то, он пройдет мимо, ничего не замечая» (Ж, 47, работа в коммерческой организации).*

Наличие зон незамечаемого и невидимого есть симптом определенной социальной ситуации. За пределами видения оказываются неосвоенные, не вписанные в повседневность территории; они не попадают в пространство взгляда — не просто зрения, а умозрения, зрения, которое превращается в телесно-интеллектуальную форму, оставляя пробелы, пустоты на ментальной карте города жителя: *«Те улицы, которые не находятся в поле зрения надобности, и на них человек попадает только в определенных ситуациях, то есть это такие, не рутинные улицы, так их назовем» (Ж, 36, работа в коммерческой организации).*

Недостаточность или затруднение видения, обусловленные слабым или отсутствующим освещением пространств и помещений города, становятся маркерами социальных проблем, как материальных (например, неработающий фонарь), так и воображаемых (страхи). Темнота делает городского субъекта уязвимым, беззащитным, тем, кого могут застать врасплох. Слабая освещенность также становится выражением некомфортности места, его отталкивающей атмосферы, когда не ясно видно — в прямом и метафорическом смысле — что там происходит: *«В каждом районе есть места, типа закоулков и темных ... скопище гаражей <...> Потому что я девочка и возвращаюсь поздно домой, и не всегда чувствую себя защищенной, может быть такое, что идут люди нетрезвые или что еще» (Ж, 18, учеба).*

Таким образом, городское пространство становится пространством смыслов благодаря работающему городскому зрению, проблематизация которого позволяет подчеркнуть социальную природу соотношения центральных (видимых) и периферийных (невидимых) зон,

как в непосредственном опыте восприятия горожанина, так и в процессе создания им «ментальных карт» пространства.

Восприятие пространства и темпоральность городской жизни

Смысловую насыщенность пространству города придает его восприятие в событийной динамике. Город в темпоральной логике связан с рефлексивным восприятием «протяженности» городских объектов и явлений во времени и предстает как поток пространственно-временных изменений в физическом и социокультурном контекстах (Касаткина, 2017). Аналитически различимы два уровня: темпоральность субъекта (жителя города) и темпоральность города (как совокупности социальных процессов). При этом «живое» восприятие города обнаруживает взаимосвязанность субъективного пространственного опыта и включенность в более широкий социальный и исторический контекст городской жизни. Значимость такого источника смысловой интенциональности определяется тем, что прошлое и память о нем непременно обладают аффективной насыщенностью, создавая неповторимый опыт пространств и мест (Шишова, 2018).

Итак, воспринимаемое городское пространство становится активатором определенных смыслов, параметров и качеств в перспективе городской истории. В городском тексте культуры Новокузнецка доминирует мощный комплекс советской семантики. Новокузнецк представляет собой яркий пример (пост)советского индустриального города. Появившийся в XVII в. как военное поселение (Кузнецкий острог), город пережил бурный рост на волне индустриализации. И в современных условиях реформирования экономических отношений и структуры производства город, которому в наследство досталось пространство, во многом спроектированное исходя из мировоззрения и ценностей советской эпохи, продолжает «источать» прежний социальный порядок: укорененность социальной жизни города в труде и производственном процессе не потеряла свое первостепенное значение; специфические субкультура и конфигурация власти; довлеющий доньше статус «индустриального сердца Кузбасса»; периферийный культурный ландшафт. Кроме того, физическая городская среда, ее материальный облик сохраняет множество следов советского строительства и архитектурных решений ушедшей эпохи, включение которых в пространственный опыт горожан становится практикой городской памяти: *«Вот, например, улица Кирова, она же у нас вообще протянулась от проспекта Курако до Левого берега. И там сохранились постройки 30-х годов, 50-х и совсем современные, в 2000 году построенные. Конечно, интересно это все посмотреть, проследить — в стиле конструктивизма построенные дома, современная архитектура (Ж, 45, работа в государственной организации); «Вся Советская площадь, наверно, вбирает в себя ... как правильно сказать? Вот именно там можно проследить историю города от начала до советского периода. То есть весь этот временной отрезок, три века, можно там отследить» (М, 52, работа в коммерческой организации).*

Работа коллективного сознания по конструированию городского прошлого происходит в фрейме «наследия», который предполагает относиться к прошлому как к *достоянию* материального и духовного характера. Это исторические артефакты, формирующие специфический историко-культурный ландшафт и носящие определенную ценность для сохранения устойчивой локальной идентичности. Наследие Новокузнецка, в первую очередь, вещественное, предполагает от горожан почтительного и даже трепетного отношения, ориентированного на консервацию, музеефикацию советского архитектурного наследия: *«Так, допустим, эти проспекты, по которым мы ходим. Может, они несовременные, может быть, лучше снести их и наставить там какие-нибудь шестнадцатиэтажки, двадцатиэтажки. Но это не лучше, пусть они будут советские, старые, но все-таки это история, и стоит гордиться тем, что они у нас есть» (Ж, 57, работа в коммерческой организации).* Одним из распространенных сюжетов, связанных с наследием как формой современного культурного

производства, является ее охрана и сохранение. В связи с этим в пространственном опыте горожан возникают визуальные образы ремонтных работ как практического воплощения *ответственного отношения* к наследию: *«Это такая старая улочка (ул. Ленина. — А. П.) с трамваями, с маленькими домиками, вечно что-то реставрируется. Вот эти зеленые сеточки висят на каком-нибудь доме обязательно. Короче, улица, где пытаются сохранять старость всеми силами. Либо там что-то ремонтируется постоянно, либо там что-то подкрашивается»* (Ж, 33, работа в коммерческой организации).

Кроме того, переработка «советского» наследия оказывается востребована в практиках потребительского общества, так или иначе задействованных в современном (вос)производстве специфических представлений и свидетельств советской социальной реальности. Речь идет об эстетической объективации материальных остатков той эпохи, восприятие которых сообщает опыт «встречи с подлинным»: *«Там (кинотеатр «Октябрь». — А. П.) какой-то антураж, там вот эти стульчики как в театре, такие **старые, деревянные**, то есть в обычных кинотеатрах, в современных, в которые ты ходишь с детства, для тебя чего-то нового не происходит, а тут я внезапно попала как будто в параллельную вселенную. Тут произошел перелом моего сознания в плане того, что я увидела, **какая может быть картинка, как раньше выглядел кинотеатр**. Он прям внутри очень старенький, там холодно, там такая плесень по потолку, но там экран прям покруче всех современных. И винтаж: вот я вообще люблю все старое, мне очень нравится это»* (Ж, 21, учеба).

При этом прошлое чаще всего очищается, дезинфицируется и, как правило, становится ностальгическим. Оно начинает циркулировать в городской картине мира как романтизированное воспоминание, заставляет ушедшие времена казаться уютными и желанными. Возвращение к «советскому» через ностальгию становится актуальной социальной эмоцией, которая предоставляет возможности для преодоления кризиса коллективной идентичности, который демонстрирует постсоветская реальность. Благодаря медиатизирующему свойству практик коллективного воспоминания через обращение к представлениям о советской действительности конструируется коллективное «мы», причастность к которому человек активно переживает. В ходе ностальгического переозначивания прошлого приобретают новый смысл и повышенную ценность определенные стороны «советского» как, прежде всего, особого типа социальности, акцентирующего многообразие форм коллективности, способы и типы переживания коммунальности, практики совместного существования. Восприятие городских пространств вызывает образы советской действительности — специфические «советские» практики и некоторые коммуникативные особенности «советских» людей, которые представляются социокультурной утопией: *«Дома такие смешные, трехэтажки: они все обшарпанные, абсолютно обшарпанные; у них есть не балкончики, а такие навесики, где белье можно сушить, даже на первом этаже. Там пахнет краской, там дворы просто разбитые абсолютно <... > Они отличаются этой **советской непринужденностью, когда люди были более дружелюбные, когда все было проще, общение было проще**. Какой-то именно непринужденностью, простотой и легкостью, что там мороженое по 10 копеек...»* (Ж, 23, учеба). На примере данной цитаты из интервью можно зафиксировать еще один показательный эпизод в конструировании городской идентичности. Поскольку информант в силу возраста не мог быть «свидетелем» повседневности советского мира, то его ностальгия обращена к отсутствующим в персональном опыте или даже вымышленным представлениям, которые кажутся значимыми и привлекательными. В этом случае она проявляет себя в форме переживания «ностальгии без памяти/воспоминаний» (Сапогова, 2019). В такой перспективе городские места активируют особые аффективные регистры, «замкнутые» на травмирующих вопросах идентичности и социального бытия городского сообщества.

Образ восприятия города, кроме того, предполагает опространствление личных воспоминаний конкретного горожанина и событий индивидуальной биографии. Городской опыт предстает как темпоральное пространство личности. При этом пространственную локализа-

цию имеют преимущественно детские воспоминания — время начала субъективного освоения среды обитания и яркости первого пространственного опыта. Большое значение имеет контекст освоения ребенком пространства города: он связан с нарушением запрета родителей на посещение определяемых ими как «не детские» мест («чужих» дворов, водоемов, торговых центров). Он сопровождается особыми практиками лжи и утаивания: *«Есть у нас такое озеро Песчанка, я не знаю, живо оно или нет, то есть высохло оно или нет, но часто в детстве в тайне от родителей мы туда ходили. Почему я его обозначила? Потому что мы часто очень от родителей скрывали это и шли с подругой. Приключение такое»* (Ж, 20, учеба); *«Может быть, парочка детских площадок, на которых я в детстве играла. В детстве мне туда было нельзя, и было так интересно туда ходить — там были качели намного лучше, чем у меня во дворе, где я играла»* (Ж, 25, работа в коммерческой организации).

Означенность некоторых мест Новокузнецка в перспективе личной биографии связана с кардинальными переменами в субъективном опыте, предполагающем новые возможности для обживания и использования города. В первую очередь, это проявляется в получении доступа к новым пространствам города, который связан со снятием родительского запрета. Дальнейшее их освоение становится необходимым этапом взросления, который, помимо прочего, сопровождается формированием новых социопропространственных практик: *«Я назову ТРЦ. Это связано с моим подростковым взрослением, и там произошел такой перелом моего мышления замкнутого, когда я боялась народа, боялась, что меня осудят. <...> В ТЦ я сама прошла какой-то путь опыта, когда я из застенчивого подростка превратилась в более или менее спокойного»* (Ж, 19, учеба).

Субъективную релевантность места города получают не столько благодаря событиями, сколько переживаниям этих событий горожанином. Так, смысловые связи с частью городского пространства устанавливаются через яркие эмоции «первых» ситуаций (первая влюбленность, первый поход в храм), страхи, длительные рутинные практики (учеба в школе, рабочие будни), редкие памятные даты (свадьба, концерт известной группы).

Таким образом, разворачивание городской жизни во времени непременно получает отражение в пространственном опыте городских субъектов. Городское пространство во многом формирует темпоральность личного мироощущения, вписанного в общий горизонт урбанистического со-бытия.

Заключение

Городу, как антропологическому феномену, присуща непредзаданность значений. Это справедливо прежде всего в отношении городского пространства, смысловое содержание которого имеет множество точек, оформленных в процессе субъективного восприятия. Горожане благодаря конструктивным возможностям восприятия формируют представления о своем жизненном пространстве, образуемые динамикой городских смыслов во времени и пространстве. При этом интерпретативность городского пространства, то есть его семантический характер и предметность знаков и коммуникативность значений и смыслов, которыми оно обладает, формирует поле постоянных и непрерывных смысловых взаимодействий, подвижности значений и символов, к которому подключаются процессы воображения и памяти. Обращаясь к социокультурной реальности Новокузнецка, данная работа предлагает понимание городского пространства как конструкта восприятия, порожденного динамикой и комплексностью пространственных опытов горожан. Образ пространства Новокузнецка структурирован несколькими топологическими «слоями». Первостепенное значение для жителя имеет опыт смысловой ориентации в повседневной городской среде, являющейся пространством сосуществования ее обитателей, в котором реализуются их потребности, трудовые будни и отдых. В становлении пространственного опыта большое значение имеет особый навык городского зрения, который принимается как «естественный» и благодаря собст-

венной конфигурации, культурно и исторически обусловленной, задает возможность различимости, пространственной структурности города. Кроме того, при формировании образа городского пространства важны не только факторы места и ситуации, но и времени, темпоральности городской жизни. Благодаря субъективному переживанию событий, помещенных в контекст городского пространства, происходит «со-творение» города как осмысленного человеком жизненного пространства, релевантного как индивидуальной биографии жителя, так и городской истории и коллективной памяти. Таким образом, городское пространство получает свою антропологическую размерность благодаря субъективному пространственному опыту, чувствительному к временной данности пространственных образов в сознании горожанина, значению конкретной части пространства на его ментальной карте города, а также релевантности специфически локальных характеристик городской среды.

Литература:

- Аванесов С. С.** Городское пространство как антропологический феномен // PRAXEMA. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 2 (16). С. 10–31.
- Бахманн-Медик Д.** Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре ; пер. с нем. С. Ташкенова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 504 с.
- Гарнага А. Ф.** Направления современных исследований города и городских пространств // Социология. 2020. № 1. С. 102–107.
- Касаткина С. С.** Городская повседневность как направление социально-философских исследований // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2011. Т. 17. № 3. С. 89–92.
- Касаткина С. С.** Темпоральность как философский параметр концепта системы города // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2017. Т. 27. № 3. С. 278–281.
- Кузнецов А. Г.** Визуальная экология транспортных медиаций // Визуальная экология: формирование дисциплины: коллективная монография ; под ред. В. В. Савчука. СПб.: Издательство РХГА, 2016. С. 171–196.
- Оже М.** Не-места. Введение в антропологию гипермодерна ; пер. с фр. А. Ю. Коннова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 55 с.
- Пирогов С. В.** Топология городской жизни // Вестник Томского гос. ун-та. 2010. № 333. С. 44–46.
- Пирогов С. В., Петухов А. С.** Феноменолого-когнитивная концепция города и её теоретические экстраполяции // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6. № 3. С. 120–130.
- Потанина Н. Л., Гололобов М. А.** Городской текст как теоретическая проблема // Филологическая регионалистика. 2012. № 1 (7). С. 32–37.
- Самутина Н. В.** Пружинки Гамбурга: граффити-райтер Oz и невидимое сообщество видящих // Микроурбанизм. Город в деталях: сб. статей; под отв. ред. О. Бредниковой, О. Запорожец. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 316–345.
- Сапогова Е. Е.** Экзистенциально-психологические аспекты переживания «ностальгии без памяти» // Проблемы современного образования. 2019. № 2. С. 28–45.
- Сертакова Е. А.** Социокультурное пространство современного российского города (на материале анализа г. Красноярск). Дисс. ... канд. филос. н. Красноярск, 2014. 172 с.
- Федотова Н. Г.** Urban imaginaty: визуальные маркеры городского воображаемого // PRAXEMA. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 1 (23). С. 121–139.
- Фень Е. Г.** Основные категории феноменологической философии пространства в современных исследованиях города. Дисс. ... канд. филос. н. Москва, 2012. 142 с.
- Шишова Е. С.** Атмосфера городских пространств: от метафоры к языку описания // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. № 21 (4). С. 85–103.
- Jaffe R., de Koning A.** Introducing Urban Anthropology. London; New York: Routledge, 2016. 196 p.
- Low S. M.** Spatialities // A Companion to Urban Anthropology ; ed. by D. M. Nonini. Oxford: Wiley-Blackwell Publ., 2014. P. 15–28.
- Prato G. B., Pardo I.** Urban Anthropology // Urbanities. 2013. Vol. 3. № 2. P. 80–110.

Пискунова Александра Евгеньевна, магистр антропологии,
специалист отдела профессиональной ориентации.

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».

Ул. Циолковского, д. 23, г. Новокузнецк, Кемеровская область, 654041.

E-mail: alexpiskunova@mail.ru

Материал поступил в редакцию 20 февраля 2022 г.

A. E. Piskunova

URBAN SPACE AS A CONSTRUCT OF PERCEPTION: THE ANTHROPOLOGICAL DIMENSION OF NOVOKUZNETSK

The article addresses the understanding of the problematic of “man in the city”. Semantic intentionality related to urban space is fundamental for the urban person because it amounts to a continuum of coexistence, communications, interactions, relationships, and needs. The study provides a perspective of understanding the city space as a value-semantic construction of reality formed in the process of subjective perception. The issue involves analytical work within the framework of an anthropological approach in understanding of urban life. The interpretation of the variety of contents of citizens’ spatial experiences as situational and semantic is carried out in a communicative and semiotic way. It is consistent with the phenomenological and cognitive interpretation of urban space.

Throughout the article, the space of the city, experienced as an anthropological phenomenon, is understood in relation to the specifics of a particular object space and the “urban imaginary”, which is situational and city-fixed consciousness. It was revealed that in the process of urban space perception different dimensions become relevant, such as the material (the material environment created by people: transport infrastructure, parks, buildings.), the social (social interactions and communications of individuals and groups, the way in which they use parts of urban space), the symbolic (how certain signs, symbols, representation systems, specific images construct places). In general, the citizen’s spatial experience is set by a semantic dichotomy in varying degrees of “habitable” and “uninhabited” urban spaces. At one pole, there are frequently visited places inscribed in the everyday order of life. At the other, there are rarely or not visited parts of the city, whose the space texture differs from routine.

In conclusion, the findings show that the citizens have the requirement to organize the disparate sensations and experiences of the urban space and to form a holistic image of the city. It becomes the task of semantic and axiological correlation with specific places. The article has been demonstrated it by focusing on the everyday life spaces, the specificity of (social) vision in the city and subjective experiences of the urban life temporality.

Keywords: *urban space, image of the city, space perception, urban anthropology, city daily occurrence, topology.*

References:

- Avanesov S. S.** Gorodskoe prostranstvo kak antropologicheskij fenomen [Urban space as anthropological phenomenon]. PRAXEMA. Problemy vizual'noj semiotiki [PRAXEMA. Journal of Visual Semiotics]. 2018. № 2 (16). P. 10–31. (in Russian)
- Bahmann-Medik D.** Kul'turnye povoroty. Novye orientiry v naukah o kul'ture ; per. s nem. S. Tashkenova [Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture]. Moscow: NLR, 2017. 504 p. (in Russian)
- Fedotova N. G.** Urban imaginary: vizual'nye markery gorodskogo vobrazhaemogo [Visual markers of the urban imaginary]. PRAXEMA. Problemy vizual'noj semiotiki [PRAXEMA. Journal of Visual Semiotics]. 2020. № 1 (23). P. 121–139. (in Russian)
- Fen' E. G.** Osnovnye kategorii fenomenologicheskoy filosofii prostranstva v sovremennyh issledovaniyah goroda. Diss. kand. filos. n. [The main categories of the phenomenological philosophy of space in modern urban studies. Ph. D. (Philosophy) diss.]. Moscow, 2012. 142 p. (in Russian)

- Garnaga A. F.** Napravleniya sovremennyh issledovaniy goroda i gorodskih prostranstv [Directions of modern research of the city and urban spaces]. *Sociologiya* [Sociology]. 2020. № 1. P. 102–107. (in Russian)
- Jaffe R., de Koning A.** *Introducing Urban Anthropology*. London; New York: Routledge, 2016. 196 p.
- Kasatkina S. S.** Gorodskaya povsednevnost' kak napravlenie social'no-filosofskikh issledovaniy [City daily occurrence as social philosophy investigation field]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova* [The Bulletin of Kostroma State University]. 2011. T. 17. № 3. P. 89–92. (in Russian)
- Kasatkina S. S.** Temporal'nost' kak filosofskij parametr koncepta sistemy goroda [Temporality as a philosophical parameter of the concept of the city as a system]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Filosofiya. Psihologiya. Pedagogika* [The Bulletin of Udmurt University. Series Philosophy. Psychology. Pedagogy]. 2017. T. 27. № 3. P. 278–281. (in Russian)
- Kuznecov A. G.** Vizual'naya ekologiya transportnyh mediacij [Visual ecology of transport mediation]. In Savchuk V. V. (ed.) *Vizual'naya ekologiya: formirovanie discipliny: kollektivnaya monografiya* [Visual ecology: the formation of a discipline]. Saint-Petersburg: Publ. RHGA, 2016. P. 171–196. (in Russian)
- Low S. M.** Spatialities. In Nonini D. M. (ed.) *A Companion to Urban Anthropology*. Oxford: Wiley-Blackwell Publ., 2014. P. 15–28.
- Ozhe M.** Ne-mesta. Vvedenie v antropologiyu gipermoderna [Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity]; per. s fr. A. Yu. Konnova. Moscow: NLR, 2017. 55 p. (in Russian)
- Pirogov S. V.** Topologiya gorodskoj zhizni [Topology of city life]. *Vestnik Tomskogo gos. un-ta*. [The Bulletin of Tomsk State University]. 2010. № 333. P. 44–46. (in Russian)
- Pirogov S. V., Petukhov A. S.** Fenomenologo-kognitivnaya kontseptsiya goroda i ee teoreticheskie ekstrapolyatsii [Phenomenological-cognitive concept of the city and its theoretical extrapolations]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being]. 2017. T. 6. № 3. P. 120–130. (in Russian)
- Potanina N. L., Gololobov M. A.** Gorodskoj tekst kak teoreticheskaya problema [Urban text as a theoretical problem]. *Filologicheskaya regionalistika* [Philological regionalism]. 2012. № 1 (7). P. 32–37. (in Russian)
- Prato G. B., Pardo I.** *Urban Anthropology. Urbanities*. 2013. Vol. 3. № 2. P. 80–110.
- Samutina N. V.** Pruzhinki Gamburga: graffiti-rajter Oz i nevidimoe soobshchestvo vidyashchih [Springs of Hamburg: Graffiti writer Oz and the invisible community of seers]. In Brednikova O., Zaporozhec O. (ed.) *Mikrourbanizm. Gorod v detalyah: sb. statej* [Micro-urbanism. The city in detail]. Moscow: NLR, 2014. P. 316–345. (in Russian)
- Sapogova E. E.** Ekzistencial'no-psihologicheskie aspekty perezhivaniya «nostal'gii bez pamyati» [Existential-psychological aspects of «nostalgia without memory» experience]. *Problemy sovremennogo obrazovaniya* [Problems of modern education]. 2019. № 2. P. 28–45. (in Russian)
- Sertakova E. A.** Sociokul'turnoe prostranstvo sovremennogo rossijskogo goroda (na materiale analiza g. Krasnoyarska). Diss. kand. filos. n. [Socio-cultural space of a modern Russian city (based on the analysis of Krasnoyarsk). Ph. D. (Philosophy) diss.]. Krasnoyarsk, 2014. 172 p. (in Russian)
- Shishova E. S.** Atmosfera gorodskih prostranstv: ot metafory k yazyku opisaniya [The Atmosphere of Urban Spaces: from Metaphor to Description Language]. *Zhurnal sociologii i social'noj antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. 2018. № 21 (4). P. 85–103. (in Russian)

Piskunova Aleksandra Evgenievna, master of anthropology,
specialist of the professional orientation department.

Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of the Kemerovo State University.

23 Tsiolkovsky st., Novokuznetsk, Russia, 654041.

E-mail: alexpiskunova@mail.ru

И. В. Пчеловодова, Н. В. Анисимов, Е. А. Софронова

ПЕСЕННАЯ ТРАДИЦИЯ СИБИРСКИХ УДМУРТОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ЗАПИСЕЙ 1974, 2001, 2003, 2006 ГГ.)¹

В статье рассматривается локальная музыкально-песенная традиция удмуртов Чаинского района Томской области, относящихся к сибирской группе удмуртов. Преобладающее большинство переселенцев в эти места составили выходцы из Шарканского района Удмуртской Республики. Оказавшись в Сибири в начале XX столетия, удмурты долгое время сохраняли свою самобытность в иноэтничном окружении. Но к началу XXI века их песенная традиция начала угасать под влиянием различных факторов. Цель статьи — анализ разножанровых песен переселенческой традиции удмуртов Томской области в их исторической динамике на материале экспедиций 1974, 2001, 2003 и 2006 гг. Методология продиктована поставленной задачей. В работе над материалом применяется филологический подход, который включает в себя сюжетно-тематический анализ поэтического текста. Для выявления общей картины песенной жанровой системы сибирских удмуртов были привлечены аналогичные жанры коренной традиции.

Наибольшее количество зафиксированных песен обнаруживает самая ранняя экспедиция — это 7 обрядовых (свадебные, рекрутские) и 17 необрядовых песен (лирические и одна шуточная на русском языке). В то время как другими экспедициями записано по одному образцу свадебного напева (2001 и 2006 гг.) и гостевой застольной песни позднего формирования (2001, 2003, 2006 гг.), не зафиксированной в записях первой экспедиции. Последние поездки также обнаруживают меньшее количество песен необрядового пласта (3 песни в 2003 г. и 5 — в 2006 г.), но при этом они полностью совпадают с репертуаром ранней экспедиции. Большое число лирических песен, записанных в первой поездке, объяснимо состоянием тоски и утраты своей родины, потерями родителей и/или детей сибирскими удмуртами, так как многие не выдержали тяжелой дороги.

Анализ поэтических текстов песен обеих традиций («чаинской» переселенческой и «шарканской» коренной) позволил обозначить основные мотивы: выявленный текст чаинского варианта *сюан гур* (свадебного напева родственников жениха) отражает более древние образы, связанные с природным, неокультурным локусом; проводные напевы *кельсь гур/сюан кырзан* в шарканских вариантах чаще исполняются с традиционным мотивом разлуки, в чаинских акцентируется мотив замужества поневоле. В текстах рекрутских напевов и лирических неприуроченных песен чаинской традиции усилена эмоциональная составляющая, что, видимо, напрямую связано с состоянием тоски сибирских удмуртов по своей малой Родине.

Ключевые слова: сибирские удмурты, Томская область, переселенцы, музыкально-песенный фольклор, коренная традиция, сравнительно-сопоставительный анализ.

Первые поселения удмуртов, малочисленной национальности из числа финно-угорских народов, в Сибири появились в конце XIX в. Но наибольший размах переселенческое движение получило в начале XX столетия (1910–1912 гг.), что связано с проведением столыпинской аграрной реформы. Вторая причина переселения на сибирские земли связана с процессом раскулачивания в период коллективизации (конец 20-х–30-е гг. XX века). На сибирской земле удмурты компактно обосновались в Томской области и Красноярском крае (Владыкин, 1976; Корепанова, 1976; Тучкова, 2001; Атаманов, 2004, 2008, 2020; Журавлева, Кузнецова, 2008; Лебедева, 2008; Пчеловодова, Софронова, Корнилов, 2019; Anisimov, Pchelovodova, Sofronova, 2020; Лебедева, 2021; Пчеловодова, Анисимов, 2021). Основную массу прибыв-

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10113 «Фольклор автохтонных и переселенческих традиций народов Поволжья в современных записях и исторической динамике: интерактивный атлас звучащих текстов», рук. Шахов П. С.).

ших в Красноярский край составили переселенцы из северных районов Удмуртской Республики (далее УР) — Шарканского, Игринского, Красногорского, Юкаменского и Глазовского районов. Позже, в 30-е и 60-е годы прошлого столетия, в эти места переселились выходцы из южных районов Удмуртии — это Алнашский, Граховский и Кизнерский районы УР. В отличие от красноярских удмуртов преобладающим большинством переселенцев в Томскую область являются выходцы из современного Шарканского района УР. Лишь одна деревня (Тига IV, удмуртское название Уйвай — на сегодняшний день исчезла) была создана переселенцами из д. Уйвай и окружающих ее деревень современного Дебесского района УР. В 30-х гг. XX в. в Чаинский район Томской области переселяется небольшая группа закамских удмуртов из Куединского района Пермского края. Из-за своей немногочисленности закамские удмурты адаптировались к шарканской традиции и стали ее органичной частью.

Актуальность изучения переселенческих традиций народов Сибири доказывают многочисленные статьи (напр., Леонова, 2017; Дайнеко, 2017; Шахов, 2017; Исмагилова, 2018; Шахов, 2020). Цель настоящей статьи — изучение и описание переселенческой фольклорной (музыкально-песенной) традиции удмуртов Чаинского района Томской области, относящихся к сибирской группе удмуртов. Подобное исследование проводится впервые, в чем и заключается его новизна. Фокус исследования данной традиции определяется наиболее представительной базой экспедиционных материалов. Основная звуковая коллекция песенной традиции удмуртов Томской области хранится в Научном архиве Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН (далее УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН) — это записи фольклорно-этнографических экспедиций 1974, 2006 гг. В ходе работы над данной проблематикой были обнаружены новые источники хранения песенного материала — это фонд доктора исторических наук Натальи Анатольевны Тучковой, хранящийся в Томском областном краеведческом музее им. Михаила Бонифатьевича Шатилова (г. Томск) и видеозапись, сделанная Томским телевидением канала «ТВ-2» в 2003 г. (режиссер Андрей Филимонов). Методология основывается на сравнительно-сопоставительном анализе поэтического текста.

По имеющимся данным на территории Томской области удмурты компактно (удмуртскими поселениями) проживают в Чаинском районе, однако дисперсно распределены и по другим районам области. По данным переписи населения их численность постепенно сокращается, о чем свидетельствует таблица 1, приведенная в статье Д. Ф. Мымриной и О. А. Шитц (Мымрина, Шитц, 2019: 46):

Таблица 1

Динамика численности удмуртов Томской области в 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.

Год	Всего населения, чел.	Из них удмуртов	Удельный вес, %
1970	785706	1825	0,23
1979	865934	1901	0,22
1989	1001613	1944	0,19
2002	1046039	1485	0,14
2010	1047394	1081	0,10

Помимо неуклонного сокращения численности удмуртов на территории Томской области, Д. Ф. Мымрина и О. А. Шитц отмечают критическую ситуацию с владением родным удмуртским языком, что, по их словам, является своеобразным показателем современного состояния языка и культуры (там же) (таблица 2):

Таблица 2

Динамика владения родным и русским языком в 1979, 2010 гг.

Год	Численность лиц соответствующей национальности	Владеют родным языком	Владеют русским языком
1979	1901	903	996
2010	1081	288	790

На сегодняшний день активной миграции не наблюдается, численность удмуртов постепенно сокращается, идет процесс обрусения.

Поездки к сибирским удмуртам Томской области

Поездки к удмуртам Томской области с целью фиксации образцов музыкального фольклора совершались не так часто. Поэтому материалы каждого посещения имеют особую ценность для исследования заявленной темы. По известным нам данным, наиболее ранние записи музыкальной традиции сибирских удмуртов относятся к 1974 г. Они были собраны во время совместной экспедиции преподавателей и студентов Удмуртского государственного университета и сотрудников Удмуртского научно-исследовательского института (ныне УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН). Возглавлял экспедицию тогда еще доцент, кандидат исторических наук, а ныне профессор, доктор исторических наук В. Е. Владыкин. Надо отдать должное смелости участников этой экспедиции — они прокладывали маршрут, не зная точного местонахождения удмуртских поселений.

Коллекция звукозаписей 1974 г. состоит из трех катушечных кассет (МЛ 32–34). На сегодняшний день они переведены в цифровой формат в рамках международного проекта совместно с Британской библиотекой в 2012–2013 гг., где и хранятся оцифрованные копии². По результатам этой экспедиции было опубликовано несколько работ (Владыкин, 1976; Корепанова, 1976; Атаманов, 1982, 2004, 2008, 2020). Большую ценность представляют фото, сделанные участниками экспедиции, и тексты песен.

В Томской области записи сделаны от удмуртов, проживающих в трех деревнях Чаинского района, которые, помимо официальных названий, имеют удмуртские наименования:

Официальное название	Удмуртское название
Тига I	<i>Чибыш</i> (родовое имя первого поселенца)
Тига II	<i>Шор Тига</i> (букв.: средняя Тига)
Тига III	<i>Бильыб</i> (наименование материнской деревни, откуда прибыли переселенцы)

Следующие записи удмуртов в Чаинском районе Томской области были сделаны в 2001 г., на тот момент старшим научным сотрудником Томского областного краеведческого музея, кандидатом исторических наук, а ныне доктором исторических наук, Н. А. Тучковой. К сожалению, звуковые материалы нам недоступны, но, по словам Н. А. Тучковой, на двух аудиокассетах были зафиксированы беседы с жителями деревень и 7–8 разножанровых песен. Материалы полевых записей исследовательницы послужили основой для написания историко-этнографической статьи «Тигинские удмурты» (Тучкова 2001). Как раскрывает сам

² С копиями аудиозаписей Научного архива УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН можно ознакомиться на сайте Британской библиотеки <https://sounds.bl.uk/World-and-traditional-music/Vanishing-voices-from-the-Uralic-world>.

автор, такое обозначение удмуртов дано по названию реки Тиги, вдоль которой расположились удмуртские поселения.

В 2003 г. в эти же места приезжает съемочная группа томского телеканала «ТВ-2»³. Видеоматериалы дают возможность увидеть обстановку, интерьер избы, родные и милые лица удмуртских жителей, а самое главное — визуальную картину манеры исполнения и их поведение в процессе пения.

Последняя поездка к «чаинским» удмуртам состоялась в 2006 г. и была связана с проведением 100-летнего юбилея со дня образования деревни Тига III (Бильбы)⁴. Эта поездка оставила теплые воспоминания о встречах с местными удмуртами (фото 1). Несмотря на то, что многие из них уже родились и выросли в Сибири, принимали удмуртскую делегацию «из России» как своих родственников.



Фото 1. Д. III Тига (Бильбы); празднование 100-летнего юбилея деревни.

Сидят слева направо: Стрелкова Татьяна Павловна, 1924 г.р., Перевозчикова Василиса Петровна, 1929 г.р., Перевозчикова Евгения Александровна, 1930 г.р. Фото Пчеловодовой И. В. 17.06.2006 г.

Система песенных жанров

На основе полевых материалов и письменных источников нами предпринята попытка выделить основные песенные жанры, зафиксированные в диаспорной традиции удмуртов Чаинского района Томской области в разные годы (таблицы 3 и 4):

³ На видеокассете представлены рабочие материалы к документальному фильму об удмуртах, проживающих в двух деревнях Чаинского района Томской области. Режиссер фильма А. Филимонов, автор идеи и научный консультант — Н. А. Тучкова. В настоящее время оригинальные материалы видеозаписи хранятся в личном архиве Н. А. Тучковой, а ее копия — в Научном архиве УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Также с песенным материалом сибирских удмуртов можно познакомиться на странице кафедры археологии и этнологии ТГПУ: <https://www.youtube.com/channel/UC7X21FFBP0HwFTN1iFuUSHQ>.

⁴ В составе делегации из Удмуртии находилась сотрудница Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН И. В. Пчеловодова. На тот момент сохранились лишь две деревни — Тига I (Чибыш) и Тига III (Бильбы). В связи с оптимизацией жителей д. Тига II (Шор Тига) в конце прошлого столетия переселили в соседние деревни. Аудиозаписи хранятся в Научном архиве УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН под № МК 198 (1–3).

Таблица 3

Обрядовые жанры	1974 год	2001 год	2003 год	2006 год
Свадебные: — рода жениха — рода невесты	— Сюан гур (2) — Сюанысь кошкон гур — Сюан кырзан (2)	Сюан кырзан		Сюан кырзан
Рекрутские	— Солдат келян гур — Некрут келян кырзан			
Гостевые застольные		Застольная «Юом, юом та винаез...» («Выпьем, выпьем это вино...»)	Застольная «Ю(в)ом, ю(в)ом та винаез...» («Выпьем, выпьем это вино...»)	Застольная «Юом, юом та винаез...» («Выпьем, выпьем это вино...»)

Таблица 4

Необрядовые жанры	1974 год	2001 год	2003 год	2006 год
Лирические	— «Вож бадяр кадь...» («Словно зеленый клен...») (4) — «Учыед чирдоз, шушыед бёрдоз...» («Соловей запоеет, снегирь заплачет...») — «Озы шуся мон кошки...» («Так сказав, я уехал...») — «Куке но мон вал, дыр...» («Когда-то и я был/а, наверное...») — «Вож-вож гынэ но жужалоз...» («Зеленым да взойдет...») — «Юг-юг гынэ жужалоз...» («Белым-бело только расцветет...») — «Милям буби(й)ос...» («Наши отцы...»)	— «Вож бадяр кадь...» («Словно зеленый клен...»)	— «Вож бадяр кадь...» («Словно зеленый клен...») — «Учыед чирдоз, шушыед бёрдоз...» («Соловей запоеет, снегирь заплачет...») — «“Зеч лу” шуид но тон кошкид...» («“До свидания” сказав, ты уехал...»)	— «Вож бадяр кадь...» («Словно зеленый клен...») (2) — «Учыед чирдоз, шушыед бёрдоз...» («Соловей запоеет, снегирь заплачет...») — «“Ой, зеч улэ” шуся, мон кошки...» («“Ой, хорошо живите” сказав, я уехала...») — «Туж ик пичи мон ик вал...» («Очень малым [ребенком] я был/а...»)

Необрядовые жанры	1974 год	2001 год	2003 год	2006 год
	— «Тёды чёжпи...» («Белый утенок...») — «Зарни шунды жужалоз...» («Золотое солнце взойдет...») — «Шунды жужа, шунды пуксе...» («Солнце встает, солнце садится...») — «Дядяелэсь мёзмисько...» («По отцу скучаю...») — «Косяк но(й) шорьёсад...» («Посреди да окна...») — «Ой, марлы-о, марлы...» («Ой, почему же, почему...»)			
Частушки	«Моя милочка- крутилочка...»		«Кырзан быриз...» («Песня закончилась...»)	«Кырзан быриз...» («Песня закончилась...»)

Как видно из таблиц, участниками экспедиции 1974 г. зафиксировано наибольшее количество песен (в целом 24), среди которых 7 обрядовых (свадебные, рекрутские) и 17 необрядовых песен (лирические и одна шуточная на русском языке). В то время как другими экспедициями записано по одному образцу свадебного напева (2001 и 2006 гг.) и гостевой застольной песни позднего формирования (2001, 2003, 2006 гг.). Последняя не обнаружена в записях первой экспедиции. Песен необрядового пласта в количественном отношении также записано меньше (3 песни в 2003 г. и 5 — в 2006 г.), но при этом они полностью совпадают с репертуаром ранней экспедиции.

Возможно, небольшое количество зафиксированного песенного материала в последних трех поездках можно объяснить тем, что на удмуртском языке разговаривали лишь пожилые жители (см. таблицы 1 и 2). Исчезновению песенной традиции также способствовали угасание удмуртских обрядов и праздников, смешанные браки: «<...> с увеличением контактов с местным населением, преимущественно русскоязычным, и увеличением количества заключаемых браков между русскими и удмуртами, стало наблюдаться уменьшение количества владеющих либо активно использующих удмуртский язык в повседневной речи» (Мымрина, Шитц, 2019: 45).

Далее для подробного анализа обратимся к обрядовым песням, так как именно они наиболее устойчивы к внешним влияниям, в отличие от необрядового пласта песен. Для создания полноты картины привлечем аналогичный песенный материал коренной традиции.

Для удобства изложения условно обозначим рассматриваемые традиции следующими терминами: «чаинская» (т. е. сибирская переселенческая) и «шарканская» (т. е. удмуртская коренная).

В обозначении напевов чаинскими удмуртами выделяется два термина — *гур* и *кырзан*. Первый — *гур* — характерен для дефиниции обрядовых песенных жанров в значении «напев, мелодия». Термин *кырзан* происходит от глагола *кырзаны* «петь» и указывает, как правило, на принадлежность к необрядовому пласту музыкального фольклора — это песни традиционной лирики, поздние по происхождению, авторские и заимствованные песни. Однако этот термин в обеих традициях употребляется также для обозначения обрядовых песен позднего формирования.

В песенной традиции чаинских удмуртов, в отличие от шарканской, отсутствуют образцы календарных напевов. Семейно-родовые напевы, в отличие от календарных, имеют лучшую сохранность — это свадебные, рекрутские, гостевые напевы/песни. Если свадебные и рекрутские напевы в чаинской традиции имеют несколько видов, то песни гостевого этикета представлены одним образцом — это застольная песня «*Юом, юом та винаез...*» («Выпьем, выпьем это вино...»). По музыкальным особенностям она относится к позднему пласту и не является характерной для данной традиции. Поэтому обратимся к свадебным и рекрутским песням.

Свадебные напевы

Свадебные напевы делятся на два вида: *сюан гур* — свадебный напев, исполняемый родственниками жениха в доме невесты, и *сюан кырзан* — свадебная песня, исполняемая родственниками невесты при провах невесты из родительского дома.

Первый — *сюан гур* — зафиксирован лишь в 1974 г. в трех образцах и представляет собой варианты одного типового напева шарканской традиции. Содержание поэтического текста описывает путь поезжан к дому невесты. Наиболее архаичными являются мотивы, связанные с описанием необычного пути поезжан через природные локусы с встречающимися дикими животными и птицами. Данный мотив раскрывает древнюю мифологическую сущность участников свадебного поезда как представителей иного мира (Владыкина, 1997: 114):

*Мынім ик, мынім ик, шур дуртїз ик,
яр дуртїз,
Докъяз ик «кот-кот» карылїз.*

Приехали ведь, приехали ведь вдоль
реки, вдоль обрыва,
[Где] Аж глухарь затоковал.

*Мынім ик, мынім ик бадь ултїз ик,
бадь ултїз,
Сялаез ик «чик-чик» карылїз.*

Приехали ведь, приехали ведь под
ивами, под ивами,
[Где] Аж рябчик насвистывал.

*Мынім ик, мынім ик сик ултїз ик,
сик ултїз,
Конъяз ик «тюр-тюр» карылїз.*

Приехали ведь, приехали ведь через
леса, через леса,
[Где] Аж белка защебетала⁵.

Сюан гур — свадебный напев родственников жениха
д. Тига III (Бильяб) Чаинского района Томской области.
НА УИИЯЛ, МЛ 34-2, 1974 г.

⁵ Переводы на русский язык сделаны авторами статьи.

Другая часть текстов свадебных напевов *сюан* повествует о прибытии свадебного поезда к дому невесты. Эти мотивы оказываются наиболее устойчивыми для передачи сложившейся в традиции оппозиции «свой — чужой». В удмуртской традиционной культуре дом и очаг считались «концентрированным выражением очеловеченного пространства, обладавшего наибольшей сакральной значимостью...» (Владыкин, 1994: 218). Все, что находилось за пределами дома, то есть «своего», «родного» пространства, воспринималось «чужим», «враждебным» по отношению к человеку. Не случайно, в текстах свадебных песен внимание акцентируется на описании пересечения границы входа в дом — ворот и дверей — представителями иного мира, которыми в рамках свадебного обряда являются поезжане со стороны жениха. На инаковость прибывших указывает также необычный способ открывания дверей медной дубиной, что подчеркивает их разрушительную, трансформирующую функцию:

*Ысватмылэн жесь дораз ук вуим но,
ыргон зырын бералтыса пыримы.
Корказ ук(ы) пырим но, куинь котыр
ик котыркким.*

К воротам свата приехали да, медной
дубиной отворив, мы вошли.
В дом зашли да, три раза по кругу
прошли.

Сюан гур — свадебный напев родственников жениха
Тига I (Чибыш) Чаинского района Томской области.
НА УИИЯЛ, МЛ 33-2, 1974 г.

Перед отъездом из дома невесты поезжане на эту же мелодию исполняют текст, в котором звучит мотив расставания с родным пространством. Перечисляются образы родного окружения — родители, друзья, упоминается работа, которую девушка выполняла в родительском доме:

*Льоль-льоль ук(ы) жсужсалоз бакча
шорад мак сяська.
Соку тодад лыктоз мамиедлэсь
вордэмзэ.*

Алым-алым [цветом] взойдет посреди
огорода мак.
Тогда вспомнишь, как матушка
взрастила.

*Юг-юг ук(ы) жсужсалоз бакча шорам
мак сяська.
Соку тодад лыктоз ук тятиедлэсь
вордэмзэ.*

Белым-белым [цветом] взойдет
посреди огорода мак.
Тогда вспомнишь, как батюшка
взрастил.

*Їуж-їуж ук(ы) жсужсалоз воэ вылад
ук итамас.
Соку тодад лыктоз урчче шудэм
эшїестэ.*

Желтым-желтым [цветом] взойдет
на лугах купава.
Тогда вспомнишь друзей, с которыми
вместе играла.

Сюанїеслэн кошкон гурзы — прощальный свадебный напев поезжан
д. Тига I Чаинского района Томской области.
НА УИИЯЛ, МЛ 33-2, 1974 г.

Второй вид свадебного напева шарканскими удмуртами обозначается как *келись гур* (проводной напев), чаинскими — *сюан кырзан* (свадебная песня). Отличие проявляется не только на терминологическом уровне, но и в поэтических текстах: в шарканских вариантах звучит традиционный мотив разлуки с родным домом, родителями:

Кылёд ук, кылёд ук тон, ание,

Ми гуртамы бертомы.

Гуртамы бертіім ке, әжөк

сьбрамы пуксьмы,

Одйг тон гинэ уд нй лу.

Огмы шоры огмы учком но,

Одйг тон гинэ уд нй лу.

Їукажяз їукна сул(ы)тыса,

Азбаре но потылөд.

Азбарөд но потылйөд ке,

Аслад азбарөд уз нй лу.

Азбаре но потылйөд ке,

Аслад азбарөд уз нй лу.

Останешься ведь, останешься

ведь ты, сестра,

Мы домой вернемся.

Домой вернемся, за стол сядем,

Тебя только с нами не будет.

Друг на друга посмотрим да,

Тебя только с нами не будет.

Завтра утром проснешься,

Во двор выйдешь.

Во двор выйдешь,

Но своего двора ты не увидишь.

Во двор выйдешь,

Но своего двора ты не увидишь.

Келись гур — проводной напев родственников невесты

с. Шаркан Шарканского района УР.

НА УИИЯЛ, МК 145-1, 1995 г.

В тексте свадебной проводной песни чаинской традиции на первое место выходит мотив замужества удмуртской девушки против ее воли, не зафиксированный в коренном музыкальном фольклоре. Образы данного текста (*удмурт ныл* — удмуртская девушка, *уїы* — соловей, *егит даур* — молодость), прием психологического параллелизма, построенного на описании внутреннего состояния девушки в противовес гармонии природного мира, ее прямое обращение к матери указывают на принадлежность жанру необрядовой лирики. Возможно, именно эти черты способствовали сохранности данного вида свадебных песен в чаинской традиции, так как он зафиксирован в трех экспедиционных поездках (2 образца в 1974 г., по одному в 2001 и 2006 гг.). Необходимо заметить, что последовательность текста во всех вариантах остается стабильной:

Огназ пуке малпаськыса,

Укно улын удмурт ныл.

Уїы чебер кыржаса улэ

Вадьсаз кыїпу йылын.

Уїы чебер кыржаса улэ

Ватьсаз кыїпу йылын.

Одна сидит, задумавшись,

Под окном удмуртская девушка.

Соловей красиво поет

Рядом, на верхушке березы.

Соловей красиво поет

Рядом, на верхушке березы.

Уїы туж чебер кыржа,

Куараез кыдөке шуккиське.

Удмурт ныллэн сюлэм бөрдэ,

Бам йыльёсаз синву адске.

Удмурт ныллэн сюлэм бөрдэ,

Бам йыльёсаз синву адске.

Соловей очень красиво поет,

Голос далеко раздается.

Сердце удмуртки плачет,

По щеке слеза бежит.

Сердце удмуртки плачет,

По щеке слеза бежит.

Сое туннэ кузпаллы сөто,

Чик аслэсьтыз юатэк.

Егит даурзэ быдто,

Чик шул(ы)дырен(ы) улытэк.

Егит даурзэ быдто,

Чик шул(ы)дырен улытэк.

Ее сегодня выдают замуж

Помимо воли.

Губят ее молодость,

В жизни радости не увидев.

Губят ее молодость,

В жизни радости не увидев.

*Вордэм мусо мемие,
Яратоно муртлы сёты вал.*

*Сокем сюлмы (х)öй бёрдысал,
(Х)Öй потысал синвуосы.
Сокем сюлмы (х)öй бёрдысал,
(Х)Öй потысал синвуосы.*

Родная милая матушка,
Отдала бы ты [меня] за любимого
человека.
Тогда сердце бы так не плакало,
Не проливались бы мои слезы.
Тогда сердце бы так не плакало,
Не проливались бы мои слезы.

Сюан кырзан — свадебная песня
д. Тига II Чаинского района Томской области.
НА УИИЯЛ, МЛ 34, 1974 г.

Рекрутские напевы

Два разных образца этого вида (*солдат келян гур* — напев проводов в солдаты и *некрут келян кырзан* — песня проводов рекрута) зафиксированы экспедицией 1974 г. Из них только второй относится к коренной традиции, так как первый записан от уроженки Дебесского района УР и отличается от рекрутских напевов шарканской традиции.

Сюжетная линия отражает характерную для рекрутских песен тематику — это вынужденная необходимость смены привычной хозяйственной деятельности в пределах родного пространства на незнакомую военно-походную в чужом краю. Помимо этого в чаинском варианте усилена эмоциональная составляющая поэтического текста, выражающая тяжелое душевное состояние человека — состояние тоски по своей малой Родине сибирских удмуртов, переживших тяжелый переезд в Сибирь:

*Э, тйнь та сюрес, мар сюрес та кузя,
Некытын но пумыз öвöл.*

Э, та куректон, мар куректон таёе,

Неку но пумыз но öвöл.

Э, та куректон, мар куректон таёе,

Неку но пумыз но öвöл.

Эх, эта дорога, что за длинная дорога,
Нигде конца ее не видно.

Эх, это страдание, что за страдание
такое,

Никогда конца ему не будет.

Эх, это страдание, что за страдание
такое,

Никогда конца ему не будет.

Некрут келян — песня проводов рекрута
д. Тига I Чаинского района Томской области.
НА УИИЯЛ, МЛ 33-2, 1974 г.

Неприуроченные песни

Привязанность удмурта к своему дому, деревне вызывает особенно сильное чувство тоски. Поэтому в окружении сибирских лесов удмуртские лирические песни получили особенное звучание, наполненное тоской по своей прежней Родине. Кроме того, во время переезда не все выдерживали тяжелой дороги, очень многие лишились своих родителей или детей, которые умерли от тифа. Одним из основных мотивов выражения этого состояния в текстах песен является мотив сиротства и мотив разлуки/расставания с семьей, со своим деревенским сообществом, с родным пространством. Этот факт объясняет большое число лирических песен, зафиксированных первой экспедицией 1974 г. в репертуаре сибирских удмуртов. Однако эти же мотивы встречаются в поэтических текстах лирических песен, записанных и в другие годы:

Учыед чирдоз, шушыед бёрдоз,
Тэлын кикиед чильылоз.
Тэлын кикиед чильылоз.

Бусые потій ветлыны шуса,
Тюрагай куараез кылзыны.
Тюрагай куараез кылзыны.

Тюрагай чирдэ эшез понна,
Ми кырзаськомы кёт жожез.
Ми кырзаськомы кёт жожез.
Милям кётмы марлы-ко бёрдэ?
Мумымы-бубымы өвёл понна.
Мумымы-бубымы өвёл понна.

Соловей запоеет, снегирь заплачет,
В лесу кукушка закукует.
В лесу кукушка закукует.

Вышла в поле прогуляться,
Послушать щебетание жаворонка.
Послушать щебетание жаворонка.

Жаворонок поет ради подруги,
Мы поем от печали.
Мы поем от печали.
Почему мы печалимся?
От того, что нет у нас матери-отца.
От того, что нет у нас матери-отца.

д. Тига III (Бильяб) Чаинского района Томской области.
НА УИИЯЛ, МК 198-2(2), 2006 г.

Заключение

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что экспедиционные записи, сделанные в разные промежутки времени, свидетельствуют об угасании песенной традиции сибирских удмуртов. Наибольшее количество песен (как обрядовых, так и необрядовых) зафиксировано в самой ранней поездке — в 1974 г. Сравнительно-сопоставительный анализ поэтических текстов обрядовых напевов в обеих традициях (коренной и переселенческой) показал некоторые отличия в их содержании. Так, в тексте чаинского варианта *сюан гур* — свадебного напева родственников жениха — отражаются более древние образы, связанные с природным, неокультурным локусом. В проводных напевах *кельсь гур/сюан кырзан* акценты также смещаются: в шарканских вариантах отражается традиционный мотив разлуки с родным пространством, домом, родителями, в чаинском — акцентируется мотив замужества поневоле. В рекрутских напевах чаинской традиции усилена эмоциональная составляющая, что, видимо, напрямую связано с состоянием тоски сибирских удмуртов по своей малой Родине. Это же состояние выражается и в текстах лирических песен через мотивы разлуки/расставания и сиротства.

По нашим предварительным выводам, своеобразие «сибирского» музыкального фольклора чаинских удмуртов может быть связано с отдаленностью от коренной традиции, что в свою очередь способствует, с одной стороны, отсутствию рамок, с другой, наполняет более эмоциональным восприятием.

Литература:

- Атаманов 1982 — **Атаманов М. Г.** Образцы речи сибирских удмуртов // Образцы речи удмуртского языка. Ижевск, 1982. С. 131–153.
Атаманов 2004 — **Атаманов М. Г.** Сибирская группа удмуртов // Вордскем кыл. 2004. № 10. С. 76–95.
Атаманов 2008 — **Атаманов М. Г.** Сибирская группа удмуртов // Феномен Удмуртии. Удмуртская диаспора. Т. 8. М. — Ижевск: Удмуртия, 2008. С. 186–194.
Атаманов — **Атаманов М. Г.** От Вятки и Камы до Оби и Енисея — путь неблизкий: из экспедиционных дневников ученого. Ижевск: Шелест, 2020. 800 с.
Владыкин 1976 — **Владыкин В. Е.** Сибирская группа удмуртов // Этническая история народов Урала и Поволжья: (Препр. докл. и сообщ.). Уфа, 1976. С. 28–30.
Владыкин 1994 — **Владыкин В. Е.** Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1994. 384 с.

- Владыкина 1997 — **Владыкина Т. Г.** Удмуртский фольклор: проблемы жанровой эволюции и систематики. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 356 с.
- Дайнеко 2017 — **Дайнеко Т. В.** Календарные фольклорно-этнографические традиции белорусов Кыштовского района Новосибирской области // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 39. С. 130–136.
- Журавлева, Кузнецова 2008 — **Журавлева А. Н., Кузнецова Р. А.** Сто лет расставания // Феномен Удмуртии. Удмуртская диаспора. Т. 8. М.-Ижевск: Удмуртия, 2008. С. 201–211.
- Исмагилова 2018 — **Исмагилова Е. И.** Песенная традиция чувашей Сибири в свете теории интонационной культуры этноса // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 45. С. 39–49.
- Корепанова 1976 — **Корепанова Г. А.** Развитие удмуртской пореформенной деревни в конце XIX — начале XX вв. и переселенческий вопрос (на примере сибирских удмуртов). Дисс. ... уч. ст. к. ист. н. Ижевск, 1976.
- Лебедева 2008 — **Лебедева С. Х.** По следам экспедиции к сибирским удмуртам // Феномен Удмуртии. Удмуртская диаспора. Т. 8. М. — Ижевск: Удмуртия, 2008. С. 194–200.
- Лебедева 2021 — **Лебедева С.** Полевые заметки музейного этнографа. Тарту: Эстонский национальный музей, 2021. 82 с.
- Леонова 2017 — **Леонова Н. В.** Музыкально-этнографические традиции сибирских переселенцев: из истории изучения Новосибирской консерватории // Вестник музыкальной науки. 2017. № 1 (15). С. 34–41.
- Мымрина, Шитц 2019 — **Мымрина Д. Ф., Шитц О. А.** Удмурты Чаинского района Томской области: этнокультурная и языковая ситуация в начале XXI века // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2019. № 3. С. 42–50.
- Пчеловодова, Софронова, Корнилов 2019 — **Пчеловодова И. В., Софронова Е. А., Корнилов Д. Л.** Музыкальный фольклор сибирских удмуртов в звуковых коллекциях УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН // Ежегодник финно-угорских исследований. 2019. Т. 13. № 4. С. 615–622.
- Пчеловодова, Анисимов 2021 — **Пчеловодова И. В., Анисимов Н. В.** Современные экспедиционные заметки об удмуртах Красноярского края // Ежегодник финно-угорских исследований. 2021. Т. 15. № 1. С. 45–59.
- Тучкова 2001 — **Тучкова Н. А.** Тигинские удмурты // Земля Чаинская: сборник научно-популярных очерков к 100-летию с. Подгорного. Томск: Изд-во Томского университета, 2001. С. 170–189.
- Шахов 2017 — **Шахов П. С.** Мордовский календарно-обрядовый фольклорно-этнографический комплекс сибирского бытования (весенне-летний период) // Сибирский филологический журнал. 2017. № 1. С. 261–276.
- Шахов 2020 — **Шахов П. С.** К изучению локальных фольклорных традиций народов Поволжья автохтонного и сибирского бытования (о проекте по созданию интерактивного атласа звучащих текстов) // Вестник музыкальной науки. 2020. Т.8. № 2. С. 87–101.
- Anisimov, Pchelovodova, Sofronova 2020 — **Anisimov N., Pchelovodova I., Sofronova E.** The Udmurt Singing Folklore's Migrant and Autochthonous Traditions in Their Historical Dynamics (on the Example of the Siberian Udmurt) // Journal of Ethnology and Folkloristics. 2020. Vol. 14, no. 1, pp. 85–110.

Пчеловодова Ирина Вячеславовна, кандидат филологических наук, научный сотрудник.

Удмуртский Институт истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН.

Ул. Ломоносова, д. 4, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426004.

E-mail: orimush@mail.ru

Анисимов Николай Владимирович, кандидат филологических наук.

Научный сотрудник.

Институт филологии СО РАН, сектор фольклора народов Сибири.

Ул. Николаева, д. 8, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630090.

Научный сотрудник.

Удмуртский Институт истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН.

Ул. Ломоносова, д. 4, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426004.

Научный сотрудник.

Эстонский литературный музей.

Ванемуйсе, 42, г. Тарту, Эстония, 51003.

E-mail: kyldysin@yandex.ru

Софронова Екатерина Анатольевна, младший научный сотрудник.

Институт филологии СО РАН, сектор фольклора народов Сибири.

Ул. Николаева, д. 8, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630090.

E-mail: soroka-katya90@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 20 февраля 2022 г.

I. V. Pchelovodova, N. V. Anisimov, E. A. Sofronova

**THE SONG TRADITION OF THE SIBERIAN UDMURTS IN HISTORICAL DYNAMICS
(BASED ON EXPEDITION MATERIALS OF 1974, 2001, 2003, 2006)**

The article deals with the local musical and song tradition of Udmurts of Chainsky district of Tomsk region that belong to the Siberian group of Udmurts. The overwhelming majority of Udmurts migrated therefrom Sharkansky district. They moved to Siberia at the beginning of the 20th century and preserved their identity in a non-ethnic environment for a long time. Nevertheless, by the beginning of the 21st century their song tradition began to fade under the influence of various factors. The purpose of the article is to analyze different song genres of Udmurt people from Tomsk region in their historical dynamics (expeditions of 1974, 2001, 2003, 2006).

The main audiocollection of musical tradition of the Siberian Udmurts is stored in the Scientific Archive of the Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. It was gathered during expeditions of 1974 and 2006. The author of the article discovered new material — video recording of song tradition of examined territory. It allowed using more song samples.

The methodology of the work is dictated by its task. The author uses a philological approach, which includes a plot-thematic analysis of the poetic text. Similar genres of the indigenous tradition were involved to identify the overall picture of the song genre system of the Siberian Udmurts.

The earliest expedition found the largest number of recorded songs — there were 7 ritual (wedding, recruiting) and 17 non-ritual songs (lyrical and one comic song in Russian). The other expeditions recorded one sample of a wedding tune (2001 and 2006) and a guest song of late formation (2001, 2003, and 2006) that was not recorded before. Later trips also revealed a smaller number of non-ritual songs (3 songs in 2003 and 5 songs in 2006). However, they completely coincide with the repertoire of the earliest expedition. A large number of lyrical songs recorded during the first trip can be explained by the feelings of people: state of anguish and loss of their homeland, loss of parents and/or children (many people could not endure the way to Siberia).

The analysis of the lyrics of both traditions (migrated “Chainsky” and native “Sharkan”) allowed us to identify the main motives: the text of Chainsky version of *s'uan gur* (the wedding chant of the groom's relatives) reflects older images associated with a natural, uncultured locus. Seeing off chants (*kelis' gur / s'uan kyrdzhan*) in Sharkan versions are performed with the traditional motive of separation, while in Chainsky songs the motive of involuntary marriage is emphasized. In the texts of recruiting tunes and lyrical songs of Chainsky tradition the emotional component is strengthened, that is probably directly related with the state of longing for native motherland.

Keywords: *Siberian Udmurt, Tomsk oblast, migrants, musical folklore, original tradition, comparative analysis.*

Referenses:

Anisimov N., Pchelovodova I., Sofronova E. The Udmurt Singing Folklore's Migrant and Autochthonous Traditions in Their Historical Dynamics (on the Example of the Siberian Udmurt) // *Journal of Ethnology and Folkloristics*. 2020. Vol. 14, no. 1. P. 85–110. (In English).

Atamanov M. G. Obraztsy rechi sibirskih udmurtov [Samples of speech of Siberian Udmurts] // *Obraztsy rechi udmurtskogo yazyka* [Udmurt Speech Samples]. Izhevsk, 1982. P. 131–153. (In Russian).

- Atamanov M. G.** Ot Vyatki i Kamy do Obi i Eniseya — put' neblizkiy: iz ekspeditsionnykh dnevnikov uchenogo [From Vyatka and Kama to the Ob and Yenisei — a long way: from the scientist's expedition diaries]. Izhevsk: Shelest, 2020. (In Russian).
- Atamanov M. G.** Sibirskaya gruppa udmurtov [Siberian group of Udmurts] // Vordskem kyl [Native language]. 2004. № 10. P. 76–95. (In Russian).
- Atamanov M. G.** Sibirskaya gruppa udmurtov [Siberian group of Udmurts] // Fenomen Udmurtii. Udmurtskaya diaspora [Phenomenon of Udmurtia. Udmurt diaspora]. V. 8. M. — Izhevsk: Udmurtia, 2008. P. 186–194. (In Russian).
- Dayneko T. V.** Kalendarnye fol'klorno-etnograficheskie traditsii belorusov Kyshtovskogo rayona Novosibirskoy oblasti [Calendar folklore and ethnographic traditions of the Belarusians of the Kyshtovsky district of the Novosibirsk region] // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts]. 2017. № 39. P. 130–136. (In Russian).
- Ismagilova E. I.** Pesennaya traditsiya chuvashy Sibiri v svete teorii intonatsionnoy kul'tury etnosa [The song tradition of the Chuvash people of Siberia in the light of the theory of intonation culture of the ethnos] // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts]. 2018. № 45. P. 39–49. (In Russian).
- Korepanova G. A.** Razvitiye udmurtskoy poreformennoy derevni v kontse XIX — nachale XX vv. i pereselencheskiy vopros (na primere sibirskikh udmurtov) [The development of the Udmurt post-reform village in the late XIX — early XX centuries. and the resettlement issue (on the example of the Siberian Udmurts)]. Diss. ... uch. st. k. ist. n. Izhevsk, 1976. (In Russian).
- Lebedeva S. H.** In the footsteps of the expedition to the Siberian Udmurts // Fenomen Udmurtii. Udmurtskaya diaspora [Phenomenon of Udmurtia. Udmurt diaspora]. V. 8. M.-Izhevsk: Udmurtia, 2008. P. 194–200. (In Russian).
- Lebedeva S.** Polevyie zametki muzeynogo etnografa [Field notes of museum ethnographer]. Tartu: Estonian National Museum, 2021. (In Udmurtian, Russian and Estonian).
- Leonova N. V.** Muzykal'no-etnograficheskie traditsii sibirskikh pereselentsev: iz istorii izucheniya Novosibirskoy konservatorii [Musical and Ethnographic Traditions of the Siberian Settlers: From the History of the Study of the Novosibirsk Conservatory] // Vestnik muzykal'noy nauki [Bulletin of Musical Science]. 2017. № 1 (15). P. 34–41. (In Russian).
- Mymrina D. F., Shitz O. A.** Udmurty CHainskogo rayona Tomskoy oblasti: etnokul'turnaya i yazykovaya situatsiya v nachale XXI veka [Udmurts of the Chainsky District of the Tomsk Region: Ethnocultural and Linguistic Situation at the Beginning of the 21st Century] // Tomskiy zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovaniy [Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology]. 2019. № 3. P. 42–50. (In Russian).
- Pchelovodova I. V., Anisimov N. V.** Sovremennyye ekspeditsionnyye zametki ob udmurtah Krasnoyarskogo kraya [Modern expeditionary notes about the Udmurts of the Krasnoyarsk Territory] // Ezhegodnik finno-ugorskih issledovaniy [Yearbook of Finno-Ugric Studies]. 2021. T. 15. № 1. P. 45–59. (In Russian).
- Pchelovodova I. V., Sofronova E. A., Kornilov D. L.** Muzykal'nyy fol'klor sibirskikh udmurtov v zvukovykh kollektsiyakh UIIYAL UdmiFIC UrO RAN [Musical folklore of the Siberian Udmurts in the sound collections of the UIHLL UdmFRC UB RAS] // Ezhegodnik finno-ugorskih issledovaniy [Yearbook of Finno-Ugric Studies]. 2019. T. 13. № 4. P. 615–622. (In Russian).
- Shakhov P. S.** K izucheniyu lokal'nykh fol'klornykh traditsiy narodov Povolzh'ya avtohtonnogo i sibirskogo bytovaniya (o proekte po sozdaniyu interaktivnogo atlasa zvuchashchih tekstov) [To the study of local folklore traditions of the peoples of the Volga region of autochthonous and Siberian existence (about the project to create an interactive atlas of sounding texts)] // Vestnik muzykal'noy nauki [Bulletin of Musical Science]. 2020. T. 8. № 2. P. 87–101. (In Russian).
- Shakhov P. S.** Mordovskiy kalendarno-obryadovyy fol'klorno-etnograficheskiy kompleks sibirskogo bytovaniya (vesenne-letniy period) [Mordovian calendar-ritual folklore-ethnographic complex of Siberian existence (spring-summer period)] // Sibirskiy filologicheskii zhurnal [Siberian Philological Journal]. 2017. № 1. P. 261–276. (In Russian).
- Tuchkova N. A.** Tiginskiye udmurty [Tiginsky Udmurts] // Zemlya CHainskaya: sbornik nauchno-populyarnykh ocherkov k 100-letiyu s. Podgornogo [Land of Chainskaya: a collection of popular science essays for the 100th anniversary of Podgorny village]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo universiteta, 2001. P. 170–189. (In Russian).
- Vladykin V. E.** Religiozno-mifologicheskaya kartina mira udmurtov [Religious and mythological picture of the world of the Udmurts]. Izhevsk: Udmurtiya, 1994. (In Russian).
- Vladykin V. E.** Sibirskaya gruppa udmurtov [Siberian group of Udmurts] // Etnicheskaya istoriya narodov Urala i Povolzh'ya [Ethnic history of the peoples of the Urals and the Volga region]. Ufa, 1976. P. 28–30. (In Russian).
- Vladykina T. G.** Udmurtskiy fol'klor: problemy zhanrovoy evolyutsii i sistematiki [Udmurt folklore: problems of genre evolution and systematics]. Izhevsk: UIHLL Ud RAS, 1997. (In Russian).

Zhuravleva A. N., Kuznetsova R. A. 2008. Sto let rasstavaniya [One hundred years of separation] // Fenomen Udmurtii. Udmurtskaya diaspora [Phenomenon of Udmurtia. Udmurt diaspora]. V. 8. M. — Izhevsk: Udmurtia, 2008. P. 201–211. (In Russian).

Pchelovodova Irina Vyacheslavovna, candidate of philology, research fellow.
RAS, Ural branch, Udmurt Institute of History, Language and Literature.
4 Lomonosova st., Izevsk, Russia, 426004.
E-mail: orimush@mail.ru

Anisimov Nikolai Vladimirovich, candidate of philology, PhD.
Research fellow.
RAS, Siberian branch, Institute of Philology, Department of Folklore.
8 Nikolaeva st., Novosibirsk, Russia, 630090.
Research fellow.
RAS, Ural branch, Udmurt Institute of History, Language and Literature.
4 Lomonosova st., Izevsk, Russia, 426004.
Research fellow.
Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics.
Vanemuise 42, 51003 Tartu, Estonia.
E-mail: kyldysin@yandex.ru; nikolai.anisimov@kirmus.ee

Sofronova Ekaterina Anatolyevna, junior research fellow.
RAS, Siberian branch, Institute of Philology, Department of Folklore.
8 Nikolaeva st., Novosibirsk, Russia, 630090.
E-mail: soroka-katya90@yandex

Г. В. Федюнева

АРХАИЧНЫЕ «ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ» ПЕРМСКИХ И ВОЛЖСКО-ФИНСКИХ НАРОДОВ В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВВ.¹

В фольклорных и словарных материалах конца XIX — начала XX вв. сохранились фрагменты денежного счета на коми, удмуртском, марийском и мордовском языках с использованием денежной единицы со значением 'белка'. В 50-е гг. прошлого столетия были предприняты попытки на их основе реконструировать национальные счетно-денежные системы, определить время их появления и способы пересчета русских денег на национальную валюту, однако вопрос остался открытым.

С целью выяснения происхождения и исторической сущности этих культурно-языковых артефактов в исследовании проведена дополнительная верификация имеющихся нарративов, осуществлен комплексный анализ всех денежных архаизмов коми, удмуртского и марийского языков с точки зрения их денежных значений и соответствия русским денежным единицам. Исследование проводилось в рамках сравнительно-исторического языкознания с использованием традиционных методов исторической метрологии, бонистики, нумизматики и других вспомогательных исторических дисциплин.

К основным результатам можно отнести следующее. Так называемые «беличьи» денежные термины, по-видимому, восходят к раннему периоду денежно-меновой торговли, однако в обозримой ретроспективе они обозначали конкретные монеты и не были связаны со стоимостью беличьих шкур. Фрагменты «национального» денежного счета, сохранившиеся в разных источниках, являются рефлексом конкретного периода истории русской денежной системы, а именно, денежной реформы 1839–1843 гг. По существу, они отражают пересчет русских медных копеек в старых (дореформенных) и новых (пореформенных) номиналах.

Материал и основные выводы статьи представляют интерес для дальнейших исследований в области истории денежного обращения народов России.

Ключевые слова: *российская финансовая система, денежная реформа, названия денег, коми, удмурты, марийцы, XIX в.*

Введение

Фрагменты «беличьего» денежного счета, сохранившиеся также в языках других восточноевропейских и сибирских народов России (примеры см. Беке, 1951), имеют много общего. Основной единицей в них выступают денежные термины, в современных языках омонимичные лексеме 'белка': коми *ур* 1. 'белка', 2. копейка; удм. *коньы* 1. 'белка', 2. копейка, деньги; мар. *ур* 'белка', *ыр*, *ур* 'копейка, мелкая монета, сотая доля рубля'; морд. *ур* уст. 'белка'; диал. уст. 'копейка', 'грош'. Используется также счетно-денежное понятие *рубель*, выраженное в разных языках своими и заимствованными терминами: коми *шайт* 'рубель'; удм. *манет* 'рубель'; мар. *тенге* 1. рубль, мелкие монеты, 2. уст. любая монета из металла; диал. *манет* 'рубель'; морд. *рубель*. В настоящее время эти термины эквивалентны русским понятиям *копейка* и *рубель* и употребляются наряду с ними; исключение составляет мордовский термин, который давно вышел из употребления (КРС, 2000: 684, 720; УРС, 2008: 317, 423; СМЯ, 8: 83, 10:25, 4: 19; 7: 90; ЭРС, 1949: 60, 224, 233; 1993: 695).

Номинальные значения денежных единиц на коми, удмуртском и марийском языках существенно отличаются от счета на русскую копейку, однако полностью совпадают между

¹ Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, номер государственной регистрации проекта FUUU-2021-0008 «Пермские языки в лингвокультурном пространстве Европейского Севера и Приуралья».

собой, напр., 7 ур, ыр, коньы — 2 коп.; 17 ур, ыр, коньы — 5 коп.; 77 ур, ыр — 22 коп.; 105 ур, ыр, коньы — 30 коп.; 140 ур, ыр — 40 коп.; 350 ур, коньы — 100 коп. и т. д.

История этих «беличьих валют» не получила комплексного освещения, хотя вопрос об их происхождении дискутировался в ряде статей, в основном в середине прошлого века (Räsänen, 1924: 254–256; Старцев, 1927; Цыганов, 1947; Веке, 1951; Тимушев, 1954; Забоев, 1978).

Их авторы, естественно, исходили из очевидной связи денежного термина с названием пушного зверька. Отсюда нарратив, визуализирующий некий общий денежный счет в ранний период торговых отношений народов Поволжья и Приуралья, основным товаром у которых была пушнина, а особенно удобной и распространенной единицей меновых операций — белка. «Одинаковый денежный счет у коми, удмуртов, марийцев и мордвы мог возникнуть только в эпоху, когда предки этих народов имели тесные экономические связи и единую базу металлических денег, т. е. когда одна какая-то монета обменивалась на три-четыре белки» (Забоев, 1978: 105). «По функции, которую беличий мех осуществлял в хозяйственной жизни этих народов в древнее время и вплоть до XVII столетия» и произошла семантическая трансформация названия пушного зверька в денежную единицу: «белка — мех белки — товар — денежный эквивалент — деньги» (Цыганов, 1947: 144–145).

Известно, что аналогичная ситуация имела место и у народов Сибири (напр., Räsänen, 1950), а также у русских. В ранний период древнерусского государства самым распространенным средством товарообмена тоже был мех ценных пушных зверей. В письменных источниках домонгольского периода имеются многочисленные упоминания товаро-денег (*гривна, куна, ногата, резана, веверица* и проч.). Счет на *белы, векиши, лобцы, бельи* и *куньи мордки* и их материальная сущность пока не имеют объяснений, споры в основном ведутся в области метрологии (Мельникова и др., 2000: 30, 33).

Становление денежной системы восточных славян происходило под влиянием соседних народов, в процессе товарообмена с которыми на Руси появилось импортное серебро, в основном виде иностранных монет. Первоначально «кунные деньги», видимо, соотносились с дирхемами, которые в X–XI вв. в большом количестве поступали с восточных территорий, прежде всего, из Булгара, а в XI–XII вв. — с западноевропейскими денариями. Только в конце XIV в., после долгого безмонетного периода XII–XIV вв., в разных русских княжествах началась² чеканка собственной серебряной монеты — *денги* (Спаский, 1962: 27–31, 37–38, 54–65).

По одной из версий, счет на *уры* и *шайты*, сохранившийся «в памяти представителей старшего поколения коми вплоть до I пол. XX века», также соотносится с дорусским временем, торговлей коми с народами Волго-Камского региона и древним пересчетом стоимости беличьих шкур на «закамское серебро», входившее в «денежный оборот в виде слитков, кусков и прутьев».³ Не имея реального монетного выражения, «беличьи деньги» участвовали в товарообмене как промежуточная величина, которая колебалась, приспосабливаясь к имевшимся на рынке денежным единицам, одной из которых мог быть *арабский серебряный дирхем*, широко представленный в VIII–X вв. в товарообороте Поволжья и Древней Руси (Старцев, 1927: 17–21).

Есть также версия, что базой для возникновения одинакового денежного счета у коми и удмуртов были *татарские деньги*, поскольку «до внедрения в оборот татарских денег в XIII веке на Руси отсутствовали какие-либо привычные для населения и общераспространенные металлические деньги, по отношению к которым могло установиться указанное выше экви-

² Попытка чеканить собственные монеты из накопленного привозного металла была предпринята в Киевской Руси в кон. X в., однако не получила развития. Метрология этих монет также строилась на метрологии арабских дирхемов, сошедших на нет в X в. (Спаский, 1962: 32–35).

³ Коми шайт I. рубль; II. прут, хворостина, удище (КРС, 2000: 720).

валентное соотношение. С XIII по XV вв. татарские деньги были широко распространены, и население Руси привыкло к татарскому денежному счету». В этот период «беличьи деньги» могли выполнять функцию не только «мерила стоимости и средства обращения», но и функцию платежного средства (дани). Живучесть «счета на белку» объясняется тем, что он «был привычен для населения не только до чеканки московских и новгородских монет, но и в более позднее время», когда коми и удмурты уже отделились друг от друга (Забоев, 1978: 107).

Д. А. Тимушев называет этот счет пережиточным, однако не находит в нем никаких следов, «отражающих былую жизнь коми и удмуртов с их местной системой податей и торговлей беличьими шкурками», а также обусловленности номинала *ур* ценой беличьей шкурки и тем более следов существования в Коми крае своей денежной системы. По его мнению, понятие о деньгах у коми народа сложилось только после установления связей с русским народом. Об этом свидетельствует русское заимствование *деньги*⁴ и сам термин *ур*, который, по его мнению, является переводом русской денежной единицы *бела*, или *белка*. Последняя, видимо, существовала в старом русском денежном счете до копейки и, судя по документам, в XVI в. равнялась 2 деньгам (т. е. 1 коп.), а в XVII — 3 денгам (т. е. 1½ коп.). Позже, когда *бела* в русском счете был заменена *копейкой*, коми слово *ур* стало обозначать копейку.

Общность старого денежного счета у коми и удмуртов Тимушев объясняет тем, что он «сложился не на местной, а общегосударственной основе России» и относит его появление к более позднему времени, а именно, к периоду денежной реформы 1839–1843 гг. (Тимушев, 1954: 173–175).

Близкие высказывания, сделанные на марийском материале, имеются в работах М. Рясанена и Э. Беке. В частности, Беке считал, что до начала XIX в. вместо денег использовалась «беличья валюта»: 1 белка равнялась 1 коп., т. е. одной сотой части рубля серебром. Однако это соотношение изменилось после нашествия Наполеона, когда девальвация ассигнаций привела к тому, что «одна копейка стала равной 3 ½ беличьим шкурам, за две копейки можно было получить 7 шкурок», а за 3 — 10 беличьих шкурок (Räsänen, 1924: 256; Беке, 1951: 65).

Изложенные взгляды не являются взаимоисключающими, напротив, они позволяют конкретизировать предмет дискуссии, а также дополнить и развить обозначенные подходы. Высказывание Д. А. Тимушева о том, что у пермских народов никогда не было самобытной денежной системы, а денежный счет в *урах* и *коньы* никак не был связан с торговой ценой на белку, не вызывает никаких возражений. Более того, совершенно очевидно, что так называемые «беличьи деньги» являются не чем иным, как национальными названиями русских денежных знаков, как это можно видеть и в современных языках, ср., напр., коми *кык шайт ветымын кык ур* «два рубля пятьдесят две копейки»; удм. *одйг манет витътон коньы* «один рубль пятьдесят копеек»; *вить манет* уксё «деньги в пять рублей»; мар. *лучко тенгем луыр* «пятнадцать рублей десять копеек» и т. д.

Понятно, что и в далеком прошлом эти народные названия денег были непосредственно привязаны к какой-то денежной единице, скорее всего самой мелкой монете, бывшей в обращении. В случае трансформации этой единицы — изменения ее статуса, металла, веса, типа монеты, переименования или изъятия из оборота и т. д. — национальное название становилось маркером уже этой, измененной, единицы, переходило на другую монету или совсем вытеснялось другим, скорее всего, заимствованным названием. «Беличьи деньги» не имели собственного номинального значения, а это значит, что между *урами* и *копейками* не могли «установиться определенные эквивалентные соотношения» (Забоев, 1972: 103). Фрагменты «национальных денежных систем» по существу являются лишь отражением старого русского денежного счета и способов «перевода» его номиналов на новые русские деньги.

⁴ Собственное название съом «деньги», омонимичное слову съом «чешуя рыбы», он считает калькой с рус. бель «серебро», «серебряная монета» и «чешуя рыба» (Даль).

Это понимание позволяет исключить споры исследователей о возможных способах пересчета копеек в *урах*, *ырах* и *коньы*, а также объяснить «поразительную несогласованность денежных единиц с белками» и сложную, комбинированную систему вычислений, которая, тем не менее, «не представляла никаких затруднений» для коми и марийцев (Wichmann, 1908: 228, 1931: 199, 201, 271; Räsänen, 1924: 254–256; Веке, 1951: 66–67; Забоев, 1978: 104–105). Исходя из общих соображений, комбинированный пересчет старых денег на новые объясняется скорее «счётной мудростью» древней русской арифметики (напр., Гнеденко, 1946: 37–46), нежели глубокими математическими познаниями народа.

Еще большей ошибкой является прямая связь национальных валют со стоимостью беличьих шкур⁵. Такая трактовка предмета дискуссии заставила А. С. Забоева отказаться от верного предположения Д. А. Тимушева о связи «беличьих денег» с денежной реформой 30–40-х гг. XIX в., так как, по его мнению, «это была девальвация русских денег, и она никакого отношения не имела к самой стоимости беличьих шкур» (Забоев, 1978: 109).

«Национальный денежный счет» как отражение денежной реформы 1839–1846 гг.

Архаичные фрагменты денежного счета действительно в значительной степени отражают состояние денежного обращения в России кон. XVIII — нач. XIX вв., которое отличалось значительной нестабильностью бумажных денег (ассигнаций), введенных наряду с металлическими деньгами еще Екатериной II в 1769 г. Если в первые два десятилетия курс ассигнаций к серебряному рублю был достаточно стабилен, то русско-турецкая (1787–1791), русско-шведская (1788–1790), а затем и отечественная война 1812 г., потребовавшие значительных эмиссий для их финансирования, полностью расстроили финансовую систему российского государства. Из обращения стали исчезать золотые, серебряные, а также медные монеты, на которые разменивались банкноты. Курс их стремительно падал и в 20–30-е гг. уже колебался в пределах 3,5–4 рубля ассигнаций за 1 серебряный рубль.

Реформа 1839–1843 гг., проведенная под руководством министра финансов Е. Ф. Канкрин, была призвана стабилизировать финансовую систему, избавить ее от постоянных колебаний курса ассигнаций к другим денежным единицам. В основу денежного обращения был положен серебряный рубль, к которому и устанавливался единый курс всех имевшихся в обращении номиналов. Старые ассигнации и привязанные к ним медные копейки постепенно были заменены депозитными, затем кредитными билетами и новыми медными монетами, которые потяжелели и получили официальный статус разменных номиналов в пересчете на серебро. Между старыми и новыми деньгами был установлен твердый обменный курс в соотношении: 3,5 руб. ассигнациями = 1 руб. серебром. В 1843 г. стоимостное соотношение: 100 руб. золотом = 103 руб. серебром = 103 руб. государственными кредитными билетами было закреплено законодательно, а к началу 1850-х гг. закончено изъятие прежних ассигнаций и депозитных билетов. Однако наметившееся к началу 1860-х улучшение состояния финансовой системы вскоре было подорвано Крымской войной (1853–1856), которая в очередной раз потребовала значительных эмиссий и вызвала серьезную инфляцию уже новых бумажных денег (БРЭ; Мельникова и др., 2000: 179–184).

Одновременное обращение девальвированного ассигнационного рубля и старых копеек с новыми бумажными деньгами и монетами в 30–40-е гг. создало ситуацию двойного денежного счета. Исходя из соотношения старого и нового курсов, 7 дореформенных медных копеек стали равняться 2 новым копейкам, грош, ранее соответствовавший 2 коп. стал означать ½ коп. и т. д. «Привычка народа к счету на ассигнации и на старые медяки породила в связи

⁵ Хотя есть исторические свидетельства, что на северо-восточных окраинах России шкурки пушных зверей (белки) использовались в качестве «кожаных денег» вплоть до XVI — нач. XVII в. и даже позже [Конаков, 1983: 217–218].

с реформой 40-х гг. ряд интересных перемещений старых названий и возникновение новых для медных монет. Трехкопеечная монета, равная по ценности приблизительно 10 копейкам в старой монете, получила народное название *гривенный*, сохранившееся местами до начала XX в. (рядом с названием “гривенник” для серебряной монеты). Новую копейку кое-где стали называть “алтыном” (в Сибири), итрынкой (в губерниях средней России). Двухкопеечная монета — *грош*, которая равнялась 7 копейкам в дореформенной монете, надолго получила в народе название *семишник* (семитка, семак). Однако и названию *грош* нашлось применение: его, примерно по тому же расчету, перенесли на новую полукопеечную монету. Превенная *деньга* стала грошиком, грошем» (Спаский, 1962: 143).

Подобную же картину демонстрирует перечень денежных архаизмов пермских и волжско-финских языков, в которой достаточно последовательно визуализируются, по меньшей мере, две разновидности денежного счета.

Для наглядности все денежные архаизмы рассматриваемых языков, извлеченные из разных источников, обобщены в виде сводных таблиц (Табл. 1 и Табл. 2).⁶ Материалы не равнозначны по объему: лучше всего представлены марийские и коми, в меньшей степени — удмуртские; мордовские не представлены вовсе, поскольку в нашем распоряжении имеются только отдельные свидетельства о наличии такого счета в прошлом (ЭРС, 49: 60, 224, 233). Счет на единицы 1-го, 2-го и 3-го десятков представлен только в марийском и коми языках (Табл. 1, 4-й и 5-й столбцы), причем марийский, извлеченный из словарей Х. Паасонена и В. М. Васильева, оказался удивительно полным и сохранным, чего нельзя сказать о коми.

Табл. 1 содержит сравнительный материал, визуализирующий соотношение денежных номиналов по обменному курсу 1 коп. = 3,5 ур, ыр, коньы. Поскольку ур, ыр и коньы обозначали медную копейку как в начале, так и в конце ассигнационного периода (Тимушев, 1954: 174), в таблице можно видеть системные изменения этого номинала, разумеется, с поправками на процесс архаизации, степень сохранности материала, влияние более поздних колебаний курса и проч.

В скобках прописаны номинальные значения денежных единиц на национальных языках, извлеченные из разных источников, адаптированные к современной орфографии (с возможными диалектными особенностями). Наряду с основным (наиболее последовательно встречающимся) значением приводятся единичные фиксации, а также варианты математического пересчета старых денег на новые.

Таблица 1

Сравнительный денежный счет по курсу 1 коп. = 3,5 ур, ыр, коньы

Единицы и десятки			Единицы 1-го, 2-го и 3-го десятков	
Коми счет	Марийский счет	Удмуртский счет	Коми счет	Марийский счет
1½ коп. = 5 ур (вит ур); вит ура — пятак, монета в 1½ коп. ⁷	¼ коп. = 1 ыр (икур), ½ коп. = 1 ыр (икур), или 2 ыр, 2 ыр медью (кокур, кокраш); 2/7 коп. = 1 ыр (икур) ⁸	¼ коп., ½ коп. = коньдон	10 коп. = 35 ур	10 коп. = 35 ыр

⁶ Коми денежный счет составлен по материалам (Волегов, 1833: 27; Fokos-Fuchs, 1959: 1149; Wiedemann, 1942: 314; ССКЗД: 424; Старцев, 1927: 19–20; Веке, 1951: 72; Тимушев, 1954: 171; Забоев, 1978: 104), удмуртский — по материалам (Munkácsi, 1896: 185, 186; Грацианская, 1951: 215; Веке, 1951: 71–72; Тимушев, 1954: 72), марийский — по материалам (Wichmann, 1908: 228, 1931: 199, 201, 271; Räsänen, 1924: 254–256; Васильев, 1926: 39, 53, 55, 61, 71, 84, 87, 104, 110, 133, 177, 278, 284; Paasonen, 1948: 21, 44, 51, 66, 134; Веке, 1951: 65–71).

⁷ Монета вит ура зафиксирована в словаре Ф. А. Волегова 1833 г. как пятак, anderthalb kopeken, fünf kopeken (Rédei 1968: 27) и Ю. Вихмана как vit ура — Anderthalbkopekenstück (Wichmann 1942: 314). По-видимому, речь идет о дореформенной медной пятикопеечной монете, обесцененной в результате реформы.

Единицы и десятки			Единицы 1-го, 2-го и 3-го десятков	
Коми счет	Марийский счет	Удмуртский счет	Коми счет	Марийский счет
1 коп. = 3 или 4 ур (куим ур, нель ур)	1 коп. = 3 ыр; 3 коп. медью (кумур, кумураш, трешник)	1 коп. = кунь-но уксе	—	11 коп. = 38 ыр (кумло кандасыр), 35 ур и 3 ур (кумло вичур да кум ур)
2 коп. = 7 ур (сизим ур)	2 коп. = 7 ыр (шымур, шымураш); 2 коп. медью (шымдер, шымураш, семишник)	2 коп. = 7 коньы (сизьым коньы)	12 коп. = 40 ур (нель дас ур)	12 коп. = 42 ыр (ниллукокур), 35 ур и 7 ур (кумльвичур да шымур)
3 коп. = 10 ур (дас ур)	3 коп. = 10 ыр (лур, луур, лураш), 3 коп. медью (луураш, уст., монета)	3 коп. = 10 коньы (дас коньы)	13 коп. = 43 (40 и 3— нель дас ур да куим ур); 40 и 2 гроша (нель*дас ур да кык грёш)	13 коп. = 45 ыр (ниллывичёр), 35 ур и 10 ур (кумльвичур да лур).
4 коп. = 14 ур (дас нель ур)	4 коп. = 14 ыр, 4 коп. медью (латнылур, луат нел ур), 2 x 7 ур (кокшымур), 4 x 3 ур (нилкумураш)	4 коп. = 14 коньы (дасныль коньы)	14 коп. = 47 (40 и 7 ур — нель дас ур да сизим ур)	14 коп. = 49 ыр (ниллиндесёр, нёллиндешур); 35 ур и 14 ур (кумльвичур да латниллур)
5 коп. = 17 ур (дас сизим ур)	5 коп. = 17 ыр (латшымур)	5 коп. = 17 коньы (дас сизьым коньы)	15 коп. = 50 ур (вит дас ур), 52 ур (ветымын кык ур)	15 коп. = 50 ур (вичлураш), 52 ыр (витьлёкогыр; витьлёкогыраш)
6 коп. = 21 ур (кызь өти ур), 20 ур (кык дас ур)	6 коп. = 21 ыр (коликур), 20 ыр (коклуур)	6 коп. = 21 коньы (кызь одйг коньы)	16 коп. = 50 ур и 3-4 ур (вит дас ур да куим-нель ур)	16 коп. = 55 ыр (52 ыр и 3 ыр (витьлёкогыр да кумыр).
7 коп. = 24 (кызь нель ур), 23 ур (кык дас ур да куим ур)	7 коп. = 24 ыр (колнилур)	7 коп. = 24 коньы (кызь ныль коньы), 17 и 7 коньы (дас сизьым вылье сизьым коньы)	17 коп. = 57 ур (50 ур да 7 ур — вит дас ур да сизим ур)	17 коп. = 59 ыр (витьлиндэсёр, витьлиндэшур), 52 ыр и 7 ыр (витьлёкогыр да шым ёр)
8 коп. = 28 (кызь көкъямыс ур), 27 ур (кызь сизим ур)	8 коп. = 28 ыр (колкандашур)	8 коп. = 28 коньы (кызь тямьыс коньы)	18 коп. = 60 ур (квйт дас ур)	18 коп. = 63 ыр (кутлёкумур), 52 ыр и 10 ыр (витьлёкогыр да лур), 70 ур без 7 ур (шымлур деч шымыр монто), 60 ыр (кут лур)
9 коп. = 30 ур (куим дас ур); 31 ур (комын өти ур); 32 ур (35 ур без 3 ур -35 (комын вит ур куим уртём)	9 коп. = 30 ыр (кумлур), 31 ыр, (кумликёр, кумликур)	9 коп. = 30 коньы (куинь дас коньы)	19 коп. = 60 ур и 2 гроша (квйт дас ур да кык грёш)	—

⁸ 1/2, 1/4 коп. заменили собой самые мелкие монеты дореформенного периода, бывшие деньгу и полушку, которые, видимо, в разное время носили название ур, ыр, икур. Случай, когда 1/2 коп. = 2 ыр, 2 ыр «медью», отражает пореформенное соотношение бывшей монеты грош (2 коп.) в новую полкопейки серебром. Интересно отметить, что соответствие 1 ур = 2/7 коп., зафиксированное В. М. Васильевым в марийском языке, вычислил на коми материале и Д. А. Тимушев (1954: 173).

Единицы и десятки			Единицы 1-го, 2-го и 3-го десятков	
Коми счет	Марийский счет	Удмуртский счет	Коми счет	Марийский счет
10 коп. = 35 ур (комын вит ур)	10 коп. = 35 ыр (кумло вичур, кумло вичыраш тенге)	10 коп. = 35 коньы (куамын вит коньы)	20 коп. = 70 ур	20 коп. = 70 ыр
20 коп. = 70 ур (сизим дас ур)	20 коп. = 70 ыр (шымлур, шымдыр, шымдыраш тенге)	20 коп. = 70 коньы (сизымдон коньы)	21 коп. = 70 ур и 2 гроша (сизимдас ур да кык грөш)	21 коп. = 73 ыр (шымлӱ кумӱр, шымлӱкумур)
30 коп. = 105 ур (сӱ ур да вит ур), 100 ур (сӱур, шайт — рубль)	30 коп. = 105 ыр (шӱдӱвичыр, шӱдӱвичыраш тенге), 100 ыр (шӱдур, шӱдӱ ур)	30 коп. = 105 коньы (си но вит кони);	22 коп. = 77 ур (70 ур и 7 ур — сизимдас ур да сизим ур)	22 коп. = 77 ыр (шымлышымӱр)
40 коп. = 140 ур (сӱ нелямын ур), 70 х 2 ур (кык сизимдас ур)	40 коп. = 140 ыр (шӱдӱниллур)	40 коп. = 140 коньы (си но нильдон коньы)	23 коп. = 80 ур (кӱкъямысдас ур)	23 коп. = 80 ыр (кандашлур), 70 ур и 10 ур (шымлур да лур), 84 ыр (кандаслынилӱр)
50 коп. = 175 ур (140 ур и 35 ур (сӱ нелямын ур да комын вит ур), 170 ур (1 шайт и 70 ур — ӱтик шайт да сизимдас ур)	50 коп. = 175 ыр (шӱдӱшымлӱ вичур)		24 коп. = 80 ур и 3(4)ур (кӱкъямысдас ур да куим, нель ур)	—
60 коп. = 210 ур (3 х 70 — куим сизимдас ур), 2 шайт 10 ур (кык шайт дас ур), 2 рубл. (кык шайт)	60 коп. = 210 ыр (кок шӱдӱ лур)			25 коп. = 87 ыр (кандаслышымӱр), 7 ыр х 10 ыр и 17 ур (шымӱрлур да луатшымӱр); 25 коп. = 100 ыр (шӱдураш; шудыраш тенге ⁹)
70 коп. = 245 ур (2 шайт 10 ур и 35 ур (кык шайт дас ур да комын вит ур), 280 ур (4 х 70 — нӱль сизимдас ур), 210 ур (кык шайт да гривенник)	70 коп. = 245 ыр (кок шӱдӱ-нӱлӱвичыр), 240 ыр (кокшӱдӱ ниллур)			26 коп. = 91 ыр (индэсликӱр, индэшлуикӱр), 70 ур и 21 ур (шымлур да коликур), 25 ур и 3 ур (шӱдыраш тенге да кум ур)
80 коп. = 280 ур (2 шайт 10 ур и 70 ур — кык шайт дас ур да сизимдас ур), 290 ур (3 шайта без гривенника — куим шайт гривенниктӱм)	80 коп. = 280 ыр (кокшӱдӱ-кандаслыр, кокшӱдӱ-кандашлур)			27 коп. = 94 ыр (индэслынилӱр, индэшлунылыр; 70 ур и 24 ур (шымлур да колӱнылур)
90 коп. = 315 ур (2 шайта 10 ур 70 ур и 35 ур (кык шайт дас ур сизимдас ур да комын вит ур), 300 ур (3 шайта (куим шайт)	90 коп. = 315 ыр (кумшӱдӱ лучкӱр)			28 коп. = 98 ыр (индэлэкандасыр, индэшлукандашур), 70 ур и 28 ур (шымлур да колӱкандашур)

⁹ шӱдураш тенге уст. 25 коп. (СМЯ 9: 379).

Единицы и десятки			Единицы 1-го, 2-го и 3-го десятков	
Коми счет	Марийский счет	Удмуртский счет	Коми счет	Марийский счет
100 коп. = 350 ур (2 шайт 10 ур и 140 ур — кык шайт дас ур да сё нелямын ур)	100 коп. = 350 ыр (кумшүдö витьлур)			29 коп. = 101 ыр (шүдикыр, шүдикур), 70 ур и 31 ур (шымлур да кумликур)
			30 коп. = 105 ур	30 коп. = 105 ыр
			35 коп. = 122 ур (сё кызь кык ур)	

Преобладающее большинство приведенных в таблице «национальных» денежных единиц имеют равновеликие или близкие номинальные значения, что само по себе говорит об общем (внешнем) источнике их происхождения. Соотношение их с русскими копейками находится в пределах обменного курса $1 : 3 \frac{1}{2}$, установленного реформой Канкрин в отношении металлических и бумажных денег и их фракций — серебряных и, что актуально в данном случае, медных копеек старого и нового образца.

Обращает на себя внимание тот факт, что последовательно соответствуют курсу все четные номиналы и круглые десятки, напр., умножив 2 коп., 4 коп., 20 коп., 30 коп., 70 коп., 14 коп., 16 коп., 22 коп. 28 коп. на коэффициент $3 \frac{1}{2}$ получаем, соответственно, 7, 14, 70, 105, 245, 49, 56, 77, 98 уров и т. д. Умножение нечетных единиц на этот же коэффициент дает некруглое число, напр., 1 коп., 3 коп., 5 коп., 15 коп., 35 коп., умноженные на $3 \frac{1}{2}$, дают $3 \frac{1}{2}$, $10 \frac{1}{2}$, $17 \frac{1}{2}$, $52 \frac{1}{2}$, $122 \frac{1}{2}$ и т. д., которые в перечне округлены до 3 или 4, 10, 17, 52 и 122 уров.

В соответствии с этим, в линейке единиц и единиц десятков (особенно последовательно в марийской части) можно наблюдать разность номинальных значений в 3 или 4 единицы в зависимости от четности или нечетности номинала. Например: 7 ур (2 коп.) + 3 = 10 ур (3 коп.), 10 + 4 = 14 ур (4 коп.), 14 + 3 = 17 ур (5 коп.), 17 + 4 = 21 (6 коп.); 73 ыр (21 коп.) + 4 = 77 ыр (22 коп.), 77 + 3 = 80 ыр (23 коп.) и т. д. Некоторые несовпадения, наблюдаемые преимущественно в коми счете, вроде: 8 коп. = 27 и 28 ур; 9 коп. = 30, 31 и 32 ур, видимо, объясняются большей его архаизацией по сравнению с марийским.

Впервые на это чередование обратил внимание М. Рясанен (1924: 256). Э. Беке, исходя из своего понимания «национальных денег» как беличьих шкур, объяснял его тем, что черемисы пренебрегали половиной, продавая за 1 коп. 3, а не 3 с половиной беличьей шкурки, т. е. «при четных числах 3 белки составляли копейку, при нечетных — 4» (Беке, 1951: 66). Д. А. Тимушев, считавший «беличьих деньги» монетами, полагал, что «прежняя денежная единица была неделимой, и поэтому в разменной практике половина не учитывалась» (Тимушев, 1954: 173). Так или иначе, очевидно, что разность номиналов в 3 или 4 единицы отражает лишь (по-видимому, общепринятый) способ пересчета старых денег на новые, продиктованный дробным курсом обмена, в котором при четных номиналах он выдерживался, при нечетных — колебался (в нашем случае, примерно в пределах $1 : 3,333\text{--}3,45\text{..}$).

Варианты номинальных значений (напр., в коми счете 50 коп. соответствуют 175 урам и 170 урам; 70 коп. — 245 урам, 280 и 210 урам; 80 коп. — 280 и 290 урам и др.), зафиксированные в разных регионах, являются, скорее всего, результатом неравномерной архаизации этого счета в отдельных языках и диалектных ареалах. Очевидно также, что приведенный перечень с большой долей вероятности содержит разновременные элементы. Не надо забывать, что в дореформенный период, да и во время реформы, цена ассигнации и медной копейки постоянно менялась. Кроме официального, существовал рыночный курс, определяющийся спросом и предложением, а также «простонародный» курс, устанавливаемый произвольно, причем разный на разных территориях, который колебался от 350 до 420 коп. ассигнациями за рубль серебра.

Некоторые отклонения от общего соотношения 1 : 3 ½ объясняются тем, что при пересчете использованы разные арифметические действия, а также номиналы. Так, например, значение 60 коп., равное 210 урам, которое во всех предыдущих исследованиях было положено в основу выяснения «стоимости» ура, кроме этого значения, в коми счете соответствует 2 шайтам (2 рублям), т. е. 200 коп., а 30 коп. — не только 105, но и 100 урам (ср. мар. 100 ыр = 30 коп. и 25 коп.), 90 коп. — не только 315, но и 3 шайтам, т. е. 300 коп. (см. Табл. 1). Это значит, что пересчет мог опираться на другой номинал, в данном случае, на *шайт*, т. е. ассигнацию, которая в тот момент могла составлять около 33 коп.

Примечательно, что Д. А. Тимушев, исходя из соотношения 60 коп. = 2 шайт 10 ур и путем сложных вычислений пришел к выводу, что 100 ур в этом «пережиточном» счете были равны 28 ½ коп., хотя там же отметил, что «шайт и 100 ур были равными величинами» (Тимушев, 1954: 173). Противоречия здесь нет, если помнить, что «национальная валюта» — лишь название изменяющейся во времени русской денежной единицы. В данном случае коми *шайт* обозначает как старый, так и новый рубль периода реформы Канкрин, которые долгое время находились в соотношении 1 рубль серебром (100 коп.) = 1 ассигнационный рубль (28 ½ коп.).

Обобщенные в Табл. 2. данные представляют элементы другой системы. Они извлечены из тех же источников, что и материалы Табл. 1, однако относятся к несколько иному времени, к периоду, когда русские и «национальные денежные единицы» соотносились как 1:1.

Таблица 2

Сравнительный денежный счет по курсу 1 коп. = 1 ур, ыр, коньы

Номиналы и монеты «серебром»			
Коми счет	Удмуртский счет	Марийский счет	
		единицы и десятки	единицы десятков
11 коп. = гривенник да кык грōш			11 коп. = 11 ыр (луат икур, латикур-ший)
	½ коп. = грош	½ коп. = ½ ыр (пел-ик ур; пел-ик ур ши)	
1 коп. = 1 ур (ōтик ур)	1 коп. = 1 коньы (одйг коньы)	1 коп. = 1 ыр (икур; икурши)	12 коп. = 12 ыр (луат кокур, лат-кокурший)
2 коп. = 2 ур (кык ур)	2 коп. = 2 коньы (кык коньы)	2 коп. = 2 ыр (кок ур; кокурший)	13 коп. = 13 ыр (луат кумур)
3 коп. = 3 ур (куим ур), 3 ур (куим ура) — монета в 3 коп.	3 коп. = 3 коньы (куинь коньы)	3 коп. = 3 ыр (кум ур; кумурши, кумурший, кумураш)	14 коп. = 14 ыр (луат нылур)
		4 коп. = 4 ыр (нылурши, нылурший, нылураш)	15 коп. = 15 ыр (луатвичур, лучко, луцкур; лучкыр ший), пятиалтынный
5 коп. = 5 ур (вит ур); 5 коп. серебром (вит ур эзысь); вит ура — пятак		5 коп. = 5 ыр (вичурший, вичураш); медью (вичкумураш) ¹⁰	
		6 коп. = 6 ыр (кудурши, кудурший, кудураш)	
		7 коп. = 7 ыр (шымурши, шымурший, шымураш)	

¹⁰ 5 коп. медью (вичкумураш, букв. вич'пять', кум'три', ур 'копейка') означает, по-видимому, 5 раз по 1 старой медной копейке кумураш (три ура), см. Табл. 1.

Номиналы и монеты «серебром»			
Коми счет	Удмуртский счет	Марийский счет	
		единицы и десятки	единицы десятков
		8 коп. = 8 ыр (кандаш ур; кандашурший; кандашураш)	
		9 коп. = 9 ыр (индеш ур; индешурший, индешураш).	
10 коп. = 10 ур (дас ур); дас ура — монета в 10 коп.	10 коп. = 10 коньы	10 коп. = 10 ыр (лу ур ши; луурший, луураш)	
20 коп. = 20 ур (кызь ур); кызь ур <i>деньга</i> — деньга в 20 коп.		20 коп. = 20 ыр (колдур, колдурши, колдурший, колдураш); двугривенный	
25 коп. = четвертак	25 коп. серебром = четвертак		25 коп. = 25 ыр (коло вич ур)
30 коп. = 30 ур (комын ур)		30 коп. = 30 ыр (кумдурший, кумдураш)	35 коп. = 35 ыр (кумлувичур, кумлувичурши)
40 коп. = 40 ур (нелямын ур)		40 коп. = 40 ыр (ниллурший, нилураш)	52 коп. = 52 ыр (вичлукокыр, вичлукокырши)
50 коп. = 50 (ветымын ур вит дас ур)	50 коп. = полтинник, джыны манет, шузи манет	50 коп. = 50 ыр (витлур; вичлурши, вичлурший, висьлураш)	65 коп. = 65 ыр (кутлувичур)
		60 коп. = 60 ыр (кутлураш, кутлурший)	
		70 коп. = 70 ыр (шымлёр, шымдурший, шымдураш)	
		80 коп. = 80 ыр (кандашураш, кандашурший)	
		90 коп. = 90 ыр (индешураш, индешурший)	

Не все¹¹, но значительная часть приведенных в таблице номиналов прямо указывает на период финансовых преобразований Е. Ф. Канкрин, когда в основу денежного обращения в России был положен принцип *серебряного монометаллизма* с единым курсом всех денежных знаков на серебро. Как отмечалось ранее, реформа проводилась постепенно. Чтобы избавить финансовую систему от обесценившихся ассигнаций и их медных фракций, в оборот поэтапно вводились обеспеченные серебряным запасом кредитные билеты и новые медные копейки по 16-рублевой стопе. При этом в обращении оставались и старые медяки, которые чеканились по 36- и 24-рублёвой стопе и разменивались с новыми медными монетами по курсу 1 : 3,5.

Населению трудно было разобраться в новых и старых монетах, поэтому на новых медных монетах была надпись «серебром», подчеркивающая эквивалентность новой медной монеты с серебряной. С пометой «на серебро» чеканилась также необычные для российской денежной системы платиновые монеты. Таким образом, наряду с серебряными монетами в 1 руб., 50 коп. (полтина), 25, 20, 10 и 5 коп. появились медные монеты «серебром» номиналом в $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 и 5 коп., которые чеканились десять лет. В 1849 г. начался выпуск новых медных монет в тех же номиналах, но без слова «серебром». С этого времени появился термин *денежка* (вм. деньга и $\frac{1}{2}$ коп. серебром), вернулось название *полушка* (вм. $\frac{1}{4}$ коп. сереб-

¹¹ В текстах встречаются русские заимствования вроде целковый, полтинник, четвертак, гривенник, грош, двугривенный, пятиалтынный и проч., которые могут быть разного времени, скорее всего, более позднего.

ром), трехкопеечную монету, которая появилась впервые, стали называть *гривенный* (Спаский, 1962: 142).

Наиболее наглядно эту ситуацию визуализирует марийский материал. В нем практически все номиналы представлены в пересчете «на серебро». Они последовательно маркированы почти полностью грамматикализированным словом *иш(й)* ‘серебро’ и суффиксом *-аш*, который, по утверждению Э. Беке, прибавляется «для обозначения серебряной монеты»¹² (Беке, 1951: 68–69).

Эти особые маркеры в каком-то смысле объясняют полноту и последовательность записи нового марийского счета, в отличие от коми и удмуртского, где представлен описательный способ обозначения медной копейки «серебром», не требовавший фиксации каждой единицы, напр., коми 5 ур эзысь — 5 коп. серебром; удм. 25 *коньы* — 25 коп. серебром.

В целом счет на пермских языках, представленный в Табл. 2, не отличается от современного, за исключением удмуртского номинала в ½ коп., который после реформы стал называться *грош*. В коми части 11 коп. также переданы в пореформенных терминах: гривенник (серебряная монета в 10 коп., не *гривенный* в 3 коп. «серебром»!) и 2 *гроша* по ½ коп.¹³ Отмечена также монета в 3 коп. (коми куим ура), появившаяся, как отмечалось, в период реформы.

Наличие двух типов «национальных» систем денежного счета отмечалось всеми предыдущими исследователями с разницей в том, какая из них является старой, а какая — новой. Исходя из приведенного материала, можно констатировать, что оба счета — на старые и новые деньги — относятся к одному периоду — 30-40-м гг. XIX в., к денежной реформе Канкрин. Только старая система отражает русский счет на медную ассигнационную копейку, а более новая — русский счет на новую медную монету, привязанную к серебряному рублю.

Заключение

Денежные архаизмы пермских и марийского языков, зафиксированные на разных территориях России, в разных языках и диалектных зонах, по времени записи охватывают несколько десятилетий конца XIX — начала XX века. Они не являются элементами одной системы, однако номинальные значения всех денежных единиц почти идентичны, что говорит об их общем происхождении.

Системный комплексный анализ всего имеющегося на настоящее время материала позволяет с полной очевидностью атрибутировать его конкретным историческим периодом, а именно, периодом денежной реформы Е. Ф. Канкрин (1839–1843 гг.).

Большая часть денежных архаизмов отражает ситуацию двойного счета на старые и новые деньги, когда в параллельном обращении довольно длительное время находились девальвированные ассигнации и привязанные к ним медные копейки и новые бумажные деньги и монеты с твердым курсом на серебро. Национальные названия *ур*, *ыр* и *коньы* ‘копейка’ в этих условиях использовались как в отношении дореформенной, так и пореформенной медной копейки. Исходя из разнородности рассматриваемого материала, нельзя исключить также наличие в нем номиналов, связанных с другими периодами русской денежной системы, подвергавшейся существенным изменениям и после реформы Канкрин, особенно в начале XX века.

Попытки реконструкции «национальных денежных систем», в которых *уры*, *ыры* и *коньы* находились бы в «эквивалентных отношениях с русской копеейкой», не имеют перспектив, поскольку в эквивалентных отношениях в тот период находились русские (старые и но-

¹² Хотя, возможно, для обозначения монеты вообще, ср., напр., шымыраш — 2 коп. медью, см. Табл. 1.

¹³ Ср. использование слова грош в старом коми счете, Табл. 1, номиналы 13, 19 и 21 коп.

вые) медные копейки, а национальные термины в разное время выступали только как названия тех и других. Соответственно, пересчет номиналов пережиточного денежного счета на новые деньги может быть произведен с использованием правил и приемов русской арифметики начала XIX в.

Национальные денежные термины коми, удмуртского и марийского языков, этимологически связанные с названием белки, по-видимому, восходят к раннему периоду денежно-меновой торговли, когда одним из важных элементов товарооборота была пушнина. Однако в обозримой исторической ретроспективе они уже не имели никакого отношения к стоимости беличьей шкурки, а обозначали мелкие русские монеты, разные в разные исторические периоды, что можно наблюдать на примере их современного использования.

Это понимание позволяет надеяться на адекватную расшифровку других письменных памятников, содержащих денежный счет с использованием национальных денежных терминов, каковым, например, является недавно открытый зырянский словарь-разговорник XVII в., содержащий денежный счет от «денги» до «1000 ты́сящей рубле́вь», переданных в коми *урах* и *шайтах* в пересчете на *денгу*, *алтын* и счетный *рубль*.

Литература:

- Беке Э.** Беличья система валюты у мари // Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae. Fase. 1. Budapest, 1951. Т. I. С. 65–74.
- Васильев В. М.** Сравнительный словарь наречий марийского языка // Марий мутэр: Турлө вэрэ илышэ марийын мутшым танастарэн нэргэлымэ кнага. М., 1926. 347 с.
- Гнеденко Б. В.** Очерки по истории математики в России, издание 2-е. М.: КомКнига, 2005. 296 с.
- Грацианская Я.** Удмуртская народная математика // Удмуртский научно-исследовательский институт. Записки. Вып. 15. Удмуртгосиздат. Ижевск. 1951. С. 205–216.
- Забоев А. С.** Древний «денежный» счет коми // Советская этнография. Москва, 1978. №1, С. 103–109.
- Конаков Н. Д.** Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX — начале XX в. Культура промыслового населения таежной зоны Европейского Северо-Востока. М.: Наука, 1983. 249 с.
- Мельникова А. С., Уздеников В. В., Шуканова И. С.** Деньги в России. История русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 года. М., ООО «Издательство Стрелец». 2000. 224 с.
- Спасский И. Г.** Русская монетная система: Историко-нумизматический очерк. 3-е изд., доп. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. 224 с.
- Старцев Г. А.** Древний зырянский счет (лыд) // Этнограф-исследователь, 1927, № 1. С. 17–21.
- Тимушев Д. А.** О старом денежном счете коми и истории коми денежного термина «ур». Труды Коми филиала Академии наук СССР. Сыктывкар, 1954, вып. II. С. 171–174.
- Цыганов Н. Ф.** Заметка о древнемордовской денежной единице // Записки Мордовского научно-исследовательского института. № 9. История и археология. Саранск, 1947. С. 137–146.
- Fokos-Fuchs D.** Syrjänisches Wörterbuch: in 2 B. (B. 1 — 714 s.; B. 2 — 715 s.). Budapest: Akademia Kiado, 1959. 1564 S.
- Munkácsi B.** A votják nyelv szótára. Budapest, 1896. 868 c.
- Paasonen H.** Ost-Tscheremissisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, XI. 1948. 210 s.
- Räsänen M.** Einige Tiernamen als Münzeinheiten / Beiträge zu den altaisch-slavischen Berührungen // Commentationes finno-ugricae in honorem Y. H. Toivonen (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne XCVIII. Helsinki, 1950. S. 127–129.
- Räsänen M.** Tscheremissische Zeit— und Massbestimmungen // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne (MSFOu) / Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (SUST) LII. Helsinki, 1924. S. 250–256.
- Rédei K.** Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1833 auf Grund der aufzeichnungen F. A. Wolegows. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968. 139 s.
- Wichmann Gy.** Mutatvány az urzsumi cseremiszek költségzetéből / Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. kötet. 3. füzet. Budapest. 1908. 205–245.
- Wichmann Y.** Syrjänischer Wortschatz nebst Hauptzugen der Formenlehre: Aufgezeichnet von Yrjo Wichmann. Bearbeitet und herausgegeben von T. E. Uotila / Y. Wichmann, T. Uotila. Helsinki, 1942. 486.

Wichmann Y. Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen // Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia/Mémoires de la Société Finno-Ougrienne LIX. Helsinki.

Сокращения:

БРЭ — Большая российская энциклопедия. https://bigenc.ru/domestic_history/text/3824967, дата обращения 11.12.21.

КРС — Коми-русский словарь / Л. М. Безноскова, Е. А. Айбабина, Р. И. Коснырева. Сыктывкар: Коми кн. изд., 2000. 815 с.

СМЯ — Словарь марийского языка в 10 т. / под ред. И. С. Галкина. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд., 1990–2005.

ССКЗД — Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов / Т. И. Жилина, М. А. Сахарова, В. А. Сорвачева. Сыктывкар: Коми кн. изд., 1961. 490 с.

ЭРС 1949 — Эрзянско-русский словарь / под ред. М. Н. Коляденкова и Н. Ф. Цыганова. М.: Гос. изд. иностранных и национальных словарей, 1949. 292 с.

ЭРС 1993 — Эрзянско-русский словарь / Р. Н. Бузакова, М. Е. Митрофанова, М. В. Мосин, О. Е. Поляков. М.: Русский язык, 1993. 803 с.

УРС — Удмуртско-русский словарь / под ред. Л. Е. Кирилловой. Ижевск, 2008. 825 с.

Федюнева Галина Валерьяновна, доктор филологических наук, главный научный сотрудник.

**Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми научного центра
Уральского отделения РАН.**

Ул. Коммунистическая, д. 26, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982.

E-mail: gfedyleneva@mail.ru

Материал поступил в редакцию 20 декабря 2021 г.

G.V. Fedyuneva

ARCHAIC “MONETARY SYSTEMS” OF PERMIAN AND VOLGA-FINNISH PEOPLES IN WRITTEN SOURCES OF THE LATE XIX — EARLY XX CENTURIES

In written sources of the late XIX — early XX centuries of the Finno-Ugric peoples of the Permian and Volga groups fragments of an old monetary settlements using monetary terms dating back to the name of a fur-bearing animal (squirrels): Komi *ур* “copecck”, Udm. *коньы* “copecck”, “money”, Mar. *ыр, ур* “copecck”, “small coin”, Mord. oral *ур* “copecck”, “penny” have been preserved. This count differs significantly from the modern one, however, it is consistently identified as common to ethnically and geographically different groups of the non-Russian population of the Volga region and the Urals, for example, 7 *ур, ыр, коньы* — 2 copeccks; 17 *ур, ыр, коньы* — 5 copeccks; 77 *ур, ыр* — 22 copeccks; 105 *ур, ыр, коньы* — 30 copeccks; 140 *ур, ыр* — 40 copeccks; 350 *ур, коньы* — 100 copeccks, etc.

In the 1950s of the last century, attempts were made to reconstruct the national accounting and monetary systems based on these fragments, to determine the time of their appearance and mathematical methods of converting Russian monetary units into the national currency, but the problem remained at the level of discussions. In order to further verify the existing narratives, as well as to clarify the origin and historical essence of these cultural and linguistic artifacts, the author carried out a comprehensive analysis of all monetary archaisms of the Komi, Udmurt and Mari languages as elements of a single system.

The presented research results allow us to draw fairly definite conclusions of both a specific and more general nature. They are as follows: 1) the origin of the “squirrel” monetary terms, obviously, should be referred to the early period of monetary exchange trade, with fur being an important element; however, in the foreseeable historical retrospect, there was no “squirrel currency”, the nominal values of *уров, ыров* and *коньы* were not related to the cost of squirrel skin; 2) in a multinational state with a single financial and monetary system, national monetary terms could only be the names of Russian monetary units, as a rule, of small change denominations required for retail

turnover; 3) at different times, depending on the state of the national monetary system, national names of money were applied to different monetary units that were in circulation, and, accordingly, had nominal values of these units; 4) fragments of the Komi, Udmurt and Mari monetary settlements preserved in written sources, folklore and folk memory are almost identical, which indicates their common origin; they are a relic reflection of the state of the Russian monetary system during the reform period of 1839–1846, when different paper and metal money were in simultaneous circulation, and were exchanged at the rate of 1:3.5; 5) attempts to reconstruct national monetary systems in which *уры*, *ыры* and *коньы* were in “equivalent relations with the Russian copeck” have no prospects, since Russian (old and new) copper copecks were in equivalent relations at that time, and national terms at different times acted only as the names of both; 6) the national monetary terminology, which is also available in other languages of Russia, is of interest for ethnohistorical research, since it can be used in the reconstruction of the all-Russian monetary settlements in one or another period of its history.

Keywords: *the Russian financial system, monetary reform, names of money, the Komi, the Udmurts, the Mari, XIX century.*

References:

- Beke O.** Belich'ja sistema valjuty u mari // Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae. Fase. 1. Budapest, 1951. T. I. C. 65–74.
- Vasil'ev V. M.** Sravnitel'nyj slovar' narechij marijskogo jazyka // Marij mutjer: Turlö vjerje ilyshje marijyn mutshym tanastarjen njergjelymje knaga. M., 1926. 347 s.
- Gnedenko B. V.** Oчерки по истории математики в России, издание 2-е. М.: КомКнига, 2005. 296 s.
- Gracianskaja Ja.** Udmurtskaja narodnaja matematika // Udmurtskij nauchno-issledovatel'skij institut. Zapiski. Vyp. 15. Udmurtgosizdat. Izhevsk. 1951. S. 205–216.
- Zaboev A. S.** Drevnij «denezhnyj» schet komi // Sovetskaja jetnografija. Moskva, 1978. №1, S. 103–109.
- Konakov N. D.** Komi ohotniki i rybolovy vo vtoroj polovine XIX — nachale XX v. Kul'tura promyslovogo naselenija taezhnoj zony Evropejskogo Severo-Vostoka. M.: Nauka, 1983. 249 s.
- Mel'nikova A. S., Uzdenikov V. V., Shikanova I. S.** Den'gi v Rossii. Istorija russkogo denezhnogo hozjajstva s drevnejshih vremen do 1917 goda. M., ООО «Izdatel'stvo Strelec». 2000. 224 s.
- Spasskij I. G.** Russkaja monetnaja sistema: Istoriko-numizmaticheskij oчерk. 3-e izd., dop. L.: Izd-vo Gos. Jermitazha, 1962. 224 s.
- Starcev G. A.** Drevnij zyrjanskij schet (lyd) / Jetnograf-issledovatel', 1927, № 1. S. 17–21.
- Timushev D. A.** O starom denezhnom schete komi i istorii komi denezhnogo termina «yp». Trudy Komi filiala Akademii nauk SSSR. Syktyvkar, 1954, vyp. II. S. 171–174.
- Cyganov N. F.** Zametka o drevnemordovskoj denezhnoj edinice // Zapiski Mordovskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta. № 9. Istorija i arheologija. Saransk, 1947. S. 137–146.
- Fokos-Fuchs D.** Syrjänisches Wörterbuch: in 2 B. (B. 1 — 714 s.; B. 2 — 715 s.). Budapest: Akademia Kiado, 1959. 1564 S.
- Munkácsi B.** A votják nyelv szótára. Budapest, 1896. 868 s.
- Paasonen H.** Ost-Tscheremissisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, XI. 1948. 210 s.
- Räsänen M.** Einige Tiernamen als Münzeinheiten / Beiträge zu den altaisch-slavischen Berührungen // Commentationes finno-ugricae in honorem Y. H. Toivonen (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne XCVIII. Helsinki, 1950. S. 127–129.
- Räsänen M.** Tscheremissische Zeit— und Massbestimmungen // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne (MSFOu) / Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (SUST) LII. Helsinki, 1924. S. 250–256.
- Rédei K.** Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1833 auf Grund der aufzeichnungen F. A. Wolegows. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968. 139 s.
- Wichmann Gy.** Mutatvány az urzsumi cseremiszek költészetéből / Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. kötet. 3. füzet. Bpapest. 1908. 205–245.
- Wichmann Y.** Syrjänischer Wortschatz nebst Hauptzugen der Formenlehre: Aufgezeichnet von Yrjo Wichmann. Bearbeitet und herausgegeben von T. E. Uotila / Y. Wichmann, T. Uotila. Helsinki, 1942. 486.
- Wichmann Y.** Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen // Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia/Mémoires de la Société Finno-Ougrienne LIX. Helsinki.

Abbreviations:

BRJe — Bol'shaja rossijskaja jenciklopedija. https://bigenc.ru/domestic_history/text/3824967 (accessed: 11.12.21).
KRS — Komi-russkij slovar' / L. M. Beznosikova, E. A. Ajbabina, R. I. Kosnyreva. Syktyvkar: Komi kn. izd., 2000. 815 s.
SMJa — Slovar' marijskogo jazyka v 10 t. / pod red. I. S. Galkin. Joshkar-Ola: Marijskoe kn. izd., 1990–2005.
SSKZD — Sravnitel'nyj slovar' komi-zyrjanskih dialektov / T. I. Zhilina, M. A. Saharova, V. A. Sorvacheva. Syktyvkar: Komi kn. izd., 1961. 490 s.
JeRS 1949 — Jerzjansko-russkij slovar' / pod red. M. N. Koljadenkova i N. F. Cyganova. M.: Gos izd. inostrannyh i nacional'nyh slovarej, 1949. 292 s.
JeRS 1993 — Jerzjansko-russkij slovar' / R. N. Buzakova, M. E. Mitrofanova, M. V. Mosin, O. E. Poljakov. M.: Russkij jazyk, 1993. 803 s.
URS — Udmurtska-russkij slovar' / pod red. L. E. Kirillovoj. Izhevsk, 2008. 825 s.

Fedyuneva Galina Valerianovna, doctor of science (philology), chief research fellow.

RAS, Ural Branch, Komi Science Center, Institute of Language, Literature and History.

26 Kommunisticheskaya st., Syktyvkar, Russia, 167982.

E-mail: fedyuneva@yandex.ru

НАШИ АВТОРЫ

- Анисимов Н. В. — Кандидат филологических наук.
Научный сотрудник.
Институт филологии СО РАН, сектор фольклора народов Сибири.
Ул. Николаева, д. 8, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630090.
Научный сотрудник.
Удмуртский Институт истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН.
Ул. Ломоносова, д. 4, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426004.
Научный сотрудник.
Эстонский литературный музей.
Ванемуйсе, 42, г. Тарту, Эстония, 51003.
E-mail: kyldysin@yandex.ru
- Бадмаев А. А. — Доктор исторических наук, старший научный сотрудник.
Институт археологии и этнографии СО РАН.
Пр. Академика Лаврентьева, д. 17, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630090.
E-mail: badmaeva@ngs.ru
- Бурнаков В. А. — Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник.
Институт археологии и этнографии СО РАН.
Пр. Академика Лаврентьева, д. 17, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630090.
E-mail: venariy@ngs.ru
- Выдрин В. Ф. — Доктор филологических наук, профессор, участник проекта.
Институт лингвистических исследований РАН.
Пер. Тучков, д. 9, г. Санкт-Петербург, 199053.
E-mail: vydrine@gmail.com
- Готовцева Л. М. — Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник.
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Якутского научного центра СО РАН.
Ул. Петровского, д. 1, г. Якутск, республика Саха (Якутия), 677027.
E-mail: Lingot@rambler.ru
- Даржаева Н. Б. — Доктор филологических наук, старший научный сотрудник.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
Ул. Сахьяновой, д. 6., г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670047.
E-mail: dnadezhda@mail.ru
- Ермакова Е. Н. — Доктор филологических наук, профессор кафедры филологического образования.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет».
Ул. Знаменского, д. 58, г. Тобольск, Тюменская область, 626150.
E-mail: ertakova25@yandex.ru
- Мордашова Д. Д. — Младший научный сотрудник.
Институт языкознания РАН.
Пер. Большой Кисловский, д. 1, стр. 1, г. Москва, 125009.
Аспирант.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Ленинские горы, д. 1, г. Москва, 119991.
E-mail: mordashova.d@yandex.ru
- Николаев В. Р. — Магистрант.
Томский государственный педагогический университет, историко-филологический факультет, кафедра всеобщей истории, археологии и этнологии.
Ул. Киевская, д. 60, г. Томск, Томская область, 634061.
E-mail: nikass2602@mail.ru
- Перехвальская Е. В. — Доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник.
Институт лингвистических исследований РАН.
Пер. Тучков, д. 9, г. Санкт-Петербург, 199053.
E-mail: elenap96@gmail.com

- Пискунова А. Е. — Магистр антропологии, специалист отдела профессиональной ориентации. Кузбасский гуманитарно-педагогический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». Ул. Циолковского, д. 23, г. Новокузнецк, Кемеровская область, 654041. E-mail: alexpiskunova@mail.ru
- Покровская С. В. — Младший научный сотрудник. Институт языкознания РАН. Пер. Большой Кисловский, д. 1, стр. 1, г. Москва, 125009. Младший научный сотрудник. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Покровский бульвар, д. 11, г. Москва, 109028. E-mail: sofie.v.pokrovskaya@gmail.com
- Прокопова М. В. — Кандидат филологических наук, доцент кафедры филологического образования. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет». Ул. Знаменского, д. 58, г. Тобольск, Тюменская область, 626150. E-mail: prokорова.maya@yandex.ru
- Пунынина М. Ю. — Кандидат филологических наук. Научный сотрудник. Институт лингвистических исследований РАН. Пер. Тучков, д. 9, г. Санкт-Петербург, 199053. Научный сотрудник. Институт языкознания РАН. Пер. Большой Кисловский, д. 1, стр. 1, г. Москва, 125009. E-mail: puryunina@gmail.com
- Пчеловодова И. В. — Кандидат филологических наук, научный сотрудник. Удмуртский Институт истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН. Ул. Ломоносова, д. 4, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426004. E-mail: orimush@mail.ru
- Софронова Е. А. — Младший научный сотрудник. Институт филологии СО РАН, сектор фольклора народов Сибири. Ул. Николаева, д. 8, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630090. E-mail: soroka-katya90@yandex.ru
- Файзуллина Г. Ч. — Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики начального и дошкольного обучения. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет». Ул. Знаменского, д. 58, г. Тобольск, Тюменская область, 626150. E-mail: utgus@mail.ru
- Федюнева Г. В. — Доктор филологических наук, главный научный сотрудник. Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми научного центра Уральского отделения РАН. Ул. Коммунистическая, д. 26, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982. E-mail: gfedyuneva@mail.ru
- Хилханов Д. Л. — Доктор социологических наук, профессор кафедры философии и социальных наук. Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования г. Москвы Московский городской педагогический университет. Проезд 2-й Сельскохозяйственный, д. 4, г. Москва, Россия, 129226. E-mail: khilkhanovdl@mgpu.ru
- Хилханова Э. В. — Доктор филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языкознания РАН. Пер. Большой Кисловский, д. 1, стр. 1, г. Москва, 125009. E-mail: erzhen.khilkhanova@iling-ran.ru
- Чертыкова М. Д. — Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник. Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Пр. Ленина, д. 94, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017. E-mail: chertikova@yandex.ru

AUTHORS

- Anisimov N. V. — Candidate of philology, PhD.
Research fellow.
RAS, Siberian branch, Institute of Philology, Department of Folklore.
8 Nikolaeva st., Novosibirsk, Russia, 630090.
Research fellow.
RAS, Ural branch, Udmurt Institute of History, Language and Literature.
4 Lomonosova st., Izevsk, Russia, 426004.
Research fellow.
Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics.
Vanemuise 42, 51003 Tartu, Estonia.
E-mail: kyldysin@yandex.ru; nikolai.anisimov@kirmus.ee
- Badmaev A. A. — Doctor of science (history), senior research fellow.
RAS, Siberian branch, Institute of Archaeology and Ethnography.
17 Academician Lavrentiev ave., Novosibirsk, Russia, 630090.
E-mail: badmaevaa@ngs.ru
- Burnakov V. A. — Candidate of historical sciences, senior research fellow.
RAS, Siberian branch, Institute of Archaeology and Ethnography.
17 Academician Lavrentiev ave., Novosibirsk, Russia, 630090.
E-mail: venariy@ngs.ru
- Chertykova M. D. — Doctor of science (philology), senior research fellow.
Institute of Humanitarian Researches and Sayan-Altai Turkology
of Katanov Khakass State University.
94 Lenina ave., Abakan, Russia, 655017.
E-mail: chertikova@yandex.ru
- Darzhaeva N. B. — Doctor of science (linguistics), senior research fellow.
RAS, Siberian branch, Federal State Budgetary Institution of Science Institute for Mongolian,
Buddhist and Tibetan Studies.
6 Sakhyanovoy st., Ulan-Ude, Russia, 670047.
E-mail: dnadezhda@mail.ru
- Ermakova E. N. — Doctor of science (philology), professor, department of philological education.
Tyumen State University.
58 Znamensky st., Tobolsk, Russia, 626150.
E-mail: ermakova25@yandex.ru
- Faizullina G. C. — Doctor of science (philology), associate professor, dean of the Faculty of Social and Pedagogical.
Tyumen State University.
58 Znamensky st., Tobolsk, Russia, 626150.
E-mail: utgus@mail.ru
- Fedyuneva G. V. — Doctor of science (philology), chief research fellow.
RAS, Ural Branch, Komi Science Center, Institute of Language, Literature and History.
26 Kommunisticheskaya st., Syktyvkar, Russia, 167982.
E-mail: fedyuneva@yandex.ru
- Gotovtseva L. M. — Candidate of philology, senior research fellow.
RAS, Siberian branch, Yakut scientific center, Institute for Humanities Research and Indigenous
Studies of the North, Yakut Language Department.
1 Petrovsky st., Yakutsk, Russia, 677027.
E-mail: Lingot@rambler.ru
- Khilkhanov D. L. — Doctor of science (sociology), professor of the department of philosophy and social sciences.
Moscow City University.
4 Second Agricultural passage, Moscow, Russia, 129226.
E-mail: khilkhanovdl@mgpu.ru
- Khilkhanova E. V. — Doctor of science (philology), associate professor, leading research fellow.
RAS, Institute of Linguistics.
1 Bolshoi Kislovskij lane, build. 1, Moscow, Russia, 125009.
E-mail: erzhen.khilkhanova@iling-ran.ru

- Mordashova D. D.* — Junior research fellow.
RAS, Institute of Linguistics.
1 Bolshoi Kislovskij lane, build. 1, Moscow, Russia, 125009.
Postgraduate student.
Lomonosov Moscow State University.
1 Leninskije gory, Moscow, Russia, 119991.
E-mail: mordashova.d@yandex.ru
- Nikolaev V. R.* — Master student.
Tomsk State Pedagogical University, Faculty of History and Philology, Department of General history, archeology and ethnology.
60 Kievskaya st., Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: nikass2602@mail.ru
- Pchelovodova I. V.* — Candidate of philology, research fellow.
RAS, Ural branch, Udmurt Institute of History, Language and Literature.
4 Lomonosova st., Izevsk, Russia, 426004.
E-mail: orimush@mail.ru
- Perekhvalskaya E. V.* — Doctor of science (philology), professor, leading research fellow.
RAS, Institute for linguistic studies.
9 Tuchkov lane, St. Petersburg, Russia, 199053.
E-mail: elenap96@gmail.com
- Piskunova A. E.* — Master of anthropology, specialist of the professional orientation department.
Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of the Kemerovo State University.
23 Tsiolkovsky st., Novokuznetsk, Russia, 654041.
E-mail: alexpiskunova@mail.ru
- Pokrovskaya S. V.* — Junior research fellow.
RAS, Institute of Linguistics.
1 Bolshoi Kislovskij lane, build. 1, Moscow, Russia, 125009.
Junior research fellow.
National Research University Higher School of Economics.
11 Pokrovsky blvd., Moscow, Russia, 109028.
E-mail: sofie.v.pokrovskaya@gmail.com
- Prokopova M. V.* — Candidate of philology, associate professor, department of philological education.
Tyumen State University.
58 Znamensky st., Tobolsk, Russia, 626150.
E-mail: prokopova.maya@yandex.ru
- Pupynina M. Y.* — Candidate of philology.
Research fellow.
RAS, Institute for linguistic studies.
9 Tuchkov lane, St. Petersburg, Russia, 199053.
Research fellow.
RAS, Institute of Linguistics.
1 Bolshoi Kislovskij lane, build. 1, Moscow, Russia, 125009.
E-mail: pupynina@gmail.com
- Sofronova E. A.* — Junior research fellow.
RAS, Siberian branch, Institute of Philology, Department of Folklore.
8 Nikolaeva st., Novosibirsk, Russia, 630090.
E-mail: soroka-katya90@yandex
- Vydrin V. F.* — Doctor of science (philology), professor, project member.
RAS, Institute for linguistic studies.
9 Tuchkov lane, St. Petersburg, Russia, 199053.
E-mail: vydrine@gmail.com

**ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ
В «ТОМСКОМ ЖУРНАЛЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»**

Материалы журнала направляются по электронной почте по адресу: tjla@tspu.edu.ru

Необходимо предоставить файлы с публикацией в двух форматах (**docx/doc и pdf**).

1-й файл в формате MS WORD DOC:

- (на русском языке)
- Фамилия и инициалы автора(ов);
- Название статьи;
- Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно отражать в достаточной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты);
- Ключевые слова (до 10 слов или словосочетаний);
- Текст статьи (примеры языкового материала должны быть представлены в глоссированном виде с использованием лейпцигских правил глоссирования; для передачи нотации языкового материала рекомендуется использовать шрифт Charis SIL или Doulos SIL);
- Пристатейный список литературы в алфавитном порядке;
- ФИО автора (ов) полностью;
- Место работы/учёбы автора(ов):
- учёная степень, должность, полный почтовый адрес учреждения,
- E-mail.

Далее, в том же файле

- (на английском языке)
- Фамилия автора(ов) и инициалы;
- Название статьи;
- Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно представлять собой **качественный перевод** аннотации на русском языке и отражать в достаточной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты);
- Ключевые слова (до 10 слово/словосочетаний);
- Пристатейный список литературы в алфавитном порядке – **источники на русском языке – в транслитерации с последующим переводом названий на английский язык в [квадратных скобках]**;
- ФИО автора(ов) полностью в латинице;
- Место работы/учёбы автора(ов), учёная степень, полный почтовый адрес;
- E-mail.

2-й файл в формате Adobe PDF – дублирует содержание 1-го файла.

Для статей на английском языке:

1-й файл в формате MS WORD DOC:

- (на английском языке)
- Фамилия и инициалы автора (ов);
- Название статьи;

- Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно отражать в достаточной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты);
- Ключевые слова (до 10 слов или словосочетаний);
- Текст статьи (примеры языкового материала должны быть представлены в глоссированном виде с использованием лейпцигских правил глоссирования; для передачи нотации языкового материала рекомендуется использовать шифт Charis SIL или Doulos SIL);
- Пристатейный список литературы в алфавитном порядке (**источники на русском языке – в транслитерации с последующим переводом названий на английский язык в [квадратных скобках]**);
- ФИО автора (ов) полностью;
- Место работы/учёбы автора(ов):
- учёная степень, должность, полный почтовый адрес учреждения;
- E-mail.

Далее, в том же файле (на русском языке):

- Фамилия автора(ов) и инициалы;
- Название статьи;
- Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно представлять собой **качественный перевод** аннотации на английском языке и отражать в достаточной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты);
- Ключевые слова (до 10 слово/словосочетаний);
- Пристатейный список литературы в алфавитном порядке;
- ФИО автора(ов) полностью в латинице;
- Место работы/учёбы автора(ов), ученая степень, полный почтовый адрес;
- E-mail.

2-й файл в формате Adobe PDF – дублирует содержание 1-го файла.

Текст статьи объемом не менее 12 и не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен в формате DOCX/DOC и PDF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см со всех сторон. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи в алфавитном порядке (**источники на русском языке представляются в транслитерации с последующим переводом названий на английский язык в [квадратных скобках]**). Ссылки на цитируемые источники приводятся в круглых скобках: (Hajdu, 1970: 136).

REQUIREMENTS FOR THE SUBMISSION TO THE “TOMSK JOURNAL OF LINGUISTICS AND ANTHROPOLOGY”

Submissions for publication are accepted electronically in two formats (MS.DOC and Adobe.PDF) at tjla@tspu.edu.ru

For the submissions in Russian:

- the 1st file
- (in Russian)
- Last Name and initials of the author(s);
- Title of the paper;
- Abstract (minimum of 250 words reflecting representatively the content of the paper); Key words;
- The text of the paper (language examples should be presented in a glossed format using Leipzig glossing rules; it is recommended that either Charis SIL or Doulos SIL fonts are used for notation);
- Bibliography (List of Sources given alphabetically);
- Full Name of the author(s);
- Degree, academic title, position;
- Affiliation of the author(s);
- Work address;
- E-mail address.

In the same file and immediately following the Russian language version:

- (in English)
- Last Name of the author(s);
- Title of the paper;
- Abstract (minimum of 250 words of high quality translation of the Russian abstract and reflecting representatively the content of the paper);
- Key words;
- References (List of sources, with original sources in Russian to be given in transliteration and followed by the English translation of the titles given [in square brackets]);
- Full Name(s) of the author(s);
- Academic degree, title and position;
- Affiliation(s) of the author(s);
- Work address;
- E-mail of the author(s).

– the 2nd file has to be duplicate the content of the 1st file in the Adobe PDF format.

For the submissions in English:

- the 1st file
- (in English)
- Last Name and initials of the author(s);
- Title of the paper;
- Abstract (minimum of 250 words reflecting representatively the content of the paper);
- Key words;
- The text of the paper (language examples should be presented in a glossed format using Leipzig glossing rules; it is recommended that either Charis SIL or Doulos SIL fonts are used for notation);
- Bibliography (List of Sources given alphabetically, and with original sources in Russian to be given in transliteration and followed by the English translation of the titles given [in square brackets]);
- Full Name of the author(s);
- Degree, academic title, position;
- Affiliation of the author(s);
- Work address;
- E-mail address.

In the same file and immediately following the English language version:

- (in Russian)
- Last Name of the author(s);
- Title of the paper;
- Abstract (minimum of 250 words of high quality translation of the English abstract and reflecting representatively the content of the paper);
- Key words;
- References (List of sources given alphabetically);
- Full Name(s) of the author(s);
- Academic degree, title and position
- Affiliation(s) of the author(s).
- Work address;
- E-mail of the author(s).

– the 2nd file has to be duplicate the content of the 1st file in the Adobe PDF format.

The volume of the submission generally should be over 12 A4 pages but not to exceed 16 A4 pages (including Bibliography, Graphs, Tables, etc) and has to be formatted (Times New Roman, 14 pt, line spacing 1,5, all margins 2 cm), and saved as MS.DOC and Adobe.PDF files. Graphs, Figures are to be either in JPEG or TIFF formats, while Diagrams maybe in MS Excel format, all submitted as separate attached files. Cited bibliography and sources are to be listed alphabetically (Russian sources are to be accompanied by Latin transliteration and English translation of the titles given in [square brackets]). References in the text are to show in parentheses (e.g. (Hajdu, 1970: 136)).

